ТОМАС

ГАРДИ

Вдали от безумной толпы



ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА

Вдали от безумной толпы
Томас Гарди

Аннотация
Томас Гарди. Вдали от безумной толпы
Предисловие
Глава I. Фермер Оук. Случай
Глава II. Ночь. Стадо. Хижина. Другая хижина
Глава III. Наездница. Разговор
Глава IV. Габриэль решается. Визит. Ошибка
Глава V. Разлука с Батшебою. Пастушья трагедия
Глава VI. Ярмарка. Путешествие. Пожар
Глава VII. Возобновлённое знакомство. Боязливая девушка
Глава VIII. Солодовня. Беседа за кружкою. Известия
Глава IX. Усадьба. Посетитель. Полупризнание
Глава X. Госпожа и работники
Глава XI. Казармы. Снег. Свидание
Глава XII. Фермеры. Правило. Исключение
Глава XIII. Гадание на Святом Писании. Карточка к Валентинову дню
Глава XIV. Действие письма. Заря
Глава XV. Встреча утром. Снова письмо
Глава XVI. Всех Святых и Всех усопших

Глава XVII. На рынке
Глава XVIII. Болдвуд в раздумье. Сожаления
Глава XIX. Купанье овец. Предложение
Глава XX. Дилемма. Точение ножей. Ссора
Глава XXI. Происшествие в стаде. Послание
Глава XXII. Большой амбар. Стрижка овец
Глава XXIII. Вечер. Второе объяснение
Глава XXIV. Тем же вечером в ельнике
Глава XXV. Портрет нового знакомца Батшебы
Глава XXVI. У края луга
Глава XXVII. Посадка пчел в ульи
Глава XXVIII. В ложбине, поросшей папоротником
Глава XXIX. Прогулка в сумерках
Глава XXX. Горящие щеки и полные слез глаза
Глава XXXI. Упреки. Ярость
Глава XXXII. Ночь. Топот копыт
Глава XXXIII. На солнце. Вестник
Глава XXXIV. Снова дома. Обманщик
Глава XXXV. Окно верхнего этажа
Глава XXXVI. Богатство в опасности. Праздник
Глава XXXVII. Гроза. Двое
Глава XXXVIII. Дождь. Одинокий встречает одинокого
Глава XXXIX. Возвращение домой. Крик
Глава XL. На Кестербриджской дороге

Глава XLI. Подозрение. Посылают за Фэнни
Глава XLII. Джозеф и его поклажа
Глава XLIII. Месть Фэнни
Глава XLIV. Под деревом. Пробуждение
Глава XLV. Романтизм Троя
Глава XLVI. Горгулья и ее деяние
Глава XLVII. Происшествие на море
Глава XLVIII. Подозрения возникают. Подозрения подтверждаются
Глава XLIX. Возвышение Оука. Великая надежда
Глава L. Овечья ярмарка. Трой касается руки своей жены
Глава LI. Батшеба говорит со своим провожатым
Глава LII. Скрещение путей
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII

Глава LIII. Concurritur – horae momento
Глава LIV. После потрясения
Глава LV. Март. «Батшеба Болдвуд»
Глава LVI. Красота в одиночестве. После всего
Глава LVII. Туманный вечер и туманное утро.

Заключение

Аннотация

В романе «Вдали от безумной толпы» Гарди раскрывает великую и вечную драму отношений мужчины и женщины.

В свое время яркая, непростая история любовного треугольника независимой и гордой Батшебы, унаследовавшей ферму в глуши Северной Англии, крестьянина Габриэля Оука и «пришельца из городской цивилизации» сержанта Троя стала настоящим литературным скандалом. Что интересно, роман Гарди по-прежнему считается скандальным и нарушающим «основы основ» уже нынешнего общества.

Так как же удалось Гарди затронуть струны души читателей трех столетий?..

Томас Гарди
Вдали от безумной толпы

Thomas Hardy
FAR FROM THE MADDING CROWD
Школа перевода В. Баканова, 2017
ООО «Издательство АСТ», 2017

Предисловие

Подготавливая книгу ко второму изданию, я не мог не вспомнить о том, что именно в главах этого романа, которые одна за другою публиковались в номерах ежемесячного журнала, я впервые отважился заимствовать слово «Уэссекс» из древнеанглийской истории, чтобы назвать им вымышленную область, существующую на месте исчезнувшего королевства. Замышляя несколько романов с общим местным колоритом, я должен был дать описываемым событиям некое географическое определение для обеспечения единства действия. Понимая, что границы одного графства не позволят мне развернуть достаточно широкого полотна, однако не желая использовать вымышленное наименование, я взял наименование историческое. И пресса, и читатели любезно одобрили мою затею, охотно нарисовав себе анахроническую картину Уэссекса, живущего под властью королевы Виктории, — Уэссекса железных дорог, однопенсовых почтовых от-

правлений[1], шведских спичек, косильных и жатвенных машин, работных домов, крестьян, обученных грамоте, и детей, посещающих бесплатные школы. Полагаю, я не ошибусь, если скажу, что до 1874 года, когда этот современный Уэссекс ожил на страницах настоящей книги, о нем никто ничего не слыхивал, и выражение «уэссекский крестьянин» или «уэссекский обычай» относилось к миру, существовавшему до норманнского завоевания[2].

Работая над книгами, я не думал о том, чтобы, сообщив слову «Уэссекс» новое значение, вернуть его в широкий обиход, однако оно стало повсеместно употребляться как географическое название. Почин принадлежит ныне не издаваемому журналу «Экзаминер»: в его номере от 15 июля 1876 года содержалась статья под заголовком «Уэссекский труженик», посвященная отнюдь не древним англам и саксам, но современ-

---

[1] Примечания: 1

В 1840 году услуги почты Великобритании были существенно удешевлены: плата за пересылку письма весом меньше чем пол-унции (примерно 14 граммов) в любую точку страны составила всего лишь один пенс, вследствие чего ведение почтовой переписки стало доступно широким слоям населения. — *Здесь и далее примеч. пер.*

[2] Примечания: 2

Герцог Нормандии Вильгельм I Завоеватель вторгся в Англию в 1066 году. Подчинение страны его власти во многом определило дальнейшее формирование английского языка и английской культуры.

ному крестьянству юго-западных графств и тому, как его жизнь представлена в моих романах.

С тех самых пор наименование, которое я берег для горизонтов и ландшафтов своей реалистически описанной, но все же вымышленной страны, стало все шире и шире употребляться в повседневности, а она, моя страна, постепенно слилась с действительно существующей областью, куда можно поехать, где можно поселиться, откуда можно посылать очерки в газету. Однако я прошу глубокоуважаемых читателей забыть об этом и более не думать, будто викторианский Уэссекс существует вне страниц этой и других моих книг, для которых он и был мною создан.

Деревушку Уэзербери, где разворачиваются события романа, исследователь едва ли узнает без подсказки в каком-либо из ныне существующих селений, хотя еще сравнительно недавно, в пору моей работы над настоящим повествованием, можно было в действительности увидеть многие пейзажи и лица, весьма напоминающие те, какие я описал. Старая церковь по сей день сохранила, по счастью, свой неизменный вид. Уцелело несколько домов. Увы, солодовня, игравшая столь заметную роль в жизни прихода, не пережила последних двадцати лет, как и большинство кот-

теджей с мансардами и соломенными кровлями. Нынешнее поколение школьников, насколько я могу судить, совершенно незнакомо с игрою в узников, хотя не так давно казалось, что в нее вечно будут играть на заброшенных скотных дворах. Вслед за старыми домами исчезли и старые обычаи: сегодня почти не гадают с ключом и Библией, не придают серьезного значения открыткам, посылаемым к Валентинову дню, не устраивают праздников урожая и ужинов по случаю стрижки овец. Говорят, что ослабла любовь крестьян к горячительным напиткам, в прошлом составлявшая печальную славу нашей деревни. Корень этих перемен в том, что на смену прежним крестьянским семьям, которые продолжали местные традиции, десятилетиями арендуя одни и те же коттеджи, пришли работники, переезжающие с места на место. Разрыв преемственности губительно сказался на сохранении народных обычаев, легенд и преданий, соседи зажили разобщенно, меньше стало эксцентрических личностей, ибо непременное условие существования последних — родная почва, связь с определенною точкой на карте, поддерживаемая из поколения в поколение.

Т.Г.
Февраль 1895

Глава I
Фермер Оук. Случай

Когда фермер Оук улыбался, углы его губ плыли в стороны до тех пор, пока не оказывались в незначительном отдалении от ушей, а глаза делались узкими, и вокруг них возникали морщинки, напоминающие лучи восходящего солнца на рисунке ребенка.

При крещении Оука нарекли Габриэлем. По будним дням он являл собою пример трезвости ума, легкости движений, аккуратной скромности в одежде и, ежели судить в целом, благонравия. По воскресеньям же, надев стесняющее парадное платье и взяв лучший зонт, Оук становился не слишком расторопным молодым человеком туманных воззрений, принадлежащим к тому обширному лаодикийскому[3] промежутку, что отделял набожных прихожан от пьяниц. Иными словами, церковь он посещал, однако, когда читали Символ веры, начинал потихоньку зевать,

---

[3] Примечания: 3

Лаодикея — город в Малой Азии, в котором была основана одна из ранних христианских церквей, упоминаемая в Евангелии как пример религиозного равнодушия (См. Откровение Иоанна Богослова, 3:14).

а слушая проповедь, думал о предстоящем обеде. Весы людской молвы оценивали Габриэля Оука то так, то иначе: в минуты гнева друзья и судители находили, что он скорее дурен, а в минуты довольства — что скорее хорош. Когда же они бывали в обыкновенном расположении духа, он казался им в нравственном отношении чем-то вроде серой смеси соли и перца.

Поскольку на одно воскресенье приходится шесть дней трудов, мысленному взору соседей фермер Оук всегда рисовался в будничном наряде: в сюртуке на манер доктора Джонсона[4] и фетровой шляпе с низкой тульей, которая раздалась оттого, что в ветреную погоду ее слишком низко нахлобучивали на голову. Ноги, защищенные кожаными гетрами, Оук обыкновенно помещал, как в просторные квартиры, в огромные башмаки (любой, кто бы их ни надел, мог, не промокнув, простоять в реке целый день; видимо, башмачник, совестливый малый, пожелал возместить неуклюжесть фасона прочностью и

[4] Примечания: 4

Сэмюэл Джонсон (1709–1784) — английский лексикограф, литературный критик и поэт эпохи Просвещения. Созданный им толковый словарь оказал влияние на формирование современного английского языка. На известном портрете работы Джошуа Рейнольдса Джонсон изображен в простом коричневом жюстокоре (кафтане без воротника), надетом поверх жилета, застегнутого до горла.

величиной).

Карманные часы мистера Оука являлись таковыми лишь по назначению и форме, размером же они скорее напоминали часы настольные, хотя и маленькие. Этот серебряный предмет, несколькими годами старше деда своего хозяина, имел обыкновение или стоять, или идти слишком быстро: короткая стрелка порою двигалась, как ей заблагорассудится, и потому, даже зная точное число минут, никогда нельзя было с уверенностью сказать, который час. Остановку механизма Оук исцелял постукиванием и потряхиванием, а чтобы своенравное поведение вещицы не влекло за собою неприятностей, наблюдал за солнцем и звездами, или же, приблизив лицо к оконному стеклу соседского дома, приглядывался к расположению стрелок на зеленом циферблате ходиков, висевших внутри. Собственные часы он, в довершение всего, носил в таком месте, куда нелегко было проникнуть: карман находился у пояса брюк, под жилетом, и, выуживая часы за цепочку, мистер Оук всякий раз склонялся вбок, гримасничал и багровел от усилия, словно тянул из колодца ведро.

Но внимательному взгляду Габриэль Оук порой представлялся с иной точки зрения. Видя, как

он шагает через поле солнечным декабрьским утром, можно было заметить, что по достижении им зрелых лет лицо его не утратило красок и черт юности, а подчас в нем сквозило даже мальчишество. Рост и ширина плеч придавали бы мистеру Оуку внушительный вид, если бы он выступал горделиво. Однако и в городах, и в деревне встречаются мужчины, чья наружность более определяется душою, нежели плотью. Их тела будто становятся меньше от того, как они себя несут. Тихий и скромный, точно монашка, Габриэль Оук словно бы не желал занимать в мире чересчур много места и потому держался просто, при ходьбе едва заметно сгибаясь, хотя и не горбясь. Это, пожалуй, недостаток для того, кто стремится производить впечатление не моложавостью, а красотою или внушительностью. Но Оук был не таков. Он вошел в пору, когда мужчину перестают называть молодым человеком, — в пору ярчайшего расцвета, когда разум и чувства четко разделены. Их уже не смешивает друг с другом порывистая юность, но они еще не слились в предубеждения, возникающие у того, кто обременен семейством. Словом, Габриэль Оук был холостяком двадцати восьми лет от роду.

Пастбище, по которому он шел тем утром, рас-

полагалось на склоне Норкомбского холма. Через холм этот пролегала дорога, соединявшая Эмминистер и Чок-Ньютон. Невзначай бросив взгляд поверх живой изгороди, обозначавшей предел его фермы, Оук увидел, что навстречу ему спускается рессорная повозка желтого цвета, украшенная веселым узором. Рядом с парой лошадей идет кучер с кнутом в руке. Телега нагружена домашней утварью и комнатными растениями, а на вершине груды восседает молодая привлекательная особа. Спустя полминуты после того, как Габриэль узрел эту картину, повозка остановилась прямо перед его глазами.

— У повозки задок отвалился, мисс, — сказал возчик.

— Значит, я слышала, как он упал, — ответила девушка мягким, хотя и не тихим голосом. — Мы поднимались на холм, и я услыхала шум, но не поняла, что случилось.

— Я вернусь и подберу его.

— Ступайте.

Умные лошади смирно стояли, прислушиваясь к затихающим шагам кучера. Девица неподвижно восседала на горе вещей в окружении перевернутых столов и стульев, опираясь спиною на дубовую скамью. Впереди выстроилась живо-

писная стена из горшков с геранями, миртами и кактусами. Очевидно, все это, наряду с канарейкою в клетке, украшало окна недавно покинутого дома. Кошка, выглядывавшая из приоткрытой плетеной корзины, не сводила любовного взгляда сощуренных глаз с птичек, что порхали вокруг.

Некоторое время миловидная особа ждала, ничего не предпринимая, и тишину нарушал лишь шорох, производимый канарейкой, которая скакала по жердочкам своей тюрьмы. Девушка внимательно поглядела вниз — не на кошку и не на птицу, а на завернутый в бумагу продолговатый предмет, лежавший между ними. Обернувшись, путница увидела, что возчик все не идет, и тогда ее взор снова обратился к свертку, а мысли, по всей вероятности, — к тому, что было внутри. Наконец она положила предмет к себе на колени. Под бумагою оказалось крутящееся зеркальце. Изучив свое отражение, девица разомкнула губы и улыбнулась.

Стояло погожее утро. Малиновый жакет путницы горел на солнце алым огнем, а свежее лицо и темные волосы покрылись легким глянцем. Сочная зелень миртов, гераней и кактусов, наставленных у переднего борта, придавала лошадям, повозке, поклаже и самой путешественнице

особое очарование весны в безлиственную пору.

Никому неведомо, для чего молодая особа затеяла этот маленький спектакль, не имея иных зрителей, кроме воробьев, дроздов и незамеченного ею фермера. Вероятно, она улыбнулась, испытывая себя в науке очарования, однако, искусственная вначале, ее улыбка мгновенно сделалась настоящей. Девушка залилась румянцем, который стал еще ярче, когда она увидала, как залилось румянцем ее отражение в зеркале.

Обыкновенно этот предмет служит нам в спальне в час одевания, и то, что путнице вздумалось воспользоваться зеркалом под открытым небом, придало ее праздному движению новизну. Картина была прелестна. Извечная женская суетность неспешной поступью вышла на солнце, чей свет сообщил ей свежесть своеобразия. Как ни склонен был Габриэль Оук к великодушию, он не мог не сделать циинического умозаключения: девушка погляделась в зеркало безо всякой надобности. Она не поправила шляпки, не пригладила волос; она просто любовалась собою как творением Природы, и в ее мыслях разыгрывались драмы, в которых важная роль отводилась мужчинам. Красавица с улыбкою думала о предстоящих победах, предвкушая, как будет завоевывать

сердца. Однако это было лишь догадкой. Движения незнакомки казались столь праздными, что в них едва ли следовало усматривать какое-либо намерение.

Послышались шаги возчика. Девица вновь обернула зеркальце бумагой и убрала его на прежнее место. Когда повозка продолжила путь вниз по склону холма, Габриэль покинул свой наблюдательный пост и пошел следом за нею к заставе, расположенной неподалеку от подножия. Предмет его наблюдения остановился для уплаты пошлины. Шагов с двадцати Оук расслышал спор, разгоревшийся из-за двухпенсовой монеты между седоками повозки и сборщиком платы.

— Племянница хозяйки — вот она, наверху сидит — говорит, что того, что я дал тебе, сквалыга ты несчастный, довольно, и больше ты от нее ни гроша не получишь, — сказал возница.

— Коли так, племянница хозяйки дальше не поедет, — ответил сборщик, закрывая ворота.

Поглядев на спорщиков, Оук задумался. В том, как звучало слово «двухпенсовик», слышалась крайняя незначительность. Три пенса уже казались деньгами: из-за них можно было торговаться, когда речь шла о вознаграждении за

дневной труд. Но два пенса…

— Вот, — сказал Габриэль, выходя вперед и протягивая монетку сборщику. — Возьми, и пускай женщина проедет.

После этих слов Оук посмотрел на путницу. Она, услыхав его, поглядела вниз.

Между прекрасным ликом святого Иоанна и уродливой физиономией Иуды Искариота на витраже церкви, которую посещал Габриэль, его собственное лицо следовало бы расположить точно посередине. В нем не было ни единой черточки, способной привлечь внимание красотою или безобразием. Темноволосая особа в красном жакете, очевидно, так и подумала, ибо, наградив своего заступника небрежным взглядом и даже не сказав «спасибо», она велела вознице трогаться с места. Вероятно, сей мимолетный взор следовало понимать как замену благодарности, выраженной словесно. Хотя, быть может (и это скорее всего), девица попросту не ощутила ни малейшей признательности. Помощь незнакомца обернулась для нее поражением в споре, а женщины, как мы знаем, за такое не благодарят.

— Видная девица, — протянул сборщик платы, провожая взглядом повозку.

— Но не без недостатков, — откликнулся Га-

бриэль.

— Твоя правда, фермер.

— И главный среди них… тот, всегдашний.

— Привычка сбивать цену? Вот уж верно.

— Нет, другое.

— Что же?

Габриэль, возможно, слегка уязвленный равнодушием путницы, обернулся и поглядел наверх — туда, где ее повозка стояла несколькими минутами ранее, пока он наблюдал за нею из-за своей ограды.

— Тщеславие.

Глава II
Ночь. Стадо. Хижина. Другая хижина

Истекал Фомин день[5] — самый темный день года. Близилась полночь. Опустошающий северный ветер блуждал по тому склону, где совсем еще недавно, солнечным утром, Оук наблюдал за девушкой на желтой повозке. Норкомбский холм, возвышавшийся неподалеку от одинокого Колокольного холма, был в числе тех мест, при виде которых странник думает: «Едва ли найдется на земле форма более прочная». Вероятно, именно таким ровным безликим выпуклостям из почвы и извести суждено пережить те потрясения, что однажды сокрушат гранитные скалы куда более значительной высоты.

По северному склону раскинулась редеющая роща древних буков, чьи кроны темнели на фоне неба, обрамляя изгиб холма, подобно гриве. В ту ночь эти старые деревья защищали южную сторону от злейших порывов ветра, который,

---

[5] Примечания: 5

Католическая и многие протестантские церкви празднуют день апостола Фомы 21 декабря.

рыча, хлестал стволы и с приглушенным стоном трепал ветви. Сухие листья, кружась, летели по полю, а самые поздние, сумевшие продержаться на ветках до зимы, теперь падали с отчетливым шуршанием.

Между этим полуобнаженным холмом и неподвижным туманным горизонтом, что открывался с его вершины, протянулось таинственное полотно бездонной тени. Звуки, доносившиеся из ее глубины, свидетельствовали о некотором сходстве сокрытого ею ландшафта с ландшафтом холма. Ветры, шевелившие чахлую траву, что кое-как покрывала склоны, казалось, имели не только разную силу, но едва ли не разную природу: одни грубо приминали былинки, другие прочесывали их с пронзительным свистом, третьи гладили, точно мягкая метелка. Первым побуждением всякого человека было остановиться и слушать, как деревья справа и деревья слева попеременно стенают и поют, будто две части соборного хора при исполнении псалма, как изгороди и все другие преграды, встречаемые ветром, подхватывают напев, превращая его в нежнейшие рыдания, и, наконец, как новый порыв, обращенный к югу, стихает навсегда.

Небо было ясным — на удивление ясным, — и

все звезды, мигая, словно вторили сердцебиению одного тела. Ветер дул прямо навстречу Полярной звезде, а ковш Большой Медведицы обошел ее так, что стрелка небесных часов[6] показала строго направо. Сейчас ночные светила горели разными цветами, хотя в Англии об этом легче прочесть, нежели узнать из наблюдения. Царственное сверкание Сириуса слепило, подобно стали, Капелла отливала желтым, а Альдебаран и Бетельгейзе — огненно-красным.

Тот, кто ясной ночью оказался один на холме, почти телесно ощущает, как мир движется на восток. Это чувство — яркое и стойкое, что бы его ни вызвало: скольжение звезд над землей, которое замечаешь, постояв неподвижно минуту-другую, или высота, или одиночество. Поэты воспевают движение, и всякий, кто желает насладиться им в масштабе подлинно эпическом, должен взобраться в поздний час на вершину холма и слиться в тишине с величественным шествием звезд, мысленно отделив себя от просвещенного человечества, которое мирно спит, не думая о

[6] Примечания: 6

Стрелкой звездных часов, по которым определяется время в Северном полушарии, служит линия, соединяющая Полярную звезду с двумя наружными точками ковша Большой Медведицы. В полночь зимнего солнцестояния она показывает 3 условных часа.

вселенском порядке. После такого свидания с ночным небосводом трудно бывает возвратиться на землю и поверить в то, что мозг крошечного человека способен постичь смысл величавого движения светил.

Внезапно в небо над Норкомбским холмом устремились звуки, гораздо более чистые, чем шумы, порождаемые ветром. Нигде в природе не услышишь такого мотива. Это запела флейта фермера Оука. Мелодия лилась не вполне свободно, будто что-то заглушает ее, сдерживает, не позволяет ей лететь ввысь и разноситься вширь. Она доносилась из пастушьей хижины. В столь поздний час ни один непосвященный путник не угадал бы назначения этого маленького темного строения у изгороди. Казалось, на уменьшенном подобии горы Арарат стояло уменьшенное подобие Ноева ковчега, каким его обыкновенно изображают изготовители игрушек и каким он накрепко запечатлевается в воображении людей, ибо первые впечатления сильны. Хижина стояла на колесах, на фут приподнимавших ее над землею. Когда овцам приходит пора ягниться, такие фургоны вывозят на пастбища, дабы пастух во время ночных бдений был защищен от непогоды.

Габриэля Оука совсем недавно стали величать фермером. Лишь год назад неослабевающее усердие и стойкая бодрость духа позволили ему арендовать маленькую овечью ферму, частью которой был Норкомбский холм, и разместить на ней стадо из двухсот голов. До того он управлял чужим имением, а еще раньше ходил в простых пастухах и до самой кончины своего отца, старого Габриэля, помогал последнему заботиться об овцах богатого землевладельца. Новоиспеченный фермер, впервые и безо всякой помощи решившийся примерить на себя роль хозяина, отчетливо осознавал непрочность своего положения, тем паче что и за скот он еще не уплатил. Первой вехой на пути к достатку должно было явиться рождение ягнят. Поэтому зимой Габриэль, с юности знавший толк в овцах, отказался поручить заботу о молодняке неопытному наемному пастуху.

Ветер продолжал обивать углы хижины, но звуки флейты стихли. В стене открылся прямоугольник света, и в нем возникла фигура фермера. Закрыв дверь, Оук принялся хлопотать в ближней части пастбища. Больше четверти часа свет ручного фонаря исчезал в одном месте и появлялся в другом, то превращая своего владельца в

черное очертание, то озаряя его, зависимо от того, заслонял ли он сей предмет собою или держал впереди. Движения фермера Оука, исполненные тихой энергии, были, как того требовал род его занятий, медленны и осторожны. Красоту порождает уместность, а с тем, что Габриэлю, когда он уверенно лавировал среди своих овец, была присуща некоторая грация, никто бы не поспорил. В иные минуты Оук мыслил и действовал с быстротою Меркурия, ничуть не уступая городским жителям, от рождения привыкшим к спешке, и все же та особая сила, которою обладали его душа, тело и ум, имела характер скорее статический, нежели импульсивный.

Даже при бледном свете одних лишь звезд можно было, присмотревшись, увидеть, сколь неплохо фермер Оук приспособил склон холма для своих зимних нужд. Между расставленными тут и там плетеными изгородями, а также под их соломенными навесами копошились кроткие создания, чьи шубки белели в ночи. Колокольцы, безмолвствовавшие в отсутствие фермера, теперь вновь стали слышны. Утопая в густой шерсти, они издавали глухой, но сочный звон до тех пор, пока хозяин с новорожденным ягненком на руках не вернулся в хижину.

Тельце маленького создания состояло из четырех ног, вполне длинных даже для взрослой овцы, которые соединяла коротенькая перемычка, пока что почти невесомая. Положив это крошечное средоточие жизни на клочок сена у печурки, согревавшей своим пламенем молоко в жестянке, Оук задул фонарь и пальцами снял нагар. Теперь хижину освещала только свеча, висящая на перекрученной проволоке. Половину жилища занимали брошенные на пол мешки с зерном, служившие хозяину жесткой лежанкой, на которой он теперь и растянулся во весь рост, расслабив шерстяной платок на шее и закрыв глаза. Будь на его месте человек непривычный к тяжелой работе, он бы стал ворочаться с боку на бок, пытаясь устроиться поудобнее, однако фермер Оук тотчас заснул.

Хижина казалась маняще уютной. Пламя свечи и багряный огонек печурки окрашивали в теплые веселые цвета все, чего могли достичь, сообщая внешнюю приятность даже утвари и орудиям труда. В углу стоял пастуший посох, а на полке, протянувшейся вдоль стены, выстроились банки и склянки с нехитрыми снадобьями для лечения и оперирования животных: с винным спиртом, скипидаром, дегтем, магнезией, им-

бирем и касторовым маслом. На другой полке, треугольной, фермер хранил хлеб, бекон, сыр и кружку для эля или сидра, а сам напиток наливался из большой бутыли, стоявшей внизу. Возле съестных припасов лежала флейта, помогавшая пастуху скрашивать часы ночного бдения. Воздух поступал в хижину через два круглых отверстия наподобие корабельных иллюминаторов с задвижными деревянными ставнями.

Ягненок, оживленный теплом печки, заблеял, и этот зов мгновенно проник в уши и мозг фермера, как достигают нашего сознания звуки, которых мы ждем. Перейдя от глубокого сна к энергичному бодрствованию с той же легкостью, какая сопутствовала переходу от бодрствования ко сну, Габриэль взглянул на часы и, заметив, что короткая стрелка вновь сместилась, надел шляпу. Взяв новорожденного на руки, он вынес его в темноту и положил подле матери, а затем внимательно поглядел на небо, определяя время по высоте звезд. Сириус и Альдебаран, глядящие на негасимые Плеяды, прошли половину своего пути по южной половине неба. Между ними расположилось великолепное созвездие Ориона: оно воспарило над горизонтом и засверкало ярко, как никогда. Тихо сияющие Кастор и Поллукс почти

достигли небесного меридиана. Тусклый квадрат Пегаса полз на северо-запад. Далеко за лесом горела Вега, подобная лампе, повисшей среди безлиственных деревьев, а выше, над кронами, грациозно балансировало кресло Кассиопеи.

«Час пополуночи», — заключил Габриэль. Будучи человеком, сознающим своеобразное очарование собственного образа жизни, он, использовав звезды с практической целью, не вернулся к своим делам сразу же, но постоял еще немного в восхищении, любуясь ночным небосводом как образчиком непревзойденной красоты. Очевидно, его поразила красноречивая безлюдность пейзажа, свободного от образов и звуков, порождаемых человеческим присутствием. Самих людей, их трудов, горестей и радостей словно вовсе не существовало. Габриэлю казалось, будто во всем полушарии, объятом тьмою, не осталось ни единого разумного существа. Все ушли туда, где сейчас светило солнце.

Занятый такими мыслями, фермер Оук поглядел вдаль и понял, что свет, принятый им за звезду, горящую низко за лесом, в действительности был зажжен человеческою рукою и горит неподалеку. Многие люди страшатся одинокого ночного пребывания там, где компания столь

желанна и ожидаема. Однако порой еще страшнее обнаружить присутствие загадочного соседа, когда внутренний голос, чувства, разум, память, законы аналогии и вероятности, вещественные свидетельства — словом, все говорит о том, что ты совершенно один. Фермер Оук направился к лесу и, раздвигая нижние ветви деревьев, вышел на подветренную сторону холма. Увиденное им темное пятно было, по всей вероятности, хижиной, утопленной в склон так, что задний край ее крыши почти доходил до земли. Передняя стена представляла собою несколько досок, прибитых к столбам и для сохранности промазанных дегтем. Сквозь щели в крыше и боковинах сочился тот самый свет, который и привлек внимание фермера.

Оук обошел хижину и, склонившись над кровлею с задней стороны, заглянул в отверстие, через которое отчетливо увидел все, что находилось внутри, а именно: двух женщин, двух коров и ведро с дымящимся пойлом из отрубей. Одна из женщин была уже в летах, а другая казалась молодою и грациозной, однако достоверно оценить наружность незнакомки Габриэль не мог, ибо смотрел точно сверху, как мильтонский Сатана на райский сад. Вместо шляпки голову девуш-

ки небрежно покрывал капюшон просторного плаща.

— Теперь идем домой, — сказала старшая женщина и, уперев руку в бок, оценивающе оглядела своих подопечных. — Надеюсь, Дейзи оклемается. Животина порядком меня напугала, и ради того, чтоб она поправилась, не жалко ночью встать с постели.

Молодая особа, чьи веки готовы были смежиться в первую же секунду тишины, чуть заметно разомкнула губы в зевке. Габриэль, точно заразившись, тоже тихонько зевнул.

— Если б мы были богаты, — молвила девушка, — мы бы кого-нибудь наняли, кто бы все тут сделал за нас.

— Но мы бедны и должны трудиться сами. Раз осталась, так помогай мне.

— Моя шляпка пропала, — сказала молодая особа, продолжая сетовать на судьбу. — Верно, за изгородь улетела. Ветер дул несильно, а все ж таки ее унес.

Одна из коров, та, что стояла, принадлежала к девонской породе и была облачена в теплую шкуру ярчайшего бордового цвета — такого ровного, без единого пятнышка от глаз до хвоста, словно животное окунули в киноварь. Длинная спина

отличалась математической прямизною. Возле второй коровы, бело-серой, Оук лишь теперь заметил однодневного теленка. Судя по тому, с каким идиотическим недоумением теленок взирал на двух женщин, сам феномен зрения еще не вошел у него в привычку. Новорожденное существо часто оборачивалось к фонарю, по видимости принимаемому им за луну в силу врожденного инстинкта, еще не успевшего испытать на себе исправляющее действие опыта. В минувшие сутки Люцина, божественная родовспомогательница, славно потрудилась на Норкомбском холме, заглянув и в овечий загон, и в коровник.

— Зря мы не послали за толокном, — сказала старшая женщина, — отрубей больше нет.

— Да, тетя. Я привезу их, как только рассветет.

— Без дамского седла?

— Я и в мужском могу, не сомневайтесь.

Последние слова усилили желание Габриэля Оука рассмотреть черты девицы, однако капюшон последней и собственное положение над крышею хижины по-прежнему ему мешали, и он поймал себя на том, что восполняет недостающее силой воображения. Даже когда зрение наше ничем не затруднено, мы обыкновенно окрашиваем и лепим всякую вещь, которую видим, сообразно

с собственными склонностями. Имей Габриэль возможность прямо поглядеть в лицо девицы, он бы нашел ее прекрасной или же только слегка миловидной зависимо от того, стремится ли его душа обрести предмет поклонения или уже обрела таковой. На протяжении некоторого времени Габриэль явственно ощущал недостаток той, что заполнила бы его пустующее сердце. Да и возвышенное положение его наблюдательного поста давало фантазии немалый простор. Посему фермер Оук вообразил незнакомку красавицей.

Подобно матери, которая, улучив свободное мгновение в череде неустанных трудов, заставляет детей улыбаться, Природа порой забавляет нас причудливыми совпадениями. Девушка откинула капюшон, и ленты черных волос рассыпались по красной ткани жакета. Оук тут же узнал в незнакомке владычицу желтой повозки, миртов и зеркальца, или, выражаясь совсем уж прозаически, особу, задолжавшую ему два пенса.

Поместив теленка поближе к матери, женщины покинули хижину. Проследив за огоньком их фонаря, который спускался по склону холма, пока не утонул во мгле, Габриэль Оук возвратился к своему стаду.

Глава III
Наездница. Разговор

Тускло забрезжил день, чей приход на землю едва ли не всякий раз вызывает к жизни новые чаяния, и фермер Оук, не имея на то иной причины, кроме ночного приключения, снова отправился в лес. Он прогуливался среди буков, погруженный в свои мысли, когда у подножия холма раздался топот лошадиных копыт. Вскоре на тропе, взбегавшей по склону, показался рыжий пони. На спине его сидела вчерашняя молодая особа. Габриэль тотчас вспомнил о шляпке, подхваченной ветром, и подумал, что девица, вероятно, явилась в лес искать пропажу. Торопливо пройдя ярдов десять вдоль канавы, он нашел шляпку среди сухих листьев и, подобрав ее, вернулся к себе в хижину. Укрывшись там, Оук стал в щелку глядеть на тропу.

Девушка поднялась на холм, осмотрелась кругом и заглянула за изгородь. Габриэль хотел было выйти из убежища и возвратить свою находку владелице, но то, что произошло в следующую минуту, заставило его помедлить. Минуя коров-

ник, тропа ныряла в лес, делаясь совершенно непригодной для верховой езды, поскольку нижние ветви деревьев чуть ли не скребли по земле, так что прямо сидящий всадник не мог под ними проехать. Девушка, одетая не в амазонку, а в простое платье, быстро оглянулась и, убедившись, что никто из рода человеческого на нее не смотрит, откинулась на спину лошади. Ноги наездницы оказались на плечах животного, голова — над крупом, а глаза обратились к небу. Это движение произведено было с проворством зимородка и беззвучностью ястреба. В противоположность Габриэлю, едва успевшему заметить сей маневр, высокий худощавый пони ничуть не казался удивленным. Все тем же неспешным шагом он провез хозяйку под низко нависавшими ветвями.

Любая часть лошадиного тела от головы до хвоста, по-видимому, представлялась молодой наезднице вполне удобной. Когда лес закончился, и лежать на спине животного стало незачем, девушка приняла другое положение, не столь необычное. Седло ее было мужским, и прочно усесться на его гладкой коже боком она бы, очевидно, не смогла. Выпрямившись, как выпрямляется молодое деревце, если пригнуть его к

земле, а затем отпустить, девица успокоила себя мыслью, что никто ее не видит, и приняла позу, наиболее удобную для езды верхом, однако не принятую среди женщин. Так она направилась в сторону мельницы Тьюнелла.

Увиденное развлекло и, пожалуй, удивило фермера Оука. Повесив женскую шляпку на гвоздь в хижине, он вышел к овцам. По прошествии часа девушка вновь показалась на тропе. Теперь она сидела как полагается, везя мешок с отрубями. У коровника ее встретил мальчик с подойником в руках. Паренек придержал поводья и, когда наездница легко соскользнула вниз, увел пони, а подойник оставил ей.

Из коровника, мерно чередуясь, стали доноситься мягкие и звонкие шумы, издаваемые струйками молока при доении. Габриэль взял шляпу и вышел на тропу, по которой девушка вскоре должна была спуститься с холма. Она и в самом деле появилась, держа в одной руке подойник, свисавший до ее колен, а другую руку для равновесия отставив в сторону. Перчатки на ней не было, и, увидев обнаженную кисть, Оук пожалел о том, что дело происходит не летом, когда короткий рукав открыл бы его взору много больше. От девушки исходило сияние довольства

и веселости, словно она не сомневалась, что все кругом должны радоваться ее присутствию на белом свете. Дерзость этого убеждения не оскорбила Оука, ибо он был с ним вообще-то согласен. То, как уверенно незнакомка себя держала, казалось сродни торжественности в речах гения: человека посредственного она сделала бы смешным, но личность выдающаяся благодаря ей обретает еще большую власть.

Девушка не без некоторого удивления поглядела на фермера, чье лицо встало перед нею, как луна над оградой. Портрет прекрасной девы, сотканный воображением Габриэля, оказался не слишком верным, однако, пожалуй, не затмевал оригинала. Оценивая истинный облик незнакомки, Оук первым делом попытался мысленно ее измерить. Подойник был слишком мал для мерила, да и изгородь слишком низка. Посему девушка, казавшаяся в сравнении с ними высокой, на деле имела, вероятно, тот самый рост, который считается для женщины наилучшим, — не слишком большой и не слишком малый. Все ее черты отличались строгостью и правильностью.

Тот, кто путешествовал из графства в графство, ища женской прелести, знает, что классическая красота лица редко сочетается в англичанках

с классической красотою тела. Нос и рот, имей они даже совершенную форму, зачастую бывают для своей обладательницы чересчур крупны. А фигура, блещущая пропорциональным сложением, отнюдь не всегда венчается хорошенькой головкой. Не набрасывая на деву с подойником покрывала нимфы, скажем, что придирчивый взор, не найдя никакого изъяна, мог лишь наслаждаться соразмерностью ее черт. Контуры выше талии сулили наблюдателю прекрасные плечи и шейку, но их никто не видывал с тех самых пор, как дева перестала быть ребенком. Ежели бы на нее надели открытое платье, она бросилась бы бежать и спрятала голову в ближайшем кустарнике. Причина заключалась не в особой стыдливости натуры, а лишь в том, что черта, отделяющая зримое от сокрытого, расположена у сельских женщин выше, чем у горожанок. В ту секунду, когда взгляд девушки встретился с восхищенным взглядом Оука, собственные ее мысли обратились к тому же предмету — своей красоте. Выраженное чуть сильнее, довольство собою есть тщеславие, а чуть слабее — достоинство.

Для юных селянок лучи мужского взгляда подобны щекотке, и девушка поднесла пальцы к лицу так, будто Оук и впрямь коснулся ее нежной

кожи. Движения незнакомки тотчас стали менее свободны, и все же краска смущения залила мужские, а не девичьи щеки.

— Я нашел эту шляпку, — сказал Оук.

— Она моя, — ответила девушка и, учтивости ради сдержав смех, лишь слегка улыбнулась. — Ее унесло ветром.

— В час пополуночи?

— Да, — подтвердила она с удивлением. — Как вы узнали?

— Я был здесь.

— Так вы фермер Оук?

— Он самый. В этих краях я недавно.

— Велика ли ваша ферма? — спросила девушка и, оглянувшись по сторонам, откинула волосы.

Возле шеи они казались черными, но верхние пряди окрасились цветом солнца, взошедшего час тому назад.

— Нет, не велика. Около сотни.

Говоря о земле, сельские жители обыкновенно опускают слово «акр», подобно тому как оленя называют «десятковым», не поясняя, что десять — число отростков на его рогах.

— Нынче шляпка была мне нужна. Я ездила на мельницу.

— Мне это известно.

— Откуда же?

— Я видел вас.

— Где?

Каждый мускул лица и тела незнакомки сковало боязливое ожидание ответа.

— Здесь, в роще, и на склоне холма.

Взор, каким Оук окинул тропу, выдавал его осведомленность о том, чего ему знать не полагалось. Снова поглядев на собеседницу, он тотчас опять захотел отвести глаза, как если бы его поймали на воровстве. Девушка же, припомнив свои недавние акробатические экзерсисы, почувствовала, что лицо ее загорелось, будто от крапивы. И хотя это вовсе не входило у нее в обычай, на сей раз она покраснела. Каждый дюйм прелестной кожи принял цвет лепестков розы: сперва нежной розы «Бедро нимфы», затем всевозможные оттенки розы провансальской и, наконец, алой тосканской. Оук из деликатности отвернулся. Несколько мгновений он смотрел в сторону, думая о том, достаточно ли собеседница овладела собою и скоро ли он сможет опять поглядеть ей в лицо. Наконец раздался шорох, легкий, как трепет засохшего листа на ветру, и Габриэль повернул голову. Девицы и след простыл. Обретя вид полутрагический-полукомический,

Оук возвратился к своим делам.

Миновало пять дней и пять вечеров. Каждое утро молодая особа приходила доить здоровую корову и лечить больную, но ни разу не позволила своему взору остановиться на персоне фермера Оука. Он глубоко ее оскорбил — не тем, что увидел то, чего не увидеть не мог, а тем, что дал ей об этом знать. «Где нет закона, нет и преступления»[7], а там, куда не смотрят чужие глаза, нет и непристойности. Девушке, по-видимому, казалось, будто, проследив за нею, Габриэль превратил ее в женщину предосудительного поведения. Это досадное обстоятельство дало Оуку обильную пищу для сожалений. Оно же раздуло в его душе то скрытое пламя, что зародилось после первой встречи с темноволосою красавицей.

И все же знакомство, едва начавшееся, вероятно, завершилось бы для Оука медленным забвением, если бы не случай, произошедший на исходе недели. В тот день стало холодать, под вечер мороз усилился, постепенно и словно бы исподволь сковав все кругом. В такую пору дыхание крестьянина, что спит в своем скромном жилище, превращается в иней на простыне,

---

[7] Примечания: 7
Послание к римлянам апостола Павла, 4:15.

а в доме большом и толстостенном у тех, кто сидит в гостиной перед разожженным огнем, мерзнут спины, даже если лица пылают. Той ночью многие пташки уснули на голых ветвях, не отужинав.

В час доения Оук по привычке следил за тропой, ведущей к коровьей хижине. По прошествии некоторого времени он стал замерзать и, подложив годовалым овечкам побольше соломы, вернулся в свое убежище, чтобы подбросить в печку дров. Из-под двери дуло. Оук прикрыл щель мешком, а свое ложе повернул немного к югу. Однако холодный воздух все равно струился через отдушину. Точнее, отдушин было две, и фермер знал: когда огонь разожжен, а дверь заперта, по меньшей мере одну следует оставлять открытой — ту, которая не обращена к ветру. И все же теперь Оук решил на минутку-другую закрыть оба отверстия, пока хижина немного не нагреется. Фермер сел. Ощутив непривычную боль в голове и отнеся ее за счет того, что прошлыми ночами приходилось мало спать, он хотел встать, открыть одно оконце, а затем дать себе немного отдыха, однако уснул прежде, чем успел исполнить свое намерение.

Габриэль не знал, долго ли он пробыл в бес-

памятстве. Когда сознание стало к нему возвращаться, ему показалось, будто с ним происходят странные вещи: лает собака, чьи-то решительные руки расслабляют на нем шейный платок… Голова болела неистово. Оук открыл глаза и, к удивлению своему, увидел, что в хижине уже сгустилась вечерняя мгла, а в этой мгле он различил прелестные губы и белые зубки молодой особы. Более того, его голова покоилась на ее коленях, лицо и шея были мокры, а женские пальчики расстегивали ему воротник.

— Что со мною? — спросил Габриэль безучастным голосом.

Девушка как будто обрадовалась, хотя и не возликовала.

— Уже ничего, раз вы не умерли. И как вам удалось не задохнуться в этом фургоне?

— Ах, фургон… — пробормотал Габриэль. — Я купил его за десять фунтов, а теперь, наверное, продам. Буду сидеть под изгородью, как делали встарь. Спать с овцами на соломе. Уже во второй раз я здесь едва не угорел!

Последнее восклицание фермер сопроводил ударом кулака по полу.

— Виновата не хижина, — произнесла девушка так, словно прежде чем начать говорить,

она подумала — немалая редкость для женщины. — Вероятно, вам следовало быть умнее и не закрывать оба оконца враз.

— Вероятно, — ответил Оук рассеянно.

Покуда это мгновение не затерялось во множестве событий, он хотел поймать то чувство, которое испытывал, лежа вот так — головою на платье хорошенькой молодой особы. Он желал бы дать название своему ощущению, однако нашел, что уловить последнее грубыми силками языка не легче, чем сетью поймать аромат.

Девушка помогла Габриэлю сесть, и его лицо понемногу приняло всегдашний буро-красный оттенок.

— Как мне вас благодарить? — спросил он тоном неподдельной признательности.

— О, не стоит! — ответила девица с улыбкою и с улыбкой же выслушала новый вопрос:

— Как вы меня нашли?

— Я шла из коровника и приметила вашу собаку: она выла и царапала дверь. Хорошо еще, что беда не случилась с вами позже: молоко у нашей Дейзи почти закончилось, и в другой раз я, должно быть, приду сюда уже на той неделе или на следующей. Так вот собака меня увидала, подскочила ко мне и схватила за юбку. Я обошла

фургон кругом, чтобы взглянуть, не закрыты ли оконца. У моего дяди хижина наподобие вашей, и я слыхала, как он говорил пастуху, чтобы тот непременно отворял одну отдушину, прежде чем ложиться спать. Когда я вошла внутрь, вы лежали будто мертвый. Воды при мне не было, и я плеснула на вас молока, позабыв, что оно теплое. Вы не очнулись.

— Выходит, я должен был умереть? — проговорил Габриэль так тихо, словно адресовал этот вопрос более себе самому, нежели своей собеседнице.

— Ах, нет!

О вероятности столь печального исхода девица предпочла не думать. Признай она, что спасла фермеру жизнь, не удалось бы избежать речей, соответствующих возвышенному духу сего деяния, а таковые были ей не по нраву.

— Вы моя спасительница, мисс… Простите, с вашей тетушкой я знаком, а вашего имени не знаю.

— Полагаю, мне нет нужды его говорить. У вас со мною, верно, не будет больше никаких дел.

— И все же я хотел бы знать, как вы зоветесь.

— Спросите у моей тети, она вам скажет.

— Мое имя Габриэль Оук.

— А мое — нет. Ваше, видно, очень вам по нраву, раз вы произносите его с такою решимостью, Габриэль Оук.

— Мне ничего не остается, ведь другого имени у меня нет и уж не будет.

— Мое всегда казалось мне странным и неблагозвучным.

— Думаю, скоро вы его перемените.

— Боже праведный! Не чересчур ли много вы думаете о других людях, Габриэль Оук?

— Простите, мисс, я полагал, они будут вам приятны. По совести, я не мастер говорить и не сравнюсь с вами в умении взвешивать то, что у меня на языке. Однако я благодарю вас. Дайте же мне вашу руку!

Девушка поколебалась, несколько смущенная тем, с какой старомодной серьезностью Оук вздумал завершить их непринужденную беседу.

— Извольте, — промолвила она и исполнила его просьбу, с выражением деланой безучастности поджав губы.

Оук продержал руку девушки всего мгновение и, побоявшись пожать ее слишком крепко, тронул пальцы едва ощутимо, как делают люди малодушные.

— Простите, — сказал он секунду спустя.

— За что же?

— За то, что выпустил вашу руку так скоро.

— Возьмите ее опять, ежели хотите. Вот она.

На этот раз рука молодой особы пробыла в руке Оука дольше — на удивление долго.

— До чего мягкая у вас кожа! Не загрубела и не потрескалась, хотя теперь зима.

— Ну довольно, — сказала девушка, не отнимая руки. — Быть может, вам бы хотелось также ее поцеловать? Я разрешаю.

— Я ни о чем таком не думал, — сказал Габриэль простодушно, — но поцелую.

— Вот уж нет! — девушка отдернула руку, и Оук застыдился оттого, что снова повел себя неучтиво. — Теперь узнайте мое имя, — прибавила она задорно и тотчас удалилась.

Глава IV
Габриэль решается. Визит. Ошибка

Сильный пол обыкновенно терпит в женщине лишь такое превосходство, коего она сама не сознает. Однако и превосходство, ею сознаваемое, порой привлекает мужчину, если оставляет ему надежду ее покорить. Красивая и благовоспитанная девица за короткий срок в немалой степени овладела думами молодого фермера Оука. Подобно тому, как низменную страсть пробуждает желание плотских наслаждений или материальной выгоды, стремление к обогащению духа дает начало чистой любви, которая, ведя торги на бирже сердец, не уступит в настойчивости самому алчному ростовщику. Каждое утро шансы Оука менялись в его собственных глазах, будто котировки акций на рынке. Он ждал встречи с девицей, как собака ждет кормежки. Габриэль почти не глядел на своего пса, остро ощущая унизительность такого подобия, и все же не переставал ждать, не мелькнет ли за изгородью милый женский образ. Его чувства к девушке

крепли, причем безо всякой взаимности. Он не умел изъясняться в пышных фразах, которые кончаются там же, откуда начались. Не умел петь песен, «где много шума и страстей, но смысла нет»[8]. А потому, пока не зная определенно, что желал бы выразить, хранил молчание.

Ему лишь удалось узнать, что девица зовется Батшебой Эвердин и что через семь дней молоко у ее коровы пропадет вовсе. Тот восьмой день, которого Габриэль так страшился, настал, и девушка не поднималась более по склону холма. Чувства фермера Оука пришли в такое состояние, какого он еще недавно не мог себе даже представить. Вместо того чтобы насвистывать, он с наслажденьем произносил имя Батшеба. С мальчишества Оук любил видеть у женщин каштановые локоны, однако теперь сделался ценителем черных. Он пребывал в уединении и практически полностью исчез из поля зрения местного общества. Любовь — это зреющая сила, рождающаяся в преходящей слабости. Женитьба превращает то, что мешает, в то, что поддерживает, причем по мощи своей поддержка должна быть (и, к счастью, обыкновенно бывает) прямо

[8] Примечания: 8

У. Шекспир. Макбет. Акт V, сцена 5. Перевод М.Л. Лозинского.

пропорциональною помехе. Увидав свет на этом пути, Оук сказал себе: «Она будет моей женою, или, душой клянусь, я пропал!»

Не один день ломал он голову, ища предлога, чтобы посетить коттедж тетки своей любезной. Случай представился, когда пала овца, оставившая живого ягненка. Погожим январским утром, имевшим летний лик и зимнюю сущность, когда солнце пролило каплю серебристого света, а небо открыло немного голубизны, лишь чтобы внушить ободренным людям мечты о большем, Оук поместил ягненка в добротную корзинку и зашагал через поля к дому миссис Херст. Пес Джордж увязался следом, всем своим видом показывая, как не по нраву ему, пастуху, такой оборот.

Завидев над трубой синеватый дым, Габриэль впал в странную задумчивость. Вечерами он мысленно прослеживал путь дымовой струи обратно: вниз по трубе к очагу, перед которым сидит Батшеба в своем рабочем наряде. Платье, что было на ней тогда, на холме, стало в глазах Оука неотделимо от ее образа и тоже сделалась предметом нежных чувств. В пору начала его любви оно казалось ему необходимою частью сладчайшей микстуры под названием Батшеба Эвердин.

Сам же Габриэль облачился в продуманный костюм, представлявший собой нечто среднее между аккуратной скромностью и нарядным легкомыслием, между дождливым воскресеньем в церкви и ярмарочным гуляньем. Серебряную цепочку часов Оук тщательно начистил мелом, а в ботинки вдел новые кожаные шнурки, натерев до блеска медные кольца отверстий. Сверх того он изготовил новую трость из ветви, срубленной в самой гуще леса, и извлек со дна одежного сундука чистый носовой платок. Надев светлый жилет с узором из ростков дивного цветка, сочетавшего прелести лилии и розы, Габриэль извел все масло, какое имел, на свои обыкновенно спутанные и сухие песочные кудри. От такого к ним внимания они обрели новый великолепный цвет (смешение гуано[9] с римским бетоном) и стали липнуть к голове, как шелуха к мускатному ореху или мокрые водоросли к камню после отлива.

Коттедж окутывала тишина, нарушаемая только бранью стайки воробьев под карнизом. (В семействах, что лепят свои гнезда к наружным краям крыш, ссоры и сплетни случаются не реже, чем у живущих внутри домов.) Это, по видимо-

[9] Примечания: 9

Гуано — коричневатое удобрение из разложившегося помета морских птиц.

сти, надлежало расценивать как недобрый знак, ибо начало визита вышло не самым удачным: приблизившись к садовой калитке, Оук заметил кошку, которая тотчас принялась выгибаться дугой и угрожающе шипеть. Пес, уже достигший того возраста, когда лай без значительного повода считается среди собак пустым расточением сил, счел кошачьи конвульсии недостойными своего внимания. (Надобно сказать, что даже на овец он лаял лишь для порядка и безо всякой злобы, как духовный пастырь посыпает головы грешников пеплом в начале Великого поста — обычай унизительный, однако необходимый для устрашения прихожан ради их же блага.) Вдруг из-за лавровых кустов, в которых скрылась кошка, раздался крик:

— Бедняжка! Этот гадкий злой пес хотел ее убить!

— Прошу простить меня, — ответствовал Оук, — но Джордж шел со мною рядом и был совершенно спокоен.

Едва договорив, Габриэль с тревогой подумал о том, чьих ушей достигнут его слова. Из-за кустов никто не появился. Напротив, шаги удалились. Оук задумался так глубоко, что на лбу его возникли бороздки, прочерченные силою мысли. Когда

предстоящая беседа может изменить положение вещей как к добру, так и к худу, любое различие между действительным и ожидаемым порождает тревожное предчувствие неудачи. Габриэль приблизился к двери слегка сконфуженный: визит, так давно им предвкушаемый, имел в его мечтах совсем иное начало.

Дверь отворила тетушка Батшебы.

— Не будете ли вы добры передать мисс Эвердин, что кое-кто желал бы с нею говорить? — спросил мистер Оук, назвавшись кое-кем, вместо того чтоб представиться, отнюдь не вследствие дурного воспитания, а в силу высочайшей скромности, ценимой в деревне, однако вовсе неведомой горожанам с их докладами и визитными карточками.

Батшебы в доме не оказалось. Значит, то был ее голос — там, за кустами лавра.

— Вы войдете, мистер Оук? — пригласила миссис Херст.

— Благодарю вас, — ответил Габриэль, проходя к камину следом за хозяйкой. — Я принес мисс Эвердин ягненка. Подумал, что ей приятно будет его растить. Девушки это обыкновенно любят.

— Может, ей и придется по нраву ваш подарок, — произнесла миссис Херст раздумчиво, —

однако она и сама здесь гостья. Ежели подождете минутку, она придет.

— Я подожду, — сказал Оук, садясь. — По правде говоря, миссис Херст, я не только из-за ягненка пришел. Я хотел бы спросить, согласится ли она стать моею женой.

— В самом деле?

— Да. Потому как если она согласна, я женюсь на ней с превеликой радостью. Не подскажете ли вы, есть ли подле нее другие молодые люди с подобными намерениями?

— Дайте-ка подумать, — ответила миссис Херст, рассеянно вороша угли в камине. — Оно, конечно, молодых людей хоть отбавляй. Видите ли, фермер Оук, Батшеба девушка видная, к тому же ученая. Хотела даже гувернанткою стать, да только нрав у нее для этого чересчур необузданный. Не то чтобы мужчины ее здесь посещали, но, Боже мой, по своей природе она должна иметь целую дюжину женихов.

— Жаль, — вымолвил Оук, горестно созерцая трещину в каменном полу. — Я человек простой и мог надеяться на успех, только если б оказался первым… А поскольку пришел я лишь за этим, то и ждать мне, выходит, нечего. Пойду-ка я домой, миссис Херст.

Прошагав ярдов двести по равнине, Габриэль услыхал у себя за спиной пронзительное «хой-хой!», причем этот возглас прозвучал выше, чем обыкновенно звучит в устах пастухов. Обернувшись, Оук увидел девушку, которая бежала за ним, размахивая белым платочком. Габриэль покраснел. Ее же щеки пылали румянцем, однако, по всей видимости, не от смущения, а от бега.

— Фермер Оук… я… — заговорила Батшеба и осеклась, переводя дух.

Теперь она стояла прямо перед Габриэлем, чуть отвернувшись и держась рукою за бок.

— Я заходил вас повидать.

— Знаю. — Батшеба дышала часто, как птенчик малиновки, с раскрытым клювом ждущий червячка, лицо ее раскраснелось и было мокро, точно цветок пиона, на котором солнце еще не высушило росу. — Если б я предполагала, что вы пришли просить моей руки, я бы тотчас вернулась из сада. А тетя неверно вам сказала…

У Габриэля гора свалилась с плеч.

— Досадно, что вам пришлось бежать так быстро, любезная мисс Эвердин, — произнес он, с благодарностью предвкушая следующие ее слова. — Погодите немного, отдышитесь.

— Тетя неверно сказала вам, будто у меня есть

жених. Нет у меня никого и не было никогда. Я так рассудила: время идет, и это большая ошибка — отослать вас, чтобы вы думали, будто у меня много поклонников.

— До чего я рад это слышать!

На лице фермера Оука, зардевшемся от удовольствия, возникла отличавшая его продолжительная улыбка. Он протянул руку к руке Батшебы, которую она, отпустив бок, теперь прижимала к груди, дабы успокоить громко бившееся сердце. Едва Габриэль ею завладел, она спрятала ее за спину, — проворные пальчики, точно угорь, выскользнули из его ладони.

— У меня уютная маленькая ферма, — произнес Габриэль вполовину не так уверенно, как говорил до попытки взять руку Батшебы.

— Охотно верю.

— Мне ссудили денег для начала, но скоро все будет выплачено. Человек я обыкновенный, однако с детства работал и сумел добиться кое-чего. — «Кое-что» фермер произнес так, словно подразумевал «многое». — Когда мы поженимся, я наверняка смогу работать вдвое больше нынешнего.

Оук сделал несколько шагов вперед и снова протянул руку Батшебе. Она поравнялась с ним

возле низкого куста остролиста, усыпанного красными ягодами. Увидав, что Габриэль наступает, грозя заключить ее персону в объятия и, пожалуй, даже стиснуть в оных, девица обошла заросли и с противоположной их стороны, глядя поверх ветвей округленными глазами, промолвила:

— Но фермер Оук! Я ведь не говорила, что выйду за вас!

— Вот так так! Стало быть, вы бежали за мною во весь опор, чтобы сказать, что за меня не выйдете? — проговорил Габриэль в полной растерянности.

— Я лишь хотела вам сообщить, — ответила Батшеба с жаром, хотя в глубине души осознавала нелепость того положения, в которое себя поставила, — что нет никакой дюжины женихов, и никто не называет меня своею милой. Я не желаю, чтобы мужчины думали обо мне как о собственности, хотя, быть может, однажды ею стану. Если б я хотела за вас замуж, я б за вами так не побежала — я ведь имею гордость. Но нет никакого вреда в том, что я поспешила опровергнуть неправдивые слова, сказанные тетей.

— О да, вреда в самом деле нет, — ответил Оук. Но иногда тот, кто высказывается от сердца, рискует проявить чрезмерное великодушие. Посему,

взвесив обстоятельства, Габриэль прибавил: — Хотя я в этом не уверен.

— По совести говоря, я не успела подумать, хочу ли за вас выйти, прежде чем побежала. Вы ведь уже далеко ушли.

Оук вновь приободрился.

— Так извольте, мисс Эвердин. Подумайте минуту или две. Я подожду. Вы будете моей женою? Соглашайтесь, Батшеба. Моя любовь к вам очень велика!

— Что ж, попробую, — произнесла она довольно робко. — Но если я думаю на открытом воздухе, мои мысли разлетаются.

— И все же попытайтесь.

— Дайте мне время.

Батшеба отворотила лицо от Габриэля и устремила взор вдаль.

— Я сделаю вас счастливой, — сказал Оук, глядя поверх куста на ее затылок. — Через год или два мы сможем купить фортепьяно — нынче у многих фермерских жен оно имеется. А я подучусь на флейте, чтобы играть с вами по вечерам.

— Да, было бы славно.

— А еще мы купим маленькую хорошенькую двуколку за десять фунтов для поездок на рынок, насадим цветов, заведем птиц: курочек и петухов

— от них ведь в хозяйстве большая польза, — продолжал Габриэль, балансируя между поэзией и практицизмом.

— И это мне по нраву!

— А еще у нас будет парник для огурцов, как бывает у леди и джентльменов.

— Да!

— А когда мы поженимся, об этом напишут в газете!

— О, как чудесно!

— А потом о рождении наших детишек! А дома, у камина, лишь только вы подымете взгляд от огня — я тут как тут перед вами, а я подыму взгляд — передо мною вы.

— Довольно! Не говорите непристойностей!

Лицо Батшебы помрачнело, и несколько мгновений она молчала. Габриэль все смотрел на красные ягоды, разделявшие их, и в дальнейшем остролист прочно связался в его сознании с предложением руки и сердца. Наконец девушка повернулась к нему и решительно произнесла:

— Нет! Ничего путного из этого не выйдет. Я не хочу за вас замуж.

— Попытайтесь представить…

— Я пыталась все время, пока думала. В замужестве есть своя прелесть: люди заговорят обо

мне, и я буду торжествовать, словно настал мой триумф. Но муж…

— Что ж плохого в муже?

— Ах, он всегда будет рядом, как вы давеча сказали. Куда я ни погляжу — всюду будет он.

— Непременно будет. То есть я буду.

— В том-то и дело. Я не прочь быть невестою на свадьбе, только лучше, если свадьба без мужа. Коли женщина не может покрасоваться перед людьми одна, то я не выйду замуж. По крайней мере, теперь не выйду.

— Что за глупости вы говорите! — Столь суровая оценка ее слов побудила Батшебу с гордым видом отпрянуть назад. — Клянусь душою и сердцем, — продолжал Габриэль, — ни от одной другой девицы не услышать менее вздорных речей! Дражайшая моя, — прибавил он, смягчившись, — будьте же умнее! — Фермер издал вздох неподдельного огорчения — столь глубокий и шумный, будто вздохнул сосновый лес. — Чем я вам не нравлюсь? — вопросил он, тихонько обходя куст, чтобы стать с Батшебою рядом.

— Я не могу за вас выйти, — отвечала она, отступая.

— Но отчего?

Утратив надежду приблизиться к ней, Оук стал

неподвижно и, как раньше, устремил на нее взгляд поверх куста.

— Я не люблю вас.

— Да, но…

Батшеба зевнула почти совсем незаметно, так что это отнюдь не было неучтивостью, и вновь произнесла:

— Я вас не люблю.

— Зато я люблю вас и со своей стороны был бы доволен, если б просто нравился вам.

— О, мистер Оук, как великодушно! Но скоро вы станете меня презирать.

— Никогда! — воскликнул Оук с таким чувством, что одной лишь силою своих слов, казалось, преодолел кустарник, отделявший его от Батшебы, и устремился в ее объятия. — Лишь одно в этом мире я знаю наверняка: всю свою жизнь я буду любить вас! До самой моей смерти вы будете для меня желанной!

Речь фермера Оука была исполнена торжественной одухотворенности, а его большие руки, темные от работы, заметно дрожали.

— Быть может, это ужасно неверно — не выйти за вас, когда ваши чувства ко мне так сильны! — сказала Батшеба не без некоторого сожаления и принялась озираться, отчаянно ища решения

моральной дилеммы. — Ах, зачем только я бросилась за вами бежать! — Впрочем, скоро она отыскала путь к веселости и лукаво прибавила: — У нас с вами ничего не сладится, мистер Оук! Кто-то должен меня укротить, ведь я слишком независима, а у вас, я знаю, это не выйдет.

Оук опустил глаза, словно показывая, что не видит смысла в продолжении спора. Тогда Батшеба вновь заговорила разумно и ясно:

— Мистер Оук, вы состоятельней меня. У меня за душой ни гроша, я помогаю тетке по хозяйству, чтоб отработать свой хлеб. Притом образована я лучше и нисколечко вас не люблю. Вот как выглядит дело с моей стороны. Теперь поглядим с вашей. Вы сделались фермером совсем недавно. Жениться вам если и следует, то, конечно, не сейчас, а позднее. Здравый смысл велит вам подыскать жену со средствами, которые позволят расширить ферму.

Габриэль взглянул на Батшебу с малой долей удивления и большой долею восхищения.

— Я и сам об этом думал, — наивно признался он.

Добиться успеха с Батшебою ему мешали полторы христианские добродетели: смирение (это одна добродетель) и честность, которую следова-

ло бы убавить ровно вполовину, ибо теперь она привела девушку в полнейшее замешательство.

— Тогда чего же вам вздумалось меня понапрасну тревожить? — спросила она, если не злясь, то вполне себе раздражаясь: красные пятнышки, вспыхнувшие на ее щеках, становились все больше.

— Я не могу сделать то, что было бы…

— Верно?

— Нет, мудро.

— Вот, мистер Оук, вы и признались! — воскликнула Батшеба и презрительно тряхнула головою. — Неужто вы полагали, будто после такого я выйду за вас замуж? Ни за что!

— Не понимайте моих слов так дурно! — с горячностью ответил Габриэль. — Я лишь открыто высказываю то, о чем другой на моем месте подумал бы про себя, а вам кровь ударяет в голову, и вы сердитесь. Что вы для меня чем-то нехороши — чепуха. Вы говорите как благородная — весь приход заметил. А у вашего дяди, я слышал, в Уэзербери большая ферма — такая, какой у меня вовек не будет. Позвольте мне зайти к вам вечером, или, быть может, вы согласитесь прогуливаться со мною по воскресеньям? Я не прошу вас решить немедленно, ежели вы того

не хотите.

— Нет. Нет. Я не могу. Не настаивайте, не нужно. Я вас не люблю, а потому это было бы нелепо, — сказала она с усмешкой.

Ни один мужчина не пожелает, чтобы женское кокетство вертело его чувства на своей карусели.

— Что ж, хорошо, — ответил Оук твердым тоном человека, решившего отныне проводить дни и ночи в умудряющем чтении Екклесиаста. — Впредь я вас не потревожу.

Глава V
Разлука с Батшебою. Пастушья трагедия

Известие о том, что Батшеба Эвердин покинула их края, произвело на мистера Оука такое действие, которое многим показалось бы странным, однако не удивило бы того, кто знает: чем громче и решительней отказ, тем он менее действенен. Пути, ведущие к любви, ведомы людям, но пути, из нее выводящие, неисповедимы. Порою лучшим лекарством от нежной страсти находят женитьбу, хотя не всем это средство помогает. Габриэлю Оуку судьба дала иное снадобье — разлуку. Излечивая одних, оно побуждает других возводить предмет на трон идеала. Сие побочное действие проявляет себя в особенности у тех, чья любовь, спокойная и постоянная, подобна долгой глубокой реке. Фермер Оук принадлежал к тихой половине человечества, и та часть его души, что тайно приросла к Батшебе, теперь горела еще более жарким пламенем, чем до отъезда девицы.

Неудачное сватовство положило конец начавшейся дружбе Габриэля с тетею мисс Эвердин,

и теперь он вынужден был расспрашивать о ней посторонних лиц. Соседи говорили, будто Батшеба отправилась в деревню Уэзербери, что в двадцати милях от их прихода, однако поехала ли она туда погостить или вознамерилась поселиться там надолго, Оук узнать не смог.

На его ферме было две собаки. Старший пес, Джордж, имел черный, как смоль, нос, окруженный узким розовым ободком, и шерсть в хаотически расположенных пятнах от белого до голубовато-серого цвета. Правда, многолетнее воздействие солнца и дождя выжгло и вымыло голубизну, заместив ее рыжевато-коричневым оттенком, отчего шуба Джорджа стала немного напоминать полотна Тернера, на которых выцвел индиго. От долгого пребывания среди овец растительность на песьем теле сделалась похожей на овечье руно низкого сорта. В юности Джордж служил пастуху, известному своей низкою моралью и крутым нравом, а потому не хуже самого злоязычного деревенского старика знал все до единой степени угрозы, выражаемые разнообразнейшими бранными словами. Опыт научил его столь четко различать «Ко мне!» и «Ко мне, черт тебя дери!» — что пес с точностью до овечьего волоска определял, как быстро следует

бежать на тот и на другой зов, дабы избегнуть удара посохом. Теперь Джордж был уже немолод, но по-прежнему остр умом и надежен.

Другой пес, его сын, уродился, по всей вероятности, в мать, ибо на отца не походил нисколько. Юнца обучали пастушескому ремеслу, чтобы заменить им родителя, когда тот умрет, однако пока он постиг лишь самые азы и находил непреодолимую трудность в определении той меры усердия, которая удовлетворит хозяина как достаточная, но не излишняя. Этот молодой пес, не имевший имени и охотно откликавшийся на любое приветливое восклицанье, служил ревностно, хотя умом не блистал. Если его отправляли слегка подбодрить овец, он гнал их с превеликим наслаждением едва ли не в другой конец графства, пока не заслышит хозяйский зов или не будет остановлен старым Джорджем.

Но довольно пока о собаках. На другой стороне Норкомбского холма была меловая яма, из которой черпало известь не одно поколение окрестных фермеров. С двух сторон от нее стояла изгородь в виде буквы «V», слегка разомкнутой. Нижние концы, нависавшие над самым краем ямы, соединяла кое-как сработанная перекладина.

Однажды вечером Оук вернулся в свой дом, решив, что ночное бдение на холме более не нужно. Он окликнул собак, чтоб запереть их в сарае до утра. На зов явился только Джордж. Второго пса нигде не было: ни в доме, ни на улице, ни в саду. Оук припомнил, что, уходя с пастбища, оставил собак за поглощением мяса мертвого ягненка (такую пищу он давал им, лишь если другая кончалась). Решив, что молодой пес еще ест, Габриэль лег в постель — роскошь, какую он в последние месяцы позволял себе только по воскресеньям.

Ночь выдалась тихая и влажная. Перед самым рассветом фермера разбудила знакомая музыка, звучавшая весьма громко. Пастух замечает звон овечьего колокольчика так же, как все мы замечаем тиканье часов, то есть лишь тогда, когда привычный звук прекращается или же меняет свои свойства. Не привлекая к себе особого внимания, ленивое позвякивание сообщает фермеру, как бы далеко тот ни находился, что в загоне все спокойно. В торжественной тишине занимавшейся зари Габриэль уловил странный частый звон. Такой звук мог быть вызван одной из двух причин: либо животные, на чьих шеях висят колокольцы, вышли на новое пастбище и щиплют

траву с особой жадностью, либо они бросились бежать (в последнем случае звон более ровен). Опытное ухо фермера Оука тотчас определило, что стадо мчится со всех ног.

Габриэль вскочил с постели, оделся, пронесся по окутанной утренним туманом деревенской улице и взобрался на холм. Оягнившихся животных он держал отдельно от тех, которым предстояло ягниться позже. Последних — в его стаде их насчитывалось двести голов — словно ветром сдуло. Пятьдесят овец с ягнятами были в своем загоне, как накануне вечером, но большей части отары даже след простыл. Оук во весь голос прокричал пастушеское «Овей! Овей! Овей!» — и никто не заблеял в ответ. Подойдя к ограде, Габриэль увидел в ней брешь, а рядом — следы копыт. То, что овцам вздумалось выбраться на волю в зимнюю пору, удивило фермера, однако он приписал эту странность их любви к плющу, который в избытке рос среди буков.

В лесу животных не оказалось. Оук вновь стал их звать, и зов его разнесся по окрестным холмам и долинам, подобно воплям Геракла, что разыскивал юного оруженосца Гиласа, канувшего в пучине у берегов Мизии. Овцы не приходили. Тогда Габриэль вышел из леса на гребень холма и

на самой вершине увидал темный силуэт своего молодого пса. Подобно Наполеону на острове Святой Елены, тот стоял неподвижно над тем местом, где сближались две изгороди, поставленные над известковою ямой.

Фермера поразила жуткая догадка. Ощутив внезапную слабость во всем теле, он двинулся вперед и увидел возле сломанной перекладины следы своих овечек. Пес подбежал, лизнул руку хозяина и завилял хвостом, явно ожидая благодарности за караульную службу. Габриэль поглядел в яму: на дне лежали умирающие или уже умершие животные — двести изуродованных тел, в каждом из которых таилось по меньшей мере еще одно тело.

Оук был человеком добросердечным — в такой степени, что это часто мешало осуществлению его стратегических замыслов. Всю свою жизнь он страшился того дня, когда каждый пастух предает своих беззащитных овец, превращая их в баранину.

Первым делом Габриэля, стоящего над ямой, поразила жалость к безвременно погибшим нежным созданиям и их нерожденному потомству. Только после он вспомнил о другом: овцы не были застрахованы. Все, что удалось сберечь за

годы аскетической жизни, пошло прахом. Мечты о собственной ферме погибли — быть может, навсегда. С восемнадцати до двадцати восьми лет Оук терпеливо трудился, не щадя сил, чтобы теперь остаться ни с чем. Он склонился над оградой и закрыл лицо руками.

Оцепенение, однако, не может продолжаться вечно. Примечательно и вместе с тем для Габриэля вполне свойственно, что первые слова, какие он произнес, овладев собою, были словами благодарности: «Слава Господу, не давшему мне жены! Как бы она вынесла бедность, которая ждет меня теперь?!»

Подняв голову, Оук устремил вперед бесстрастный взор, размышляя, можно ли еще хоть что-то сделать. За ямой виднелся овал пруда, а над ним висел истонченный хромово-желтый серп луны. Слева ее охраняла утренняя звезда. Пруд блестел, как глаз мертвеца. Пробудившийся ветер растягивал и сотрясал, не разрывая, отражение месяца, а свет звезды растянулся по водной глади фосфорическою полосой. Все это Габриэль приметил и запомнил.

Насколько теперь можно было судить, беда случилась так: бедный молодой пес, до сих пор полагавший, что чем дальше он загонит овец,

тем лучше, отужинал мертвым ягненком и, исполненный новых сил, заставил своих боязливых подопечных перемахнуть через ограду. Взбежав по склону холма, испуганное стадо сломало подгнившее ограждение ямы и оказалось на дне.

Сын Джорджа, исполнивший свой долг с таким исключительным рвением, оказался слишком хорошим работником, чтобы жить на этом свете. Его забрали и в полдень того же дня пристрелили — пример несчастливой судьбы, часто постигающей собак и философов, которые имеют склонность приводить цепь рассуждений к логическому завершению, стремясь достичь совершенства в мире, где столь важную роль играют компромиссы.

Практически все, имевшееся на ферме Оука, ему предоставил один торговец, который должен был получать долю от дохода, пока ссуда не будет погашена. Те животные и орудия, что принадлежали самому Габриэлю, стоили, как оказалось, примерно столько, чтобы их продажа покрыла долги, оставив неудачливого фермера свободным человеком, владеющим надетым на него платьем и более ничем.

Глава VI
Ярмарка. Путешествие. Пожар

Минуло два года. Перенесемся в Кестербридж, главный город графства, где в тот февральский день проходила ежегодная ярмарка наемных работников. Две или три сотни бодрых и крепких трудяг стояли на площади в ожидании Удачи. Все они принадлежали к тому сорту людей, для которых работа есть не что иное, как борьба с земным притяжением, а любой перерыв в работе есть удовольствие. Возчики выделяли себя в этой толпе тем, что обматывали вокруг шапок кусок кнута, костюм кровельщиков дополнялся сплетенным пуком соломы, пастухи держали в руках посохи. Так наниматель с одного взгляда понимал, кто какого места ищет.

Среди желающих наняться на службу был атлетически сложенный молодой человек, который казался выше других по положению. Кое-кто из краснолицых крестьян даже подходил к нему как к фермеру и предлагал свои услуги, в конце прибавляя «сэр». Но он отвечал: «Я сам хочу наняться. Управляющим. Не знаешь ли, у кого найдется для

меня место?»

Габриэль сделался бледен и печален. Глаза глядели раздумчиво. Он прошел через тяжкие испытания, которые многое отняли у него, однако дали ему еще больше. Со скромного трона сельского царя фермер Оук был низвергнут в смоляные ямы Сиддима[10], где приобрел доселе неведомое ему величавое спокойствие и ту безучастность к собственной судьбе, которая если не делает человека негодяем, то возвышает его. Падение обернулось восхождением, а потеря — приобретением.

Тем утром из Кестербриджа уходил стоявший там кавалерийский полк, и сержант со своими людьми разъезжал по четырем улицам, составлявшим город, вербуя рекрутов. Под конец дня Оук, которого так никто и не нанял, почти пожалел о том, что не пошел служить отчизне. Раз места управляющего для него не нашлось, а ждать уж не было сил, он надумал взяться за другую работу.

Всем фермерам требовались пастухи, Габриэль же знал толк в овцах. Зайдя в темную улицу и свернув в еще более темный переулок, он вошел

---

[10] Примечания: 10
См. Бытие, 14:10.

в лавку кузнеца.

— Много ли времени тебе нужно, чтоб изготовить крюк для пастушьего посоха?

— Треть часа.

— Сколько возьмешь?

— Два шиллинга.

Оук сел на скамью, а кузнец выковал крюк и приладил древко, не взяв за него отдельной платы. Из кузнечной лавки Габриэль направился в лавку готового платья, где имелась разнообразная одежда для сельских жителей. Поскольку большая часть его денег ушла на посох, он выменял свое пальто на кафтан заправского пастуха, а по совершении сей сделки торопливо вернулся на центральную площадь и встал, как овчар, с посохом в руках. Однако теперь как будто больше требовались управляющие. И все же раза два или три к Габриэлю подходили. Между ним и фермером происходил разговор такого содержания:

— Ты откуда?

— Из Норкомба.

— Не ближний свет.

— Пятнадцать миль отсюда.

— На чьей ферме служил прежде?

— На своей.

Такой ответ неизменно действовал как изве-

стие об эпидемии холеры: фермер отходил прочь, качая головой. Далее дело не продвигалось: Габриэль, как и его пес, оказался слишком хорош, чтобы ему доверять. Воспользоваться случаем, который предлагает себя сам, и привести обстоятельства в соответствие с этим случаем верней, чем собственным умом измыслить хороший план. Оук пожалел о своем решении стать под пастушеские знамена. Лучше бы он говорил, что готов взяться за любую работу.

Сгустились сумерки. Какие-то весельчаки принялись насвистывать и распевать песни возле хлебной биржи. Рука Габриэля, долгое время лежавшая без дела в кармане пастушьего кафтана, взяла флейту. Проявляя мудрость, купленную дорогой ценой, Оук заиграл «Плута на ярмарке» так, будто никогда не ведал горя. Габриэль владел сим пасторальным инструментом, подобно жителю идиллической Аркадии, и сейчас, издавая звуки всем знакомой песни, он веселил и свое сердце, и сердца гуляк. За полчаса вдохновенной игры ему удалось изрядно подзаработать: для того, кто всего лишился, горстка однопенсовиков — хоть и небольшое, но состояние. Порасспросив людей, Оук узнал, что назавтра будет ярмарка в Шоттсфорде.

— Далеко ли Шоттсфорд?

— Милях в десяти от Уэзербери.

Уэзербери! Место, куда отправилась Батшеба!.. Для Габриэля полночь внезапно сменилась полуднем.

— А до Уэзербери сколько будет?

— Миль пять или шесть.

Вероятно, Батшеба давно уж покинула Уэзербери, и все же это селение представляло для Оука достаточный интерес, чтобы попытать счастья именно в тех краях. К тому же тамошние жители были сами по себе интересны. Из рассказов следовало, что уэзерберийцы смелы, веселы, хитры и процветают, как никто другой во всем графстве.

Решив переночевать в Уэзербери на пути в Шоттсфорд, Габриэль тотчас зашагал туда по указанной ему кратчайшей дороге. Она тянулась через заливные луга, пересекаемые трепещущими ручейками: струи воды сплетались в косы посередине русла, а у берегов образовывали оборки. Там, где течение было быстрее, сбивались белые облачка пены, и ручей безмятежно уносил их дальше. Сухие скелетики листьев в беспорядке кружились на плечах ветра и падали на землю. Птички на изгородях чистили перышки, уютно устраиваясь на ночлег. Стоило Габриэлю

приостановиться, чтобы на них поглядеть, они тотчас вспархивали.

В Йелберийском лесу дичь рассаживалась по гнездам. Оук то и дело слышал скрипучий отрывистый крик фазана или хрипловатый посвист его подруги. Ко времени, когда три или четыре мили остались позади, очертания предметов слились во всепоглощающей тьме. Спустившись с Йелберийского холма, Оук с трудом различил фургон, стоящий под могучим развесистым деревом у дороги.

Габриэль подошел и увидел, что лошадей нет. Поблизости, очевидно, не было ни души: хозяин покинул фургон на ночь, оставив внутри лишь пучок сена. Оук присел на оглоблю и задумался о своем положении. По его подсчету выходило, что значительная часть пути уже пройдена. Поскольку с восхода солнца Габриэль был на ногах, крытая повозка и пук соломы весьма его манили, и он подумал, не лечь ли прямо здесь, чтобы не платить за постой в Уэзербери.

Доев остатки хлеба с ветчиной и запив их сидром, благоразумно припасенным в дорогу, Оук, насколько мог видеть в темноте, разделил сено на две половины: одну разложил на досках, а другою укрылся с головой, как одеялом. Тело его

никогда не ощущало большего удобства, однако, значительно превосходя других людей своего рода занятий в склонности к размышлению и созерцанию, он не мог вполне заглушить внутреннюю печаль. Теперешняя страница жизни Габриэля Оука была не из счастливых, и, думая о своих горестях, влюбленный муж в пастушеском облаченье уснул, ведь пастухи, подобно мореплавателям, обладают завидной способностью вызывать Морфея.

Внезапно очнувшись от сна, продолжительность коего была ему неизвестна, Оук почувствовал, что телега движется, причем с внушительной для безрессорной повозки быстротой. Голова его билась о дощатое дно, словно палочка барабанщика о литавры. На передке фургона сидели люди, чей разговор долетал до Габриэля. Будь он человеком преуспевающим, он, возможно, встревожился бы не на шутку, но горести, подобно опию, усыпляют страх. Оук осторожно выглянул наружу и первое, что он увидел, были звезды. Ковш Большой Медведицы указал ему время — около девяти. Значит, спал он часа два. Произведя сие астрономическое исчисление мгновенно и безо всякого усилия, Габриэль тихонько повернулся, дабы увидеть, если удастся, в

чьи руки он попал.

Впереди сидели, свесив ноги, двое. Один из них, очевидно возчик, правил. По всей вероятности, они ехали с Кестербриджской ярмарки, как и Оук.

— Что ни говори, а собой она хороша. Впрочем, эти холеные кобылки бывают горды, как черти.

— Твоя правда, Билли Смоллбери, твоя правда.

Последние слова произнес голос, изначальную нетвердость коего усугубила тряска. Принадлежал он тому, кто держал поводья.

— Девица много о себе мнит — всюду люди говорят.

— Вот оно что! Ежели так, я на нее и взглянуть не посмею. Ей-же-ей! Я человек скромный.

— Ага. А она гордячка: спать не ляжет, чтобы в зеркало не посмотреться — хорошо ли чепец надела.

— И в девках!..

— На фортепьяне, говорят, играет. Да так славно, что любой псалом выходит не хуже, чем самая развеселая песня, — ну прямо заслушаешься.

— Неужто? Вот так счастье нам привалило! А хорошо ль она платит?

— Чего не знаю, мастер Пурграсс, того не знаю.

Эти и им подобные замечания внушили Оуку

волнующую мысль: что, если разговор шел о Батшебе? Однако догадка могла оказаться ошибочною: фургон двигался в сторону Уэзербери, но, вероятно, не именно туда, и женщина, о которой говорили, была, скорей всего, хозяйкой какого-то имения. До деревни, по видимости, оставалось совсем недалеко, и Габриэль, чтобы понапрасну не тревожить беседующих, незаметно спрыгнул с телеги.

Изгородь, подле которой он оказался, в одном месте расступалась. Подойдя ближе, Габриэль увидел ворота, привалившись к ним сел и стал размышлять, подыскать ли ему дешевый ночлег в деревне или воспользоваться ночлегом еще более дешевым — в стоге сена. Скрип повозки стих вдали. Оук уже хотел было двинуться дальше, как вдруг заметил по левую руку необычный свет, горевший примерно в миле от него. Габриэль пригляделся: то был пожар.

Оук взобрался на ворота и, спрыгнув на другую сторону (под ногами оказалась распаханная земля), поспешил через поле туда, где горел огонь. Пламя разрасталось — не только оттого, что Оук приближался, но и само по себе. Вскоре он увидел ярко озаренные стога. Горела рига. Усталое лицо Габриэля теперь было залито сочным оранжевым

светом, на пастушьем кафтане и гетрах плясали причудливые тени колючих ветвей, а крюк посоха распространял вокруг себя серебристые лучи. Приблизившись к ограде, Оук остановился перевести дух. Ни одной живой души на риге как будто не было. Огонь успел почти целиком поглотить длинную скирду, которую уж никто не смог бы спасти.

Рига горит не так, как дом. Если ветер раздувает пламя, бушующее внутри, то все, что охвачено пожаром, исчезает, словно тающий сахар. Даже очертаний не остается. Но если возгорание началось снаружи, плотно увязанные снопы сена или пшеницы могут некоторое время противостоять огню. Габриэль глядел на вязанки соломы, просто наваленные друг поверх друга. Пламя молниеносно стремилось в сердцевину этой горы. Наветренная сторона то тлела, то вспыхивала, как сигарный пепел. Когда наружная вязанка со свистом скатывалась, пламя прокладывало себе извилистый путь вглубь, издавая звук, скорее напоминающий рев, чем потрескивание. Дым стелился над землей подобно гряде облаков, и костры, окутанные им, окрашивали его полупрозрачную пелену ровным желтым светом. Маленькие пучки соломы, поглощаемые насту-

пающей волной жара, напоминали шевелящиеся клубки красных червей, а в самом пламени воображение угадывало оскаленные рты, высунутые языки, горящие глаза и иные зловещие формы, от которых, как птицы из гнезда, то и дело разлетались искры.

Созерцая такую картину, Оук понял, что дело серьезнее, нежели он предполагал. Сквозь дым виднелась еще одна гора снопов, до сего момента не тронутая огнем, а за ней ряд других. Совсем близко к горящему сену, а не отдельно от него, как показалось Габриэлю сперва, хранилась большая часть урожая, который дала ферма. Перемахнув через ограду, Оук увидел, что он не один. Первый встреченный им человек метался из стороны в сторону так суетливо, словно мысли на несколько ярдов опережали никак не поспевавшее за ними тело.

— Пожар! Пожар! Огонь — хороший хозяин, но плохой слуга, то бишь наоборот… Сюда, Марк Кларк! И ты сюда, Билли Смоллбери! Мэриэнн Мани, Джен Когген, Мэтью — все сюда!

Стало ясно, что Габриэль не только не был в одиночестве, но находился в многолюдной компании: среди клубов дыма замелькали фигуры, чьи тени подпрыгивали в джиге, вторя пляшуще-

му пламени, а отнюдь не собственным хозяевам. Собравшиеся (люди той части общества, где мысли принято выражать посредством чувств, а чувства — посредством движения) принялись за работу с примечательною беспорядочностью.

— Сделай так, чтоб под пшеницу не дуло! — крикнул Габриэль ближайшему из них. Хранилище зерна стояло на каменных сваях, и желтые блики уже лизали их, будто играя. Стоило этой риге загореться — все пропало. — Несите смоленую парусину! Скорей!

Пшеницу завесили полотнищем. Языки пламени тотчас устремились ввысь, перестав продвигаться под сваи. Габриэль продолжал отдавать указания:

— Пусть кто-нибудь возьмет ведро воды и поливает занавесь! — Теперь огонь, разрастаясь, угрожал углам огромной крыши. — Лестницу!

— Она была прислонена к навесу соломенной риги и уже сгорела дотла, — отозвался из облака дыма некто, похожий на привидение.

Оук ухватил подрезанные края снопов, будто собирался дергать из них солому для кровли, и, помогая себе посохом, взобрался по скирде на конек навеса. Усевшись верхом, он стал при помощи своего крюка сбивать загоревшиеся клочья.

— Принесите мне палку, лестницу и ведерко воды!

Билли Смоллбери, один из тех, в чьей повозке Габриэль спал, нашел запасную лестницу. Марк Кларк проворно взобрался по ней на крышу. Ему передали воду, и он стал плескать Оуку в лицо, чтобы тот не задохнулся от дыма. Сам Оук теперь сбивал со скирды частицы огня, держа в одной руке посох, а в другой — буковую ветвь.

Крестьяне, суетившиеся внизу, по-прежнему старались погасить огонь, однако толку было мало. Залитые оранжевым светом, людские фигурки мелькали среди причудливых теней. За углом самой большой скирды, еще не озаренной ярким светом близкого пламени, стоял пони со своею наездницей — молодой женщиной. Рядом была другая особа женского пола, пешая. По всей вероятности, они держались от огня в стороне, чтобы животное не пугалось.

— Пастух, — сказала вторая из женщин. — Оно сразу видно, что пастух — кто ж еще? Глядите, как сверкает крюк его посоха, когда он колотит им по скирде! А кафтан-то, бьюсь об заклад, прожжен до дыр! Сдается мне, мэм, этот парень славный работник!

— У кого же он служит пастухом? — ясным

голосом промолвила всадница.

— Не знаю, мэм.

— Может, другие знают?

— Никто не знает, я всех расспросила. Нездешний, говорят.

Женщина на пони выехала из тени и с тревогою огляделась.

— Не загорелся бы амбар!

— Как по-твоему, Джен Когген, амбар не загорится? — спросила ее служанка первого, кто оказался рядом.

— Теперь-то уж нет — я, по крайности, так думаю. Ежели бы пшеничная рига сгорела, от нее полыхнул бы и амбар. Но тот храбрый малый, пастух, здорово нам подсобил: влез наверх и обмахивает скирду. Вертит ручищами, ровно мельница.

— Да, он усерден, — сказала наездница, глядя на Габриэля сквозь шерстяную шаль, прикрывавшую лицо. — Хотела бы я, чтобы он работал у меня. Знает ли кто-нибудь его имя?

— Здесь о нем и слыхом не слыхивали.

Огонь меж тем пошел на убыль. Габриэлю больше не нужно было сидеть на крыше, и он стал спускаться.

— Мэриэнн, — сказала всадница, — ступай к то-

му человеку и, когда он сойдет на землю, скажи, что я хочу поблагодарить его за службу.

Мэриэнн подошла к пшеничной риге и передала Оуку слова хозяйки.

— А где он, ваш фермер? — спросил Габриэль, сходя с лестницы.

Мысль о том, что сейчас он наконец получит место, воодушевила его.

— Не фермер, а фермерша.

— Фермой управляет женщина?

— Так и есть, пастух. Женщина, да какая богатая! — сказал крестьянин, проходивший мимо. — Приехала сюда недавно, издалека. Ферма ей в наследство от дяди досталась, который внезапно помер. Прежний-то хозяин греб деньжата полупинтовыми кружками, и племянница теперь, поговаривают, со всеми кестербриджскими банками дела ведет. Может играть в «кинь и подбрось» соверенами, как мы с тобою полпенсовиками. Ей-богу, пастух!

— Да вон она, на пони сидит, — произнесла Мэриэнн, указывая на хозяйку. — Голова закутана в черную шаль с прорезями.

Черты лица Габриэля Оука сделались неразличимы под слоем грязи и копоти, с прожженного кафтана стекала вода, а посох обгорел, став

шестью дюймами короче. Со смирением — добродетелью, преумноженной пережитыми невзгодами, — неудачливый фермер приблизился к стройной деве, сидевшей на пони. Остановившись у самых ее ног, свисающих из седла, Габриэль почтительно и не без галантности снял шляпу.

— Не требуется ли вам пастух, мэм? — произнес он, поколебавшись.

Размотав шаль, хозяйка фермы открыла лицо, выражавшее крайнее удивление. Габриэль Оук и его жестокосердная возлюбленная Батшеба Эвердин стояли друг против друга. Она промолчала. Тогда он повторил печальным и сконфуженным голосом:

— Не нужен ли вам пастух, мэм?

Глава VII
Возобновлённое знакомство. Боязливая девушка

Батшеба отступила в тень, не зная, счесть ли столь удивительную встречу забавной или же неловкой. В том, что она теперь испытывала, была небольшая доля жалости и крошечная доля ликования. Первое чувство относилось к положению Оука, второе — к ее собственному. Нет, хозяйка фермы вовсе не смутилась, а о признании в любви на Норкомбском холме она вспомнила лишь затем, чтобы отметить про себя, что почти о нем позабыла.

— Да, — ответила Батшеба, приняв горделивый вид. Впрочем, когда она вновь поглядела на Габриэля, цвет ее щек сделался чуть теплее. — Пастух мне нужен, но…

— Работник он что надо, мэм, — тихо сказал житель деревни, стоявший рядом.

Убежденность одного укрепляет убежденность другого.

— Вот уж верно! — подтвердил второй крестьянин.

— Дельный парень! — от сердца прибавил третий.

— Толковый! — с горячностью воскликнул четвертый.

— Раз так, пускай поговорит с управляющим, — решила Батшеба.

Как прозаически сложились обстоятельства этой встречи, которая могла бы быть исполнена поэзии, если бы двое свиделись летним вечером вдали от посторонних глаз!

Габриэлю указали управляющего, и он отправился обсудить с ним условия найма. Поднеся руку к груди, Оук ощутил, как забилось сердце, оттого что Астарта[11], явившаяся ему в столь своеобразном обличии, есть та самая Венера, которую он знал и которой восхищался.

Тем временем огонь угас.

— Люди! — обратилась Батшеба к своим работникам. — Вы трудились в неурочный час и теперь должны подкрепить силы. Прошу всех в дом.

— Нам было б куда привольней, мисс, если б вы послали угощенье в солодовню Уоррена, — ответил один из крестьян — выразитель общего мнения.

---

[11] Примечания: 11

Астарта (Иштар) — ближневосточная богиня любви.

Батшеба на пони скрылась в темноте, а ее работники, разбившись по парам и тройкам, побрели к деревне. Оук и управляющий остались возле риги вдвоем.

— Пожалуй, мы все с тобою уладили, — сказал последний. — Пойду-ка я к себе. Доброй ночи, пастух.

— Не поможете ли мне с жильем? — спросил Габриэль.

— Чего не могу, того не могу, — ответил управляющий, проходя мимо Оука, как христианин проходит мимо тарелки с пожертвованиями, когда не желает расставаться с монетой. — Ступай по той дороге в солодовню Уоррена, куда все пошли подкрепиться. Там тебе подскажут, где заночевать. А пока прощай, пастух.

Показав, до чего он чтит заповедь: «Возлюби ближнего своего, как самого себя», управляющий зашагал вверх по склону холма, а Оук направился в деревню, все еще потрясенный недавнею встречей. Он рад был тому, что оказался подле Батшебы, и поражен тем, с какою быстротою простая девушка из Норкомба преобразилась в степенную владелицу фермы. Порой женщины очень скоро приспосабливаются к переменам в жизни.

Размышлять, однако, было не время. Сперва Габриэлю следовало подыскать себе ночлег. Обходя церковный двор вдоль ограды, он очутился под сенью вековых деревьев. Шум его шагов поглотила трава, не утратившая мягкости даже в зимнюю пору, когда все вокруг сковывал холод. Приблизясь к стволу, казавшемуся еще старее других, Оук увидел, что за деревом кто-то стоит. Не замедлив шага, Габриэль случайно задел ногою камень, и тот покатился, издав звук, заставивший неподвижную фигуру вздрогнуть. За деревом стояла худенькая девушка, слишком легко одетая.

— Доброй ночи, — сердечно приветствовал ее Габриэль.

— Доброй ночи, — отозвалась она, приняв непринужденную позу.

Голос девушки оказался на удивление приятен: низкий и нежный, он сулил отраду любви — такие голоса нередки в романах, однако редки в жизни.

— Скажи, верно ли я иду к солодовне Уоррена? — спросил Габриэль, словно лишь для того, чтобы не сбиться с дороги, но в глубине души желая опять услышать мелодичные звуки.

— Верно. Солодовня будет, как спуститесь с

холма. А знаете ли вы… — Девушка помолчала. — Знаете ли вы, до которого часа открыт постоялый двор «Голова оленя»?

По всей видимости, ее очаровала приветливость Габриэля, а Габриэля заворожил ее голос.

— Об этом постоялом дворе мне ничего не известно. А ты направляешься туда?

— Туда… — Незнакомка вновь замолчала. Более сказать было нечего, и то, что она все же нашлась, как продолжить разговор, свидетельствовало о несознаваемом желании изобразить непринужденность — у людей, не привыкших кривить душою, такие намерения обыкновенно заметны. — Вы не из Уэзербери будете? — робко осведомилась девушка.

— Нет, я новый пастух. Только что прибыл.

— Всего лишь пастух? А держитесь почти как фермер…

— Всего лишь пастух, — повторил Оук, понизив голос, и в его словах прозвучала печаль безысходности.

Мысли Габриэля обратились в прошлое, а взгляд — под ноги молодой особы, и тут только он заметил лежавший на земле узелок. Девушка, по-видимому, проследила за переменою в его лице и потому вкрадчиво произнесла:

— Вы ведь никому в приходе не скажете, что встретили меня здесь? Хотя бы день или два?

— Я буду молчать, раз ты об этом просишь.

— Вот спасибо! Я бедна и хочу, чтобы обо мне никто ничего не знал.

Девушка, умолкнув, поежилась.

— В такую ночь не помешало бы пальтишко, — заметил Габриэль. — Не лучше ли тебе укрыться в каком-нибудь доме?

— Ах, нет. Прошу вас, идите своею дорогой, а меня оставьте. Спасибо за добрые слова.

— Я пойду, — сказал Оук и, подумав, прибавил: — Если ты в затруднении, то, может, согласишься принять от меня этот пустяк? Всего только шиллинг, большим я помочь не могу.

— Да, приму, — благодарно проговорила девушка и протянула руку, а Габриэль протянул свою.

Несколько мгновений они искали в темноте ладони друг друга, чтобы передать монету, и за столь малое время произошло нечто, говорившее о многом. Пальцы Оука тронули запястье девушки, и он почувствовал, с какою трагической быстротою и силою бьется под кожей жилка. Точно так стучала кровь в жилах его ягнят, когда их гнали слишком быстро. Видно, незнакомка, как и они, принуждена была с чрезмерной рас-

точительностью расходовать жизненные соки, которые у нее теперь почти иссякли, ежели судить по очертаниям субтильного тела.

— Что с тобою?

— Ничего.

— Но я вижу!

— Нет, нет, нет! Никому не говорите, что меня повстречали.

— Хорошо. Не скажу. Доброй ночи.

— Доброй ночи.

Девушка так и осталась неподвижно стоять у дерева, а Габриэль пошел в деревню Уэзербери, именуемую также Нижним Прудом. Ему казалось, будто, соприкоснувшись с незнакомым хрупким созданием, он погрузился во тьму глубочайшей скорби. Однако мудрость велит нам не слишком доверять впечатлениям, и Габриэль старался не думать более о той встрече.

Глава VIII
Солодовня. Беседа за кружкою. Известия

Солодовня Уоррена обнесена была старою стеной, увитой плющом. В столь поздний час Габриэль уже не мог разглядеть как следует самого строения, однако назначение последнего вполне угадывалось по контурам, темневшим на фоне неба. На коньке тростниковой крыши, нависавшей над стенами, высилось маленькое подобие башни из поперечных дощечек, сквозь которые струился пар, едва видимый в ночном воздухе. Окна в передней стене не было, зато дверь имела застекленное отверстие, и из него на поросшую плющом ограду лился уютный теплый свет. Изнутри доносились голоса. Подобно слепому Елиме-волхву[12], Оук вытянул руку и нащупал кожаный ремень, дернув за который поднял деревянную щеколду. Дверь распахнулась.

Помещение освещалось одной лишь печью,

[12] Примечания: 12

Ослепление иудейского лжепророка Елимы, пытавшегося отвратить проконсула Сергия Павла от веры, описано в книге Деяний апостолов (13:6–12).

распространявшей над полом струи красноватого света, похожего на лучи заходящего солнца. На стенах вырисовывались тени, преувеличенно повторяющие каждую выпуклость и впадину на лицах собравшихся. На щербатых каменных плитах была протоптана дорожка, ведущая от двери к печке. С одной стороны располагалась длинная изогнутая скамья с высокою спинкой из неструганого дуба, а в дальнем углу стояла небольшая кровать, на которой часто леживал хозяин — солодовник.

Сейчас этот старец сидел у печи. Шапка снежно-белых волос и длинная борода венчали согбенную фигуру, подобно мху или лишайнику, разросшемуся на безлиственной яблоне. На солодовнике были штаны до колен и высокие шнурованные ботинки. Глаза его неотрывно глядели на огонь.

Нос Габриэля тотчас ощутил приятный сладковатый дух свежего солода. Разговор (шедший, по-видимому, о причине пожара) немедленно прекратился, и все присутствовавшие смерили вошедшего оценивающими взорами, что выразилось в наморщивании лбов и сужении глаз, словно бы от слишком яркого света. По завершении сей зрительной операции некоторые из крестьян раздумчиво протянули:

— А, так это, должно быть, новый пастух!

— Мы слыхали, как кто-то снаружи шарил по двери, да подумали, что это ветер гоняет листья. Входи, пастух. Милости просим, хотя и не знаем, как тебя звать.

— Я зовусь Габриэлем Оуком.

Заслышав это имя, седовласый солодовник, сидевший посередине, повернулся, как поворачивается проржавелый кран.

— Не может быть, чтобы ты был внук Гейбла Оука из Норкомба!

Сие восклицание выражало удивление, и всем присутствовавшим надлежало понимать его именно так, а отнюдь не в буквальном смысле.

— Моего отца, как и моего деда, тоже звали Габриэлем, — спокойно ответствовал Оук.

— То-то я подумал, что лицо твое мне знакомо, когда увидал тебя на риге! Ей-богу, подумал! Куда путь держишь, пастух?

— Подумываю обосноваться здесь, — сказал мистер Оук.

— Много лет я знал твоего деда! — продолжал солодовник, причем слова сыпались из него сами собою, будто под действием инерции.

— В самом деле?

— И бабушку!

— И ее?

— И отца твоего знал мальчишкой. Они с моим Джейкобом были названые братья. Правду я говорю, Джейкоб?

— А то! — откликнулся сын солодовника — молодой человек лет шестидесяти пяти, чья голова наполовину полысела, а рот лишился едва ли не всех зубов, кроме верхнего левого резца, торчавшего горделиво, как маяк на пустынном берегу. — Только Джо водился с ним больше моего. Зато Уильям, мой сын, покуда не уехал из Норкомба, должно быть, знал вот этого самого парня. Верно, Билли?

— Нет, его знал Эндрю, — отозвался Билли — дитя лет сорока, в чьем угрюмом теле помещалась, очевидно, веселая душа.

Усы его кое-где приобрели уже голубовато-серый оттенок, сделавшись похожими на мех шиншиллы.

— Я помню Эндрю, — сказал Оук. — Он жил у нас в деревне, когда я был совсем еще ребенком.

— Мы с младшей дочкой Лидди ездили давеча моего внука крестить, — продолжил Билли. — Как раз об их семье разговор зашел. То было Сретение, и беднякам раздавали гроши из церковных сборов. Все они в ризницу поплелись. Так

мы потому и вспомнили ихнее семейство, что они тоже бедные были.

— Давай-ка, пастух, пропустим с тобою по хорошему глотку! Всего по глоточку — о чем и говорить? — произнес солодовник, отводя от печи глаза (от многолетнего глядения на огонь они помутнели и сделались красными, как киноварь). — Джейкоб, давай сюда господипомилуй! Да погляди, не простыла ли!

Джейкоб склонился над большой двуручной кружкой, именуемой господипомилуй. Она стояла на углях, закоптелая, потрескавшаяся от жара и покрытая накипью — особенно в углах над ручками, откуда, по всей вероятности, годами не счищали хмельную пену, запекшуюся вместе с золой. Однако для завсегдатаев солодовни это, как видно, не являлось недостатком: кромка кружки была отполирована ими до блеска. Отчего в деревне Уэзербери и ее окрестностях сей сосуд получил название «господипомилуй», доподлинно неизвестно. Возможно, из-за внушительных размеров: выпивохе, видевшему его дно, впоследствии надлежало каяться.

Джейкоб, которому велено было проверить, горяча ли брага, деловито погрузил в нее указательный палец на манер термометра. Провоз-

гласив, что питье разогрето в самый раз, он снял «господипомилуй» с углей и учтиво обмахнул донце полою своего кафтана, ибо Оук был гостем, пришедшим издалека.

— Чистую кружку для пастуха! — распорядился хозяин.

— Что вы, какая в том нужда?! — возразил Габриэль тоном деликатной укоризны. — Я грязи не гнушаюсь, ежели она чистая и я знаю, откуда она взялась. — Приняв «господипомилуй», он отпил столько, что содержимое убыло на дюйм или поболе, а затем, как полагалось, передал кружку сидевшему рядом. — К чему утруждать соседей мытьем посуды, когда у них и без того работы по горло! — заключил Габриэль, переведя дух, что обыкновенно бывает необходимо после хорошего глотка.

— Вижу, малый ты разумный и учтивый, — сказал Джейкоб.

— Спору нет! — подтвердил проворный Марк Кларк — приятнейший молодой человек из числа тех, кто всякому попутчику становится приятелем, со всяким приятелем пьет, а всякому, с кем пьет, предоставляет платить за двоих.

— Остался хлеб с беконом, что прислала фермерша. С закуской-то хмельное лучше пойдет.

Только покуда я нес окорок, он у меня на дорогу выпал и малость перепачкался. Но это, как ты, пастух, сказал, чистая грязь, а сам ты вроде не брезглив.

— Нисколько! — дружелюбно откликнулся Оук.

— Ты жуй поменьше — и не заметишь, что на зубах скрипит! Мы грязи не боимся — была бы смекалка!

— Вот и я так думаю.

— Весь в деда! Тот славный был человек, не задавака какой! — промолвил солодовник.

— Пей, Генри Фрэй, пей! — великодушно возгласил Джен Когген, становившийся сущим сен-симонистом[13] в вопросе равного дележа, когда сосуд, передаваемый по кругу, приближался к нему.

Генри, до сих пор печально глядевший в пространство перед собою, не отказался выпить. Это был человек, давно достигший средних лет. Высоко подняв брови, он частенько сетовал на то, сколь дурно устроен мир. Причем взгляд Генри, долгий и страдальческий, устремлялся, минуя слушателей, в глубь этого самого мира,

---

[13] Примечания: 13

Анри де Сен-Симон (1760–1825) — французский философ, один из «отцов» утопического социализма.

им критикуемого и преломляемого призмою его воображения. Свое имя Генри писал и всех принуждал писать «Генери». Если же от какого-нибудь школьного учителя ему доводилось слышать, что это старо и неверно, он неизменно ответствовал, гордо чеканя по слогам: Ге-не-ри — именно так его нарекли при крещении и именно так он намерен называться до конца своих дней. Очевидно, Фрэй принадлежал к тем, кто убежден, будто вопросы орфографии всяк волен решать по своему усмотрению.

Мистер Джен Когген, передавший Фрэю кружку, был багроволицым толстяком с лукавым блеском в глазах. В последние два десятка лет приходские книги Уэзербери и соседних деревень множество раз упоминали его как дружку или главного шафера на свадьбах, ему же нередко отводилась роль восприемника на крестинах, обещавших быть веселыми.

— Давай, Марк Кларк, давай! В бочонке еще полно! — произнес Джен ободряюще.

— Меня уговаривать не надо. Я только выпивкой и лечусь, — ответил Марк Кларк.

Бывший двадцатью годами моложе Коггена, он вращался на той же орбите, радуясь всякой возможности блеснуть остроумием на многолюд-

ном празднике.

— А ты, Джозеф Пурграсс, чего не промочишь горло? — спросил мистер Когген, передавая кружку застенчивому человеку, сидевшему сзади.

— Он у нас скромняга, — пояснил Джейкоб Смоллбери. — Верно я говорю, Джозеф? У тебя ведь так и недостало духу поглядеть в лицо нашей молодой госпоже?

Все посмотрели на Пурграсса с укоризненным сожалением. Тот словно бы уменьшился: подобно другим кротким людям, он тяготился излишним вниманием к своей персоне.

— Я на нее почти совсем не глядел, — пробормотал Джозеф. — А когда все же взглянул потихоньку, щеки у меня так и вспыхнули.

— Бедняга! — протянул Марк Кларк.

— Это довольно-таки странно для мужчины, — заметил Джен Когген.

— Да, — продолжал Пурграсс. Собственная стеснительность, обыкновенно воспринимаемая им болезненно, сейчас явила ему повод для своеобразной гордости, позволив ощутить себя исключительным феноменом. — Все время, пока она со мной говорила, я только и делал, что краской заливался.

— Верю, Джозеф. Нам известно, какой ты за-

стенчивый.

— Должно быть, нелегко бедному парню приходится с таким даром, — молвил солодовник. — И давно это у тебя?

— Ага. Еще с мальчишества. Мать моя очень уж тревожилась. Но что ни делала, все без толку. Так-то.

— А пробовал ли ты выйти на люди, Джозеф Пурграсс? Глядишь, помогло бы.

— Как не пробовать! С кем только я не знался! Меня даже на Гринхиллскую ярмарку возили, а там такое творилось! Женщины на лошадях скакали стоя, да еще почти что голые — в одних сорочках!.. Мне это ни капельки не помогло. А потом я посыльным служил в «Дамском кегельбане» в Кестербридже на задворках постоялого двора. Грешное место! Не работа была, а сплошной стыд для порядочного человека — с утра до ночи глядеть распутным людям в лицо. Но и после такого я не излечился. Краснеть — это у нас родовое. Давно в семье так повелось. Хорошо еще, что я не хуже отца и деда вышел.

— Оно конечно, — согласился Джейкоб Смоллбери, мысленно углубляясь в изучение обсуждаемого предмета. — Ежели с этой стороны взглянуть, то могло быть и хуже. Однако тебе и

так несладко, какой ты есть. Видишь, пастух? Что для девицы хорошо, то для парня, черт побери, сущее наказание.

— Верно, — отозвался Габриэль, выходя из задумчивости. — Досадное свойство для мужчины.

— А еще он до крайности боязлив, — заметил Джен Когген. — Работал как-то раз поздно вечером в Йелберийской лощине и капельку выпил, а на обратном пути заплутал в лесу. Ведь так дело было, мастер Пурграсс?

— Ой, не надо! — взмолился Джозеф, заставив себя усмехнуться, чтобы скрыть беспокойство.

— Итак, он совсем сбился с дороги, — продолжал мистер Когген, бесстрастностью своего лица показывая, что правдивый рассказ, подобно времени и воде, должен течь своим чередом, никого не щадя. — Бредет парень один среди ночи, еле живой со страху, никак из чащи не выберется. «Эй! Кто-нибудь! Ау!» — вопит. А в ответ ему филин из дупла: «Хо-о-о! Хо-о-о! Хо-о-о!» Слыхал, пастух, как филины ухают? — Габриэль кивнул. — Так нашему бедолаге примерещилось, будто ему говорят: «Кто-о-о? Кто-о-о-? Кто-о-о?» Он весь задрожал и рапортует: «Джозеф Пурграсс из Уэзербери, сэр!»

— Ну уж нет! Это слишком! — воскликнул бо-

язливый малый, в котором вдруг проснулась отвага. — «Сэр» я не говорил! Поклясться готов, что не сказал: «Джозеф Пурграсс из Уэзербери, сэр!» Что правда, то правда: никогда я не величал птицу сэром! Или я, по-твоему, не знаю, что ни один человек благородного звания не станет ночью ухать на дереве?! «Джозеф Пурграсс из Уэзербери» — вот как я сказал, да и того не сказал бы, если б не проклятая медовуха! Благодарение Богу, на этом вся история и кончилась.

О том, называл ли Джозеф сову сэром или же не называл, компания спорить не стала, и Джен глубокомысленно заключил:

— Трусливей парня не сыскать. Был с ним и другой случай. Потерялся он как-то на Ягнячьем холме. Верно говорю, Джозеф?

— Верно, — подтвердил Пурграсс, показывая своим теперешним видом, что при иных обстоятельствах его природная застенчивость все же отступает.

— Так вот. Дело тоже было ночью. Добрался Джозеф до заставы и хочет ворота отворить. И так пыжится, и сяк, а они ни в какую. Понял Джозеф, что тут без лукавого не обошлось, и плюх на колени.

— Ага, — расхрабрился Пурграсс. От тепла

печи, от выпитого сидра и от сознания того, что его история всем интересна, робкий малый преисполнился несвойственной ему уверенности. — Душа во мне так и замерла. Тогда я стал на коленки и прочел «Отче наш» и «Верую», а потом десять заповедей повторил — все с усердием. Ворота не открываются. Стал я читать «Возлюбленные братья мои…»[14], а ведь больше я ничего не знаю. Если б и это не помогло, пиши пропало. Дошел до «…повторяя за мною» и поднялся с колен. Гляжу — ворота открылись. Так-то соседи!

Погрузившись в размышления, навеянные этим рассказом, все устремили взгляды на угли, раскалившиеся, точно пустыня под полуденным солнцем. Вокруг суженных глаз залегли морщины — частью от яркого свечения, частью от серьезности затронутого предмета. Оук первым нарушил тишину:

— Каково у вас здесь живется и хорошо ли работается под началом вашей хозяйки?

В груди Габриэля что-то тихо встрепенулось, когда он прилюдно помянул ту, любовь к которой таил в своем сердце.

— Так мы о ней, почитай, ничего и не знаем.

---

[14] Примечания: 14

Текст, произносимый священником в начале англиканского вечернего богослужения.

Всего лишь несколько дней будет, как она сюда приехала. Дядя ее слег, послали за доктором, да только не помогла лекарская премудрость. Племянница, сдается мне, не думает ферму продавать.

— Верно говорит, — подтвердил Джен Когген. — А семейство почтенное. Служить у них куда лучше, чем туда-сюда мыкаться. Покойный хозяин достойный был человек. Сам-то ты, пастух, знал его? Старого холостяка?

— Нет, не знал вовсе.

— Я бывал у него в доме, когда ухаживал за первою женою. Она, Шарлотта моя, ходила там за коровами. Добрейшей души человек был фермер Эвердин. А я был парень приличный, и мне дозволялось приходить, видаться с невестою и пить столько эля, сколько пожелаю. Только с собой не уносить. Кроме как в пузе.

— Оно понятно!

— А эль был отменный, ну и хотелось мне показать, что я малый благовоспитанный и ценю хозяйскую доброту. Ежели б я выпил с наперсток, фермеру бы обида вышла…

— Твоя правда, мастер Когген, — согласился Марк Кларк.

— Так я стал, прежде чем идти в гости, съедать

побольше соленой рыбы. В горле делалось сухо, ровно в корзине из-под извести, и эль славно лился внутрь! Эх! Золотое было время! До чего хорошо меня в том доме угощали!.. И ты, Джейкоб, бывало, со мной ходил — помнишь?

— Помню, как не помнить, — отозвался Джейкоб.

— А в «Голове оленя» в Духов день тоже подавали выпивку что надо.

— Так-то оно так, да только высшего сорта напиток, такой, от которого рогатый не мерещится, можно было только на кухне у фермера Эвердина отведать. Сквернословие там вовсе не дозволялось. Даже когда все уже порядком развеселятся, никто чертыхнуться не смел. А ведь для разгулявшейся души крепкое словцо — такое облегченье!

— Верно говоришь, — заметил солодовник.

— Всякий хотя бы изредка непременно выругаться должен. Не то сам не свой будет. Такова уж наша природа. Грешному человеку без грешного слова не прожить!

— А Шарлотта, — продолжал Когген, — никакого сквернословия себе не дозволяла. Ни словечка всуе не скажет… Ах, бедная моя Шарлотта. Попала ли она на небеса, после того как померла? В жизни-то ей не больно везло. Могла и по смерти

в преисподнюю угодить, горемычная.

— А знал ли кто из вас отца и мать мисс Эвердин? — осведомился Оук, не без труда направляя беседу в нужное русло.

— Я знал их немного, — откликнулся Джейкоб Смоллбери. — Они в городе жили, а не тут. Давно уж померли. Отец, что за люди были родители нашей мисс?

— Ну, — начал солодовник, — он был такой, что и поглядеть особо не на что. А она была красавица. Он, пока в женихах ходил, нарадоваться на нее не мог.

— Целовал ее, говорят, по дюжине, а то и по сотне раз кряду, — прибавил Джен.

— А как поженились они, гордился ею очень.

— Да, и я слыхал об этом, — продолжил Когген. — Он до того любовался женою, что трижды за ночь свечку зажигал, чтоб на нее поглядеть.

— Безмерная любовь! Не думал я, что она взаправду есть во вселенной… — тихо проговорил Джозеф Пурграсс, склонный к философическим размышлениям немалого масштаба.

— Выходит, есть, — кивнул Габриэль.

— Все сущая правда. Я обоих знал. Левай Эвердин — так звали парня… Хотя «парень» я неверно

сказал: на самом-то деле он был не из простых. Портной был, шил для господ, они ему в фунтах платили. А удержать деньги он не умел: раза два или три банкротом его объявляли.

— А я думал, он был человек обыкновенный, — сказал Джозеф.

— Какой там! Огромное богатство спустил! Гору золота и серебра!

Солодовник, мучимый одышкой, умолк, и мистер Когген, рассеянно поглядев на уголек, упавший в золу, снова взял нить повествования в свои руки.

— Хотите верьте, хотите нет, — произнес он с таинственною миной, — но папаша мисс Эвердин был прелюбодей, каких поискать. Не хотел изменничать, а ничего с собою поделать не мог. Желал быть верным мужем, но душа его так и рвалась куда не надобно. Он мне говорит однажды так горестно: «Когген, — говорит, — женщины красивее моей не сыскать, однако раз она мне теперь законная супруга, подлое сердце на грех меня толкает». А потом, помнится, излечился он: вечерами, как закроет лавку, заставлял жену снимать кольцо и девичьим именем ее звал. Сидели они вдвоем, и мнилось ему, будто он не с женою вовсе, а с полюбовницей, седьмую заповедь на-

рушает. Так прежняя страсть к нему и вернулась. Снова зажили они душа в душу.

— Не по-божески это — так излечиваться, — пробормотал Джозеф Пурграсс. — И все-таки нужно небо возблагодарить, что не вышло чего похуже. Он ведь мог совсем с пути сбиться и погрязнуть во грехе — в страшном грехе.

— Так дело-то вот в чем, — вмешался Билли Смоллбери, — человек хотел поступать как полагается, да сердце его не слушалось.

— А потом он выправился и зажил благочестиво, верно, Джен? — осведомился Пурграсс.

— Он причастился, стал «аминь» кричать чуть не громче священника, а еще завел привычку утешительные вирши с надгробий переписывать. Денежную тарелку носил, когда читали «Так да светит свет ваш…»[15], крестил бедных незаконнорожденных ребятишек, а ящик для пожертвований держал прямо у себя на столе, чтобы заказчик, когда к нему приходит, не мог отвертеться. Приютским мальчишкам, которые в церкви хихикали, оплеухи давал, да так, что они чуть с ног не валились. Словом, жил в зрелые годы, как подобает доброму христианину.

---

[15] Примечания: 15
Евангелие от Матфея (5:16).

— Только о высоком и помышлял, — прибавил Билли Смоллбери. — Однажды Тердли, священник наш, встретил его и говорит: «Здравствуйте, мистер Эвердин! Славная сегодня погодка!» А Эвердин ему в ответ: «Аминь…». О вере, стало быть, думал, когда пастора повстречал.

— Дочка ихняя тогда дурнушка была, — заметил Генери Фрэй. — Никто и не чаял, что она, как вырастет, такая видная станет.

— Вот бы и нрав у ней оказался под стать лицу!

— Оно да, только фермой и нашим братом все равно управляющий распоряжаться будет. Эх!

Сказав это, Генери поглядел на огонь, и на его лицо легла многозначительная ироническая улыбка.

— А управляющий тот еще христианин! Ровно дьявол в клобуке, как говорится, — произнес Марк Кларк.

— Так и есть, — ответил Генери уже без улыбки. — Скажу тебе по секрету: сдается мне, что этот малый ни в будний, ни в воскресный день солгать не постыдится. Такое мое мнение.

— Ну и ну! Какие, однако, речи вы здесь ведете! — подивился Габриэль.

— Речи наши правдивы, — отозвался Генери,

склонный все видеть в черном свете, и, оглядев компанию, горестно усмехнулся, как усмехается мудрец, яснее других понимающий, сколь несовершенен этот мир. — Люди бывают такие и сякие, но этот — избави Боже!

Габриэль подумал, что настала пора переменить предмет разговора.

— Ты, солодовник, должно быть, очень старый человек, раз у тебя сыновья уж поседели?

— Он своим годам давно счет потерял, верно, отец? — сказал Джейкоб. И, оглядев фигуру родителя, сгорбленную еще сильнее, нежели его собственная, прибавил: — Совсем согнулся. Прям в три погибели.

— Согнулся, да покамест не сломался, — откликнулся старик скорее мрачно, нежели шутливо.

— Пастуху охота послушать про твое житье, так ведь, пастух?

— Еще как охота! — подтвердил Габриэль, будто в самом деле не один месяц мечтал услышать этот рассказ. — Сколько же тебе лет, солодовник?

Откашлявшись преувеличенно громко, старик устремил взгляд в самую глубь печи и заговорил так медлительно, как говорят лишь о предметах, несомненная важность которых заставляет любого слушателя терпеть сколь угодно торже-

ственную речь.

— Года, в который я родился, мне не припомнить. Зато я помню, где жил и по скольку. Может, так я свой возраст и сочту. До одиннадцати лет я, значит, рос на Верхнем Пруду. — Солодовник кивком указал на север. — Потом семь годов в Кингсбире прожил, — он кивнул на юг, — там и ремеслу выучился. Оттуда уехал в Норкомб: двадцать два года варил брагу, двадцать два года репу растил и хлеб жал. Да, знавал я то место, когда тебя, мастер Оук, еще и в помине не было. — Габриэль искренно улыбнулся. — Затем поехал я в Дарновер: там тоже репу мотыжил и брагу варил. Прибавляй еще четыре и четыре года. Потом четырнадцать раз по одиннадцати месяцев нанимался к старому Твиллсу в Миллпонд-Сент-Джудс. — Солодовник кивнул на северо-северо-запад. — На дольше Твиллс меня не брал, чтоб меня к ихнему приходу не приписали, ежели бы я вдруг калекой сделался. Потом перебрался я на три года в Меллсток, а уж из Меллстока сюда. На Сретенье минул тридцать один год, как я здесь живу. Ну, сколько вышло?

— Сто семнадцать лет, — усмехнулся другой старец, по-видимому предпочитавший считать, нежели беседовать, ибо до сих пор он сидел в

своем углу, никем не замеченный.

— Это, стало быть, и есть мой возраст, — важно заключил солодовник.

— Да нет же, отец! — возразил Джейкоб. — Репу ты мотыжил летом, а брагу варил зимой тех же годов. Кто ж зимы и лета отдельно считает?

— Молчал бы лучше! По-твоему, летом я не жил? Или, может, скажешь еще, что я вовсе вчера народился?!

— Бог с тобою, никто так не скажет! — успокоительно произнес Габриэль.

— Ты человек очень старый, — подтвердил Джен Когген, — нам всем это ведомо. Должно быть, солодовник, ты на диво хорошо устроен, раз так долго живешь, верно я говорю, братцы?

— Верно, верно, устройство у тебя, солодовник, отменное! — единодушно подхватили собравшиеся.

Хозяин сделался так великодушен, что слегка приуменьшил свою заслугу (каковой было в его глазах его же собственное долгожительство), сказав, будто кружка, из которой все угощаются, тремя годами старше.

Все принялись изучать кружку, а тем временем из кармана пастушеского кафтана Габриэля показался конец флейты, и Генери Фрэй воскликнул:

— Пастух! Никак это ты играл сегодня на кестербриджской ярмарке!

— Я, — признался Оук, чуть покраснев. — Большая беда довела меня до этого. Прежде я был не так беден, как нынче.

— Не печалься, дружище! — подбодрил его Марк Кларк. — Живи себе, не горюй, придет твое время. А сейчас, пастух, ежели ты не очень из сил выбился, не сыграешь ли нам чего повеселее?

— С самого Рождества не слыхал я ни труб, ни барабанов, — сказал Джен Когген. — Сыграй, мастер Оук!

— Что ж, можно, — ответил Габриэль, доставая флейту и соединяя друг с другом ее части. — Инструмент мой плох, соседи. Не судите строго. Сыграю, как смогу.

И он дважды исполнил «Плута на ярмарке», а потом повторил задорный напев в третий раз, весьма артистически покачиваясь, подергиваясь и отбивая такт ногой.

— А славно он дует в свою дуду! — заметил молодой человек, именуемый просто «мужем Сьюзен Толл» за неимением других отличительных особенностей, достойных упоминания. — Вот бы и мне так научиться!

— Он человек умный, и для нас большая отрада

— иметь этакого пастуха, — пробормотал Джозеф Пурграсс, понизив голос. — Благодарение Богу, что он играет старые добрые песни, а не срамное что-нибудь. Господь ведь мог послать нам распутного пастуха — дурного, так сказать, человека. А послал вот его. Для наших жен и дочерей это очень хорошо.

— Правильно говоришь: хорошо! — решительно подтвердил Марк Кларк, хотя из всего произнесенного Джозефом слышал от силы слова два.

— Хорошо, — повторил Пурграсс, начиная ощущать себя библейским мужем. — Ведь нынче порок процветает: порой не знаешь, кто тебя скорей надует — нищий бродяга или господин в белоснежной рубашке, чисто бритый.

— Да, припоминаю твое лицо, пастух, — проговорил Генери Фрэй, сосредоточенно вперив затуманенный взор в Габриэля, который тем временем заиграл другую мелодию. — Теперь я вижу, что ты тот самый, кто играл в Кестербридже. Так же рот кривил и глаза таращил, точно удавленник.

— Ага. Человек, когда во флейту дует, очень уж на пугало делается похож. Незадача-то какая! — критически подметил Марк Кларк, наблюдая за

физиономией музыканта.

Черты Габриэля исказились в тот момент особенно уродливой гримасою, неизбежной при исполнении «Матушки Дурден»:

У матушки у Дурден пять служанок было.

Пять служанок было, чтоб коров доить...

— Ты, пастух, не сердишься, что этот малый так неучтиво про лицо твое говорил? — тихонько спросил Джозеф.

— Нисколько не сержусь, — ответил мистер Оук.

— А то ведь от природы ты собой хорош, — прибавил Пурграсс, любивший доставить собеседнику приятность.

— Ты, пастух, парень хоть куда, — подхватили все.

— Спасибо вам, соседи, — ответил Габриэль с подобающей скромностью, подумав про себя, что никогда не станет играть на флейте в присутствии Батшебы.

Мысль эта явилась плодом прозорливости, которую, быть может, даровала Габриэлю сама божественная изобретательница его инструмен-

та — мудрейшая Минерва.

— Когда я венчался с моею женою в норкомбской церкви, все говорили, будто более пригожей парочки в округе не сыскать, — произнес старый солодовник, раздосадованный, что внимание собравшихся перешло к другому предмету.

— Видать, с тех пор ты чуток переменился! — произнес кто-то с такой энергией, с какой провозглашаются лишь самые непререкаемые истины.

То был старик, сидевший в дальнем углу. Когда все кругом смеялись, он только изредка ухмылялся, дабы не показывать своего сварливого недоброжелательного нрава чересчур откровенно.

— Да нет же, зачем так?! — проговорил Габриэль.

— Ты, пастух, больше не играй, — сказал муж Сьюзен Толл, подав голос во второй раз за вечер. — Мне уж домой пора, а покуда музыка не кончится, я уйти не могу — будто привязали меня. А если все ж таки уйду, мне грустно будет, что тут на свирели играют, а я не слышу.

— К чему тебе спешить, Лейбен? — спросил Когген. — Прежде ты, бывало, допоздна засиживался.

— Вы ж знаете, соседи, женился я недавно. Теперь к жене прилеплен, ну и того… — парень сконфуженно замолчал.

— Стало быть, верно говорится: новая метла чисто метет, — заметил Когген.

— И впрямь верно, — рассмеялся молодой человек, не имевший обыкновения принимать шутки с обидою.

Простившись со всеми, он вышел из солодовни. За ним последовал Генери Фрэй. Вскоре поднялся Джен Когген, пригласивший Габриэля к себе на ночлег. Когда все были уже на ногах, Фрэй в спешке вернулся и, воздев перст, устремил зловещий взор на первый встреченный им предмет — физиономию Джозефа Пурграсса.

— Что такое, Генери? Что стряслось? — проговорил Джозеф, пятясь.

— В чем дело, Генери? — спросили Джейкоб и Марк Кларк.

— Управитель Пеннивейз! Управитель Пеннивейз! Так я и знал!

— Неужто он на воровстве попался?

— То-то и оно: на воровстве! Мисс Эвердин, когда с пожара домой вернулась, вышла снова на двор, чтоб поглядеть, все ли спокойно, — так уж заведено у нее. Так вот. Выходит хозяйка и видит:

из амбара крадется управляющий Пеннивейз и тащит полбушеля ячменя. Она прыг на него, как кошка, — ей ведь палец в рот не клади! Только вы об этом никому?

— Никому, Генери, будь покоен.

— Набросилась, значит, на вора, и он признался, что уж пять мешков таким манером вынес. Хозяйка обещала на него не заявлять, однако от ворот поворот он, ясное дело, получил. Кто ж теперь, братцы, спрашиваю я, управляющим будет?

Сложность вопроса принудила Генери залпом отпить из огромной кружки столько, что показалось дно. Не успел он поставить ее на стол, как вбежал муж Сьюзен Толл, совсем запыхавшийся:

— Слыхали, о чем по всему приходу говорят?

— Про управителя Пеннивейза?

— Нет, про другое!

— Про другое не слыхивали! — ответили все и воззрились на Лейбена Толла так, будто хотели поскорее вынуть из него слова, еще не произнесенные.

— Ну и жуткий выдался вечерок! — забормотал Джозеф Пурграсс, размахивая руками, точно в конвульсиях. — Недаром в левом ухе у меня будто колокол звонил, как если б убили кого, а еще я

одинокую сороку на дереве видел!

— Фэнни Робин, молоденькую служанку мисс Эвердин, нигде найти не могут! Собрались на ночь двери запирать, а ее нету. Спать не ложатся — вдруг она снаружи. Никто бы так не встревожился, только уж больно унылая она в последнее время ходила. Мэриэнн думает, не случилось ли с бедняжкой то, после чего курунер[16] приезжает.

— Сгорела! — пролепетал Джозеф Пурграсс пересохшими губами.

— Нет, утопла! — воскликнул Толл.

— Или отцовской бритвой себя полоснула! — предположил Билли Смоллбери, охотник до эффектных деталей.

— Покуда мы спать не отправились, мисс Эвердин хочет переговорить с одним или двумя из нас. Бедняжка чуть рассудка не лишилась: сперва управляющий, потом Фэнни!

По дороге, ведущей к фермерскому дому, поспешно двинулись все, кроме старого солодовника, которого ни дурные вести, ни пожар, ни дождь, ни гроза не могли вытащить из его норы. Когда звуки шагов стихли вдали, он, по обыкнове-

---

[16] Примечания: 16

Коронер — должностное лицо, в чьи обязанности входит изучение причин внезапных смертей с целью установления правомерности или неправомерности возбуждения дела об убийстве.

нию, уставился в печь красными помутневшими глазами.

Батшеба в таинственном белом облачении выглянула сверху, из окна своей спальни. Ее лицо и плечи были едва различимы во мгле.

— Есть ли среди вас мои люди? — взволнованным голосом обратилась она к пришедшим.

— Несколько человек будет, мэм, — ответил муж Сьюзен Толл.

— Я хочу, чтобы завтра двое или трое из вас порасспросили жителей окрестных деревень, не видал ли кто девушку по имени Фэнни Робин. Только осторожно: шум поднимать еще не время. Верно, она ушла, пока мы пожар тушили.

— Прошу прощения, мэм, но не было ли у ней в приходе какого ухажера?

— Не знаю.

— Никогда мы о таком не слыхали, — послышалось с разных сторон.

— Если б был у девушки жених, — сказала Батшеба, — не пьяница и не разбойник, он посещал бы ее в этом доме. Я бы вовсе не встревожилась из-за отсутствия Фэнни, да только Мэриэнн видела, как она выходила в одном только рабочем платье, даже чепца не надела.

— То бишь вы, мэм, хотите сказать, что деви-

ца не выйдет на свидание к своему любезному, ежели не принарядилась? — произнес Джейкоб, окидывая мысленным взором свой житейский опыт. — Верно, мэм, не выйдет.

Из другого окна донесся женский голос, принадлежавший, очевидно, Мэриэнн:

— При Фэнни, сдается мне, был узелок, да только я не разглядела его как следует. А из здешних парней она ни с кем не зналась. Жених у ней в Кестербридже. Вроде в солдатах служит.

— Знаешь ли ты его имя? — спросила Батшеба.

— Нет, хозяйка, Фэнни скрытная была.

— Может, я в казарме разузнаю, кто он таков, ежели туда поеду? — промолвил Уильям Смоллбери.

— Что ж, если завтра она не вернется, тогда поезжай и разыщи того солдата. У девушки нет ни друзей, ни родных, я за нее в ответе. Только бы с ней чего худого не сделалось! А еще этот подлый управляющий… Нет, о нем я сейчас говорить не стану. — Приобретя за один вечер так много причин для тревоги, Батшеба, по-видимому, не сочла нужным выделять ни одну из них. — Делайте, что велено, — заключила она, закрывая окно.

— Все исполним, хозяйка! — ответили люди и разошлись.

Расположившись на ночлег в доме Коггена, Габриэль Оук заслонился от мира завесою опущенных век и дал волю воображению. Внутренняя жизнь забурлила в нем, подобно воде, быстро бегущей под коркою льда. Во тьме Батшеба обыкновенно являлась ему особенно зримо; вот и теперь, влекомый неторопливым течением ночных часов, он с нежностью созерцал ее образ. Нечасто бывает, чтобы грезы наяву утоляли боль бессонницы, однако именно это происходило теперь с Габриэлем: радость от встречи с Батшебою оказалась столь велика, что на время стерла осознаваемое им различие между возможностью только лишь видеть предмет и возможностью обладать сим предметом.

От мыслей о Батшебе Оук перешел к размышлениям, как бы перевезти из Норкомба свой скудный скарб и книги: «Спутник юноши»[17], руководства по кузнечному ремеслу и ветеринарной хирургии, Мильтонов «Потерянный рай», «Путь паломника» Беньяна, «Робинзона Крузо» Дефо, словарь Эша и «Арифметику» Уокингейма.

---

[17] Примечания: 17

В книге Джорджа Фишера «Наставник, или Лучший спутник юноши», впервые опубликованной в 1733 году и многократно переиздававшейся, в доступной форме излагаются сведения из различных областей знаний, от орфографии до арифметики.

Библиотека Габриэля Оука была невелика, однако благодаря вниманию и усердию он почерпнул из нее больше дельных мыслей, чем подчас водится в голове у того, кто с детских лет имел в своем распоряжении многие тысячи томов.

Глава IX
Усадьба. Посетитель. Полупризнание

При свете дня жилище Батшебы Эвердин, новой госпожи Оука, оказалось строением старинным. Архитектор усмотрел бы в нем приметы раннего Возрождения, причем пропорции красноречиво свидетельствовали о первоначальном его назначении (отнюдь не редком для построек такого рода): прежде это было фамильное гнездо хозяев небольшого поместья, которое, наряду с другими скромными усадьбами, перешло в руки богатого арендодателя, лишь изредка посещающего свои владения.

Фасад украшали рифленые пилястры, вытесанные из цельных каменных глыб. Печные трубы были отделаны панелями или имели форму колонн. Фронтоны венчались крестоцветами и подобными витиеватыми фигурами, унаследованными от готического стиля. Каменная кладка замшела, словно ее выложили подушками из поблеклого коричневого вельветина. На крышах ближайших низеньких построек зеленели

ростки заячьей капусты. От двери дома до дороги тянулась тропка, тоже утопавшая во мху: он был серебристо-зеленым и широко разросся по обеим сторонам, лишь в середине оставив полоску орехового гравия шириною в один или два фута.

Если здесь все казалось погруженным в сон, то с другой стороны здания взгляду открывалась совершенно иная картина: по всей вероятности, приспосабливая дом под собственные нужды, фермер повернул его внутреннее устройство так, что прежний задний фасад сделался лицом. Постройки былых времен — а то и целые города, — возводившиеся исключительно ради удовольствия первых владельцев, нередко страдают от подобных поворотов и уродливых метаморфоз.

Тем утром из верхних комнат дома доносились оживленные голоса. Главная лестница, ведущая во второй этаж, изготовлена была из дуба. Балясины, выточенные в причудливом старинном вкусе, толщиною не уступили бы столбикам кровати, а массивные перила могли бы окаймлять парапет моста. Ступени тянулись вверх, изгибаясь, как человек, который оглядывается через плечо. Поднявшись по лестнице, обитатель или гость дома ступал на поверхность, образованную

бесконечным чередованием возвышенностей и впадин. За неимением ковров (их на время убрали) глазу было видно, что неровные половицы изрядно поедены червем. На открывание или закрывание любой двери все окна отзывались лязгом, на каждое стремительное движение — дрожанием. Их скрип, подобно привидению, всюду следовал за человеком, вторя его шагам.

В комнате, откуда доносились голоса, вошедший увидел бы Батшебу и ее наперсницу Лидди Смоллбери. Сидя на полу, женщины разбирали гору из бумаг, книг, бутылок и всевозможных ненужных старых вещей, что остались в кладовых после прежнего хозяина. Лидди, правнучка солодовника, казалась одних лет с Батшебою и являла собой яркий образец веселой английской девушки. Несовершенство черт лица с лихвою восполнялось совершенством красок: сейчас, в зимнюю пору, мягкий румянец делал круглое нежное лицо Лидди похожим на те лица, некрасивые, но миловидные, что глядят на нас с полотен Терборха и Герарда Дау. Чинная серьезность, которую девушка порой на себя напускала, происходила частью от искреннего чувства, частью от сознания долга и приличий.

Из-за приоткрытой двери было слышно, как

скребет пол щетка в руках Мэриэнн Мани. Избороздившие ее круглое лицо морщины были не столько следами времени, сколько следствием долгого недоуменного глядения на далекие предметы. Мысль о Мэриэнн Мани улучшала расположение духа, а желание описать ее словесно неизменно воскрешало в памяти образ сушеного нормандского яблочка.

— Погоди-ка минутку, не скреби! — крикнула Батшеба через дверь. — Я слышу какой-то шум.

Мэриэнн замерла. Со стороны парадного входа раздавался стук лошадиных копыт: видно, всадник, пустив коня шагом, въехал в ворота и проследовал к крыльцу по замшелой тропе, давно от этого отвыкшей. В дверь постучали тростью или рукояткой хлыста.

— Ну и дерзость! — негромко проговорила Лидди. — Взять вот этак и протопать прямо к дому! Чего бы ему у ворот не остановиться?.. Ах, Боже мой! Да он джентльмен! Я вижу шляпу!

— Тихо! — сказала хозяйка. Лидди умолкла, однако не перестала выражать свое беспокойство красноречивым взглядом. — Отчего это миссис Когген не идет открывать? — Стук зазвучал решительнее. — Мэриэнн, ступай ты! — распорядилась Батшеба, трепеща под натиском предчувствий

романтического свойства.

— Мэм, я ж в такой грязище вожусь!

Взглянув на Мэриэнн, Батшеба предпочла не настаивать.

— Тогда ты, Лидди, ступай и отвори.

Лидди подняла руки, по локоть покрытые пылью от хлама, который она разбирала вместе с госпожой, и устремила на последнюю умоляющий взгляд.

— Ох, миссис Когген наконец-то идет! — сказала Батшеба с облегчением.

Дверь отворилась, и низкий голос спросил:

— Дома ли мисс Эвердин?

— Пойду погляжу, сэр, — ответила миссис Когген и через минуту была уже наверху.

Эта почтенная служительница, с виду женщина крепкая и здоровая, имела не один голос, а несколько, и каждый предназначался для выражения определенного чувства. Кроме того, она умела с поистине математической точностью орудовать шваброй и перевертывать блинчики. Сейчас ее руки были белы от муки, а с ладоней свисали клочки налипшего теста.

— Вот жизнь окаянная! — посетовала миссис Когген. — Пудинг спокойно не приготовишь! Только заведешь — или нос зачешется (а у меня

мочи нет чесотку терпеть), или постучать кто вздумает. Мисс Эвердин, там к вам мистер Болдвуд приехал.

— Я не могу принять его в таком виде! — тотчас ответила Батшеба, ибо платье для женщины есть неотделимая часть ее самой, и любой изъян в наряде воспринимается ею столь же трагически, как грязь или рана, безобразящая лицо. — Что же делать?!

У фермерш Уэзербери не в обыкновении было сказываться отсутствующими, посему Лидди предложила:

— А вы скажите, что запылились чуток и сойти не можете.

— И впрямь! Чем не ответ? — согласилась миссис Когген, поразмыслив.

— Просто передай, что я не могу сейчас его принять. Этого довольно.

Спустившись, миссис Когген сказала, как ей велели, но от себя все же прибавила:

— Хозяйка бутылки вытирает, сэр, и вся перепачкалась.

— Что ж, очень хорошо, — равнодушно ответил низкий голос. — Я, собственно говоря, лишь затем заехал, чтобы узнать, нет ли известий о Фэнни Робин.

— Нет, сэр, разве что к вечеру будут. Уильям Смоллбери уехал в Кестербридж, где у нее вроде как жених живет. А другие наши люди в округе всех порасспросят.

Конский топот, раздавшийся снова, стих, дверь закрылась.

— Кто таков мистер Болдвуд? — осведомилась Батшеба.

— Помещик из Литтл-Уэзербери.

— Женат?

— Нет, мисс.

— Сколько ему лет?

— Лет около сорока. Собой, я бы сказала, хорош, хотя суровый на вид. И богат.

— Какая досада от этого вытиранья пыли! Вечно меня застают врасплох! — жалобно воскликнула Батшеба. — С чего бы ему справляться о Фэнни?

— Так она ж была сирота без друзей и родных, и мистер Болдвуд отдал ее в школу, а потом устроил в услуженье к вашему дядюшке. Он, сосед ваш, человек хороший, но вот же Боже мой!..

— Что?

— Для женского пола безнадежный. Много их было — девушек, что пытались его на себе женить! Со всей округи съезжались — и простые, и благородные. Джейн Перкинс два месяца

трудилась, как рабыня, а сестры Тейлор целый год потратили. Дочь фермера Айвза море слез пролила и двадцать фунтов на новые наряды спустила. Боже праведный! Деньги эти все равно как в окошко вылетели!

В эту минуту в комнату вошел мальчуган. Дитя принадлежало к семейству Коггенов, а Коггенов и Смоллбери в окрестностях Уэзербери было столько же, сколько в Англии рек, называемых Эйвон и Дервент. Этот ребенок всегда мог похвастать перед друзьями расшатанным зубом или пораненным пальцем, что и делал с такою гордостью, будто сие увечье возвышало его над остальным человечеством. Окружающим полагалось восклицать: «Бедный мальчик!» — не столько жалея, сколько поздравляя страдальца.

Сегодня мастер Когген явился с сообщением иного рода. Окинув лица женщин внимательным взглядом, он объявил:

— А мне дали пен-ни!

— Кто дал, Тедди? — спросила Лидди.

— Мисс-террр Болд-вуд. Я ему ворота открыл.

— И что он сказал?

— Сказал: «Куда путь держишь, малыш?» Я говорю: «К мисс Эвердин». А он говорит: «Она женщина почтенная?» А я говорю: «Да».

— Ах ты, проказник! И зачем ты этак сказал?

— Потому что он дал мне пенни.

— Какая суета в доме! — произнесла Батшеба недовольным голосом, когда мальчик ушел. — Давай, Мэриэнн, возьмись снова за щетку или еще за что-нибудь. Тебе пора бы замуж выйти, а не мне докучать.

— Оно верно, хозяйка, пора! Да только бедные люди мне не нужны, а богатым я не нужна. Вот и торчу одна, ровно пеликан среди пруда.

— А вам, мисс, предложение делали? — отважилась спросить Лидди, оставшись с госпожою наедине. — Многие, должно быть?

Батшеба, провозглашенная почтенной дамой и немало этим раздосадованная, помолчала, словно не считала нужным отвечать, однако девичье тщеславие так и подмывало ее открыть правду.

— Один человек звал меня замуж, — вымолвила она тоном многоопытной матроны, и образ Габриэля Оука, бывшего еще фермером, встал у нее перед глазами.

— Как это, должно статься, приятно! — проговорила Лидди, застыв в задумчивости. — И вы ему отказали?

— Он был для меня недостаточно хорош.

— Это, поди, так распрекрасно, если можешь

презирать мужчину! А ведь я слыхала, что наша сестра чаще принуждена бывает любому спасибо говорить. Куда приятней сказать: «Нет, сэр, вы мне не чета!» или: «Целуйте мне ноги, сэр, а лик мой пускай целуют те, кто поважнее вас!» Вы его любили, мисс?

— Разве что нравился самую малость.

— И сейчас все так же нравится?

— Конечно же, нет! Чьи это шаги я слышу?

Лидди поглядела из окна на задний двор, уже несколько потускневший под тонкими покровами сумерек. К дверям тянулась искривленная вереница людей. Связанные общим намерением, они напоминали цепочку сальпов: эти морские существа обособлены друг от друга, однако все семейство стремится к единой цели. Некоторые из пришедших были в белоснежных парусиновых блузах, иные в светло-коричневых со сборчатым узором в виде медовых сот на запястьях рукавах, груди и спине. За мужчинами следовали две или три женщины в деревянных башмаках.

— Филистимляне идут на нас![18] — сказала Лидди, так прижавшись к стеклу, что кончик носа побелел.

---

[18] Примечания: 18

Перефразированная цитата из Книги Судей Израилевых (16:20).

— И хорошо. Мэриэнн, ступай вниз. Пускай обождут в кухне, покуда я переоденусь, а потом проводи их в залу.

Глава X
Госпожа и работники

Спустя полчаса Батшеба, одетая как подобает хозяйке и сопровождаемая Лидди, вошла в старинную залу, где ее поджидали люди, расположившись на двух длинных скамьях у противоположной стены. Сев за стол, госпожа раскрыла книгу, взяла перо и высыпала горсть монет из холщового мешочка. Лидди села рядом и принялась за шитье. Время от времени она отрывалась от работы, чтобы с видом привилегированной персоны оглядеться по сторонам или же взять со стола один из полусоверенов и восхититься им как произведением искусства, стараясь никоим образом не выказать практического интереса к сему предмету.

— Мне надобно сказать вам две вещи, — начала Батшеба. — Первая касается до управляющего. Прежнего я уволила за воровство, а нового у вас не будет, ибо впредь я намерена жить своею головою и своими руками. — Послышался вздох всеобщего изумления. — Теперь второе. Слышно ли что-нибудь о Фэнни?

— Ничего, мэм.

— Вы старались о ней разузнать?

— Я встретил фермера Болдвуда, — сказал Джейкоб Смоллбери. — Он, я и двое его людей обыскали пруд близ новой мельницы, но ничего не нашли.

— А пастух, которого вы вчера наняли, ездил в «Голову оленя», что близ Йелбери. Думал, девушка туда направилась, однако никто ее там не видал, — сказал Лейбен Толл.

— Был ли Уильям Смоллбери в Кестербридже?

— Поехал, мэм, но еще не вернулся. Обещал к шести.

— Без четверти шесть! — заметила Батшеба, посмотрев на часы. — Пора бы уже… — Она перевела взгляд на свой журнал. — Джозеф Пурграсс, здесь ли ты?

— Да, сэр, то бишь да, мэм. Я зовусь Пурграссом.

— Кто ты?

— По собственному моему разумению, так, пожалуй, никто, а что люди говорят, того пересказывать не стану. Молва сама за себя скажет.

— Какую работу делаешь на ферме?

— Круглый год вожу на телеге, ежели что надо, грачей и воробьев стреляю, когда сеют, а еще

свиней помогаю колоть, сэр.

— Сколько тебе причитается?

— Извольте девять и девять да полпенса взамен той монеты, что негодной оказалась, сэр, то бишь, мэм.

— Верно. Вот получи еще десять шиллингов. Небольшой подарок по случаю моего прибытия. — Сказав это, Батшеба слегка покраснела: проявлять щедрость на людях было ей в новинку.

Генери Фрэй, встав со своего места и приблизясь к госпоже, изумленно поднял брови и воздел руки. Хозяйка продолжала:

— А тебе я сколько должна, человек, что сидит в углу? Как твое имя?

— Мэтью Мун, мэм, — произнес некто, казавшийся вешалкою для своего крестьянского наряда, ибо сколько-нибудь внушительного тела под одеждою не угадывалось.

Это странное существо поплелось к хозяйскому столу, выворачивая ступни то наружу, то внутрь (как будто они вертелись у него на шарнирах).

— Мэтью Марк, ты сказал? — переспросила Батшеба ласковым голосом. — Говори громче, я тебя не обижу.

— Мэтью Мун, мэм, — исправил хозяйку Генери

Фрэй, который подобрался уже к самому ее стулу и навис над спинкою.

— Мэтью Мун, — повторила Батшеба, устремляя ясный взор в книгу. — Тебе полагается десять и два пенса с полпенсовиком, верно?

— Да, миссис, — произнес Мэтью так, словно ветер поворошил мертвые листы.

— Возьми. И десять шиллингов в придачу. Теперь Эндрю Рэндл. Ты, я слышала, человек новый? Почему с прежней фермы ушел?

— П-п-п-п-п-п-прош-ш-шу, м-м-м-м-мэм…

— Заика он, — пояснил Генери Фрэй вполголоса. — Век ничего внятного сквайру не говорил, а однажды возьми да и брякни: «Я, мол, сам себе хозяин». И других безобразий наплел. За то его и прогнали. Бранится, мэм, не хуже нас с вами, а что надобно, того сказать не может.

— Эндрю Рэндл, вот твои деньги. И не благодари, а то до послезавтра ждать придется. Темперанс[19] Миллер… Ах, и еще Собернесс [20]… Полагаю, обе женщины?

— Да, мэм, это мы, — в унисон ответили два

---

[19] Примечания: 19

Temperance (*англ.*) — умеренность (в т. ч. в употреблении спиртных напитков).

[20] Примечания: 20

Soberness (*англ.*) — трезвость.

визгливых голоса.

— Каков род ваших занятий?

— Глядим за молотилкой, ворошим сено, шугаем кур и петухов, чтоб не клевали ваших семян, а еще картошку садим — раннюю и «Томпсонову чудесную».

— Понятно, — ответила Батшеба и тихо спросила у Генери Фрэя: — Хорошие женщины?

— Ох, мэм, и не спрашивайте! Сговорчивы донельзя! Блудницы, каких свет не видывал! — прорычал старик себе под нос.

— Сядь.

— Кто, мэм?

— Сядь.

Увидев, что Батшеба отрывисто отдала какое-то приказание, а Генери отполз в угол, Джозеф Пурграсс вздрогнул. Губы его мгновенно пересохли от предчувствия чего-то ужасного.

— Теперь Лейбен Толл. Остаешься ли ты у меня работать?

— У вас, мэм, иль у любого другого, кто хорошо заплатит, — ответствовал молодожен.

— Верно! Ведь должен человек на что-то жить! — донесся из дальнего конца залы голос женщины, которая только что вошла, стуча деревянными башмаками.

— Кто она? — спросила Батшеба.

— Его законная жена! — произнес голос, сделавшись еще громче и внушительней.

Сьюзен Толл называлась двадцатипятилетнею, однако по виду ей было тридцать, по слухам — тридцать пять, а в действительности — все сорок. В отличие от других женщин, недавно вышедших замуж, она никогда прилюдно не показывала нежности к супругу — вероятно, оттого, что не испытывала таковой.

— Ах, вот как! — сказала Батшеба. — Что ж, Лейбен, остаешься ты или нет?

В ответ снова раздался пронзительный глас законной жены Лейбена:

— Остается, мэм!

— Он, наверное, и сам сказать может?

— Господь с вами, мэм! Другого такого простофили не сыскать. Работник-то он хороший, но разиня! — ответила жена.

— Хе-хе-хе! — льстиво засмеялся муж (подобно кандидату на выборах в парламент, он неизменно сохранял бодрое расположение духа под градом ругательств).

Когда остальные работники тоже были названы и получили плату за труд, Батшеба закрыла книгу.

— Сдается мне, теперь я со всеми в расчете, — сказала она, отряхивая со лба выбившуюся прядку волос. — Возвратился ли Уильям Смоллбери?

— Нет, мэм.

— Новому пастуху, верно, помощник потребуется, — предположил Генери Фрэй.

Осторожными боковыми шажками он снова приближался к стулу Батшебы, желая вернуть себе почетное положение хозяйского советчика.

— Да, в самом деле. Кто бы мог пойти в подпаски?

— Каин Болл — хороший парень. Только очень уж молод. Не станет ли пастух Оук против этого возражать? — сказал Генери и с любезною улыбкой повернулся к Габриэлю, который лишь недавно появился на сцене и теперь стоял, прислонившись к столбу и скрестив руки.

— Нет, я возражать не стану.

— Отчего ж его назвали Каином? — полюбопытствовала Батшеба.

— Ах, мэм! Бедная его мамаша худо знала Святое Писание, вот и напутала при крещении. Думала, что не Каин Авеля убил, а напротив того, ну и нарекла младенца Каином, вместо того чтоб Авелем наречь. Потом священник хватился, да уж поздно было: в приходской книге исправлять

не дозволяется. Большущая неудача для мальца!

— Да, довольно-таки досадно.

— Чтобы не так обидно получалось, мы зовем его Кайни. А мать его, бедная вдовица! Чуть все сердце не выплакала! Родители ее были безбожники, ни в школу, ни в церковь дитя не посылали. Вот и поглядите теперь, мэм, как дети за грехи отцов платят. — При этих словах мистер Фрэй изобразил на своем лице легкую грусть, которую подобает испытывать рассказчику, если тот, о чьих невзгодах он повествует, не состоит с ним в родстве.

— Хорошо. Кайни Болл будет подпаском. А вам, Габриэль Оук, понятны ли ваши обязанности?

— Благодарю вас, мисс Эвердин, вполне, — отозвался Оук со своего места. — Справлюсь у вас, ежели чего-то не пойму.

Та совершеннейшая холодность, с какой Батшеба к нему обратилась, уязвила Габриэля. Не зная истории Оука, никто, конечно, не мог бы предположить, что пастух и красивая женщина, перед которою он теперь стоял, были когда-то друг другу не чужими. Из обитательницы скромного коттеджа она превратилась в хозяйку целого поместья, и, вероятно, именно это возвышение явилось причиной перемены в ее манерах. Такое

нередко случается. Когда в творениях поэтов Юпитер со своим семейством переселяется из тесной квартиры на вершине Олимпа в бескрайнее небо, речи громовержца всякий раз делаются надменней и холодней.

За дверями залы послышались шаги: кто-то ступал увесисто и мерно, что, очевидно, не способствовало быстроте ходьбы. Все хором воскликнули:

— Билли Смоллбери вернулся из Кестербриджа!

— Узнал ли ты что-нибудь? — спросила Батшеба, когда Уильям промаршировал на середину залы и, достав из шляпы носовой платок, принялся отирать им лоб.

— Я бы, мисс, раньше вернулся, если б не погода. — Он поглядел на свои облепленные снегом ботинки и с силой топнул сначала одной, затем другой ногой.

— И все же воротился наконец! — заметил Генери.

— Так как насчет Фэнни? — снова спросила хозяйка.

— Ну, мэм, ежели коротко, то она сбежала с солдатами, — ответил Уильям.

— Быть не может! Такая разумная девушка,

как Фэнни!

— Сейчас все подробно обскажу. Добрался я до кестербриджских казарм, а мне и говорят: «Одиннадцатый драгунский гвардейский полк ушел, заместо него здесь теперь другая часть стоит». А одиннадцатый полк еще на прошлой неделе в Мелчестер двинулся. Приказ, как это обыкновенно случается, нежданно прислали. Драгуны и опомниться не успели, как были уже на марше. Они тут и проходили, поблизости.

— Я видел их, — сказал Габриэль, с интересом слушавший рассказ Уильяма.

— Да, — продолжил тот. — Проскакали по улице с песней. Играли «Я девушку покинул». Этак доблестно, как говорят, победоносно. У тех, кто глядел и слушал, нутро до глубины сотрясалось от барабанного боя, а содержатели пабов и подружки солдатские прямо-таки слезы утирали!

— Но драгуны ведь не на войну ушли?

— Нет. Хотя, может статься, ушли на место тех, кто отправился воевать. Одно с другим очень даже связано. Так я и решил: ухажер нашей Фэнни из того полка был, и она, верно, за ним увязалась. Вот, мэм, как дело обстоит.

— А имя того человека ты выяснил?

— Нет, его никто не знает. Сдается мне, чином

он был повыше, чем простой солдат.

Габриэль, погруженный в раздумья, ничего не сказал. Его тревожили сомнения.

— Как бы то ни было, сегодня мы едва ли узнаем больше, — заключила Батшеба. — А пока пусть кто-нибудь из вас отправится к фермеру Болдвуду и расскажет ему хотя бы это. — Госпожа поднялась, но, прежде чем удалиться, обратилась к своим людям с краткою речью, исполненной достоинства. Благодаря траурному облачению Батшебы, слова ее звучали серьезно и разумно. — Итак, теперь у вас не хозяин, а хозяйка. Мне еще неизвестно, каковы мои силы и способности по части управления фермой. Но я приложу старание, и, если вы будете хорошо мне служить, то и я сослужу вам службу. Пускай нечестные люди, каковых, надеюсь, среди вас нет, не думают, что коли я женщина, то не сумею отличить плохой работы от хорошей.

Все:

— Как можно, мэм!

Лидди:

— Вот уж отменно сказано!

— Я буду вставать прежде, чем вы проснетесь, выходить в поле прежде, чем вы встанете, и завтракать прежде, чем вы выйдете в поле. Словом,

я всех вас удивлю.

Все:

— Да, мэм!

— Доброй вам ночи.

Все:

— Доброй ночи, мэм!

С горделивым видом покидая залу, сей деревенский фесмофет[21] зацепил подолом платья несколько соломинок, и они с шуршанием проволоклись по полу. Лидди, проникнутая торжественностью момента, последовала за Батшебою, держась почти так же величаво, в чем нельзя было не усмотреть некоторой доли карикатурности. Дверь за ними затворилась.

[21] Примечания: 21

Фесмофеты — должностные лица, исполнявшие в Древних Афинах судебные функции.

Глава XI
Казармы. Снег. Свидание

Трудно сыскать картину более унылую, нежели та, какую снежным вечером являл собой гарнизон на окраине городка, удаленного от Уэзербери на много миль к северу. Этот вид, пожалуй, и вовсе не следовало бы называть видом, ибо сгустившаяся темнота поглотила почти все вокруг. В такие часы даже самых бодрых людей порой настигает тоска. Любовь сменяется в восприимчивом сердце мучительною жаждой, надежда — дурными предчувствиями, вера — надеждой. Память не вызывает сожаления об упущенных возможностях, предвкушение не порождает действия.

В сумерках едва виднелась тропа справа от реки, за которой высилась стена. С противоположной стороны тропы был пустырь, поросший травою вперемежку с вереском. Вдали темнели волнообразные очертания холмов. В таких местах смена времен года менее очевидна, нежели в лесистом краю, однако внимательный взгляд непременно ее заметит. Здесь вы не встретите

всем известных признаков весны или осени, таких как распускание почек или сбрасывание листьев, и все же наше воображение напрасно рисует пустошь погруженной в неизменное оцепенение: она меняется, причем не так уж медленно и не так уж неявно. Овладев пустырем близ гарнизона, зима совершила наступление, этапы коего всякий мог наблюдать: сперва уползли змеи, затем увяли папоротники, замерзли лужи, над землею повисли туманы, трава побурела от заморозков, пропали грибы, и наконец все другое исчезло под снегом.

Впервые за год неровности пустыря превратились в безликие формы — нечто, покоящееся под первым слоем снежного покрова. Просыпавшись на землю роем беспорядочно снующих хлопьев, небо снабдило пустошь новым одеянием, в котором она сделалась еще более голой, чем прежде. Огромное низкое облако странно провисло, будто свод темной пещеры. Казалось, снег, падающий с неба, и снег, лежащий на земле, вскоре сомкнутся, вовсе не оставив между собою воздуха.

Однако обратим наши взгляды налево. Здесь мы увидим лишь горизонталь реки, вертикаль стены и темноту, объявшую то и другое. Если что-то могло быть чернее ночного неба, так только

стена. Если что-то могло быть мрачнее стены, так только вода. Крыша дома ощерилась трубами, в верхних этажах слабо угадывались прямоугольники окон, внизу же, над рекою, слепая стена не имела ни единого отверстия и ни единого выступа.

Какой-то неясный звук несколько раз кряду с обескураживающей монотонностью пронзил пространство, заполненное снежным пухом. Это часы на ближайшей башне пробили десять. Колокол, густо облепленный снегом, утратил свой всегдашний голос.

Между тем снегопад пошел на убыль: двадцать падающих снежинок сменились десятью, а десять — одной. Вскоре к берегу реки приблизился некий предмет. По его очертаниям на бесцветном фоне внимательный глаз мог угадать фигуру человека, идущего медленно, но без видимого усилия: слой внезапно выпавшего снега не превысил еще двух дюймов в толщину. Послышались вслух произнесенные слова: «Раз. Два. Три. Четыре. Пять», после каждого из которых предмет продвигался на полдюжины ярдов вперед. Теперь стало ясно, что подсчитываются окна. Достигнув пятого окна от края стены, и без того маленькая фигура сделалась еще меньше, очевидно нагнувшись.

Ком снега перелетел через реку и шлепнулся о стену, не достигнув цели. В этом броске мужской замысел соединился, очевидно, с женским исполнением. Любой мужчина, видавший в детстве птиц, кроликов или белок, кинул бы снежок гораздо ловчее. Одна попытка следовала за другой, пока стена не покрылась белыми следами. Наконец комок снега ударился о пятое окно.

При свете дня было бы видно, что река, отделяющая тропу от стены, глубока и ровна. На середине и возле берегов она скользит с одинаковым проворством, поскольку небольшие воронки, возникая то тут, то там, сглаживают всякие различия. На поданный сигнал не ответил ни единый звук. Слышалось лишь неизменное журчанье и клокотание, дополняемое каким-то тихим шумом: печальный человек сравнил бы его со стонами, а счастливый — со смехом, в действительности же это был стук невидимых водяных колес о мелкие преграды дальше по течению.

Комок снега снова ударил в стекло. На сей раз последовал звук, сопровождавший, по всей вероятности, открывание окна. Затем донесся голос:

— Кто там?

Вопрошавший был мужчиною и не казался

удивленным. Поскольку стена принадлежала казарме, а к супружеству в армии относятся с неодобрением, уже не одно тайное свидание, возможно, устроилось в тот вечер подобным образом.

— Сержант Трой? — боязливо спросила фигура, неясно темневшая на заснеженном берегу.

Сама она походила на тень, а мужской голос сливался с постройкой; получалось, что снег говорит со стеною.

— Да, — настороженно ответили из темноты. — Тебе чего?

— О, Фрэнк! Неужто ты меня не узнаешь? Я Фэнни Робин, твоя жена!

— Фэнни?! — воскликнула стена в полнейшем недоумении.

— Да, — ответила девушка, сдерживая волнение.

В ее голосе слышалось нечто, не присущее женам, а мужчина говорил таким тоном, каким редко разговаривают мужья. Беседа продолжалась:

— Как ты меня отыскала?

— Спросила, которое окно твое. Не сердись!

— Сегодня я тебя не ждал. По правде, я совсем не думал, что ты придешь. Ты могла меня и не

найти. Завтра я дежурный.

— Ты сам говорил, чтоб я пришла.

— Я сказал, ты могла бы…

— Ну да. Ты рад мне, Фрэнк?

— О да. Рад.

— Ты выйдешь?

— Не могу, дорогая Фэн! Уже протрубили отбой, ворота закрыли, увольнительной у меня нет. До завтрашнего утра мы все заперты здесь, точно в тюрьме.

— Так значит до завтра я тебя не увижу! — Голос девушки разочарованно дрогнул.

— Как ты попала сюда из Уэзербери?

— Пешком. То есть часть пути прошла пешком, остальное проехала на возах.

— Удивила ты меня.

— Да я и сама удивилась. Фрэнк, а когда это будет?

— Что?

— То, что ты обещал.

— Чего-то не помню.

— Помнишь! Не притворяйся, не мучь меня! Мне совестно первой говорить то, что должен говорить мужчина.

— А ты скажи. Это ничего.

— Я? Ну изволь… Когда мы поженимся, Фрэнк?

— Вот ты о чем… Что ж, сперва добудь хорошую одежду.

— Деньги у меня есть. А мы поженимся по объявлению или по лицензии?

— По объявлению, наверное.

— Мы ведь в разных приходах живем.

— Да? И что с того?

— О нашей помолвке должны будут в обеих церквях объявить: в моей, Святой Марии, и в твоей.

— Это закон такой?

— Да. О, Фрэнк, выходит, я тебе навязываюсь?! Прошу, дорогой Фрэнк, не думай обо мне дурно, я ведь так тебя люблю! И ты столько раз обещал на мне жениться, и я… я… я…

— Ах, не плачь теперь! Это глупо! Женюсь, раз обещал.

— Так я объявлю о нашей свадьбе в своем приходе, а ты в своем?

— Да.

— Завтра?

— Нет, не завтра. Мне нужно несколько дней.

— Ты получил разрешение у начальников?

— Нет, пока нет.

— Как? Ты же еще в Кестербридже сказал, что оно у тебя почти в кармане?

— Видишь ли, я забыл спросить. Ты явилась так нежданно!

— Да, да, мне не следовало беспокоить тебя. Сейчас я уйду. А ты навестишь меня завтра у миссис Твиллс на Норт-стрит? Я бы не хотела снова приходить сюда. Тут кругом дурные женщины. Люди подумают, будто я одна из них.

— И верно, милая, не приходи. Уж лучше я к тебе. Доброй ночи.

— Доброй ночи, Фрэнк, доброй ночи!

Снова послышалось дребезжание окна: теперь оно закрылось. Маленькая фигурка зашагала прочь. Когда она миновала угол здания, из-за стены донеслось приглушенное восклицание: «Хо-хо, сержант! Хо-хо!» Затем последовали слова, произнесенные тоном увещевания, однако они потонули в хохоте, едва отличимом от бульканья маленьких водоворотов в реке.

Глава XII
Фермеры. Правило. Исключение

Первым наглядным доказательством того, что Батшеба в самом деле вознамерилась управлять фермою самолично, а не через поверенного, стало ее появление на кестербриджском хлебном рынке в ближайший базарный день.

Просторный зал с низким потолком, опиравшимся на балки и колонны, с недавних пор гордо именовался зерновой биржей. Сейчас здесь толпились люди, разгоряченно переговариваясь друг с другом в парах и тройках: ораторы искоса поглядывали на лица слушателей и, дабы усилить действенность своих слов, прищуривали один глаз. Многие держали в руках ясеневые трости, используемые для опоры при ходьбе, а также для того, чтобы тыкать свиней, овец, спины ближних и прочие предметы, которые мешались на пути, тем самым заслуживая такого обращения. В продолжение делового разговора гибкую палку употребляли весьма разнообразно: кто-то закидывал ее за плечи, кто-то сгибал наподобие лука, кто-то упирался ею в пол и так

налегал, что она принимала форму полумесяца. Или же трость небрежно зажималась под мышкой, а в ладонь тем временем сыпалась пшеница из мешочка, вскрытого для образца. После критического изучения зерно бросали на пол, к радости сметливых городских птиц, которые потихоньку проникали под крышу и ждали осуществления своих надежд, вытянув шеи и кося глазами.

По залу, полному дородных йоменов, скользила всего одна женская фигура. Одетая нарядно и даже изысканно, она лавировала среди мужчин, как легкий экипаж среди телег. В гуле голосов ее голос казался серенадой после проповеди, а движения ее казались бризом, обдувающим плечи. Чтобы прийти сюда, Батшебе потребовалось куда больше решимости, чем она предполагала. Стоило ей появиться на пороге, как басовитые разговоры стихли, и едва ли не все лица обратились к ее лицу (те, которые уже обращены были в сторону двери, просто застыли).

Из всех собравшихся фермеров Батшеба знала только двоих или троих. К ним она и направилась в первую очередь. Но чтобы показать себя женщиной деловой, новоиспеченной хозяйке поместья следовало заняться делом, а именно предлагать вопросы и отвечать на них, невзирая

на то, кто из присутствующих мужчин представлен ей, а кто нет. Мало-помалу набравшись смелости для ведения разговора, Батшеба, кроме того, наловчилась сыпать зерна из чужого пробного мешочка (при ней имелись такие же свои) в узкую ладонь и разглядывать их с видом заправского кестербриджского фермера. Споря с едва знакомыми ей рослыми мужчинами, она смело подымала голову, и в плавной линии ее крепких зубов, в приподнятых уголках разомкнутых алых губ ощущалось нечто, красноречиво говорившее: в этом гибком маленьком существе довольно сил, чтобы осуществлять замыслы, весьма дерзкие для прекрасного пола. Но благодаря мягким, неизменно мягким глазам, которые, не будь они темны, были бы туманными, смелое лицо казалось не резким, а ясным.

При разговоре Батшеба всегда позволяла собеседнику закончить мысль, прежде чем высказывала собственную, — необычное свойство для женщины в расцвете сил. Она держала цену своего товара, как прирожденный продавец, а цену чужого постепенно сбавляла с истинно женским упорством. Однако в ее манере вести торг ощущалась податливость, не позволявшая настойчивости перерасти в упрямство, и наив-

ность, не позволявшая бережливости скатиться до скупости.

Фермеры, которым еще не довелось самим беседовать с Батшебой (таких покамест было большинство), спрашивали других:

— Кто она?

— Племянница фермера Эвердина, — отвечали им. — Унаследовала его поместье близ Уэзербери, прогнала управляющего и намерена верховодить сама.

Некоторые только качали головами, а другие говорили:

— Экая упрямица! И все же славно, что она здесь. Украшает этот старый сарай. Правда, недолго ей его украшать: девица хоть куда, не сегодня завтра замуж выйдет.

Учтивости ради не станем предполагать, что магнетизм Батшебы объяснялся не только красотою ее лица и грациозностью движений, но и почти в той же мере тем, сколь необычна для девушки принятая ею роль. Отметим лишь, что интерес к ней был всеобщим, и каковы бы ни оказались ее успехи по части купли-продажи зерна, как женщина она испытала в тот субботний день несомненный триумф. Торжество ощущалось Батшебой столь остро, что временами ей хоте-

лось позабыть о ценах и просто шествовать среди этих богов земледелия, подобно миниатюрной сестре миниатюрного Юпитера.

Многочисленные свидетельства ее способности пленять мужчин можно было назвать правилом, которое лишь подтверждалось единственным исключением. Такие исключения обыкновенно подмечаются женщинами с поразительною зоркостью — будто ленты, украшающие их головки, имеют собственные глаза. Посему Батшеба без всякого усилия, почти не приглядываясь, приметила в стаде черную овцу.

Сперва открытие озадачило прекрасную фермершу. Если бы никто не обратил на нее особого внимания (подобное прежде случалось), она перенесла бы это невозмутимо. Если ли бы все до единого были ею очарованы (случалось и такое), она приняла бы фурор как должное. Если бы равнодушные или восхищенные образовали сколько-нибудь существенное меньшинство, это было бы естественно. Однако единственность исключения казалась загадкою.

Вскоре Батшеба составила кое-какое мнение о наружности диссидента. Одет он был как джентльмен, имел римские черты, крупные и четкие, кожа в лучах солнца отливала бронзой.

Незнакомец держался прямо, разговаривал спокойно. Главным свойством, его отличавшим, было достоинство. Очевидно, он достиг уже среднего возраста, перейдя рубеж, после которого облик мужчины на дюжину годов обретает естественную неизменность, а облик женщины — неизменность искусственную. Тридцать пять и пятьдесят лет — крайние вехи этой поры. Незнакомец мог стоять близ одной из них или же между ними.

Следует отметить, что если сорокалетний мужчина женат, он, как правило, склонен щедро одаривать мимолетными взглядами всех маломальски миловидных особ женского пола, каких только встречает на своем пути. Вероятно, для отца семейства флирт подобен игре в вист на интерес: как ни ляжет карта, платить не придется, и сознание этого благоприятствует живейшей симпатии к дамам. Батшеба твердо заключила, что равнодушный незнакомец холост.

Едва торг закончился, она поспешила к Лидди, ожидавшей ее возле желтой двуколки, которая привезла их в город. Лошадь запрягли, покупки — сахар, чай, ткани для занавесей — уложили сзади. Цвет, размер и очертания этих свертков неуловимо свидетельствовали о том, что теперь

это не товар бакалейщика или торговца мануфактурой, а имущество молодой помещицы.

— Поздравь меня, Лидди, — сказала Батшеба, когда повозка тронулась. — Дело сделано. Я не прочь приехать сюда еще. В другой раз будет легче, ведь теперь все ко мне попривыкли. Хотя сперва это было похуже свадьбы — с ног до головы меня оглядели.

— Так я и знала, — ответствовала Лидди. — Мужчины большие негодники по части того, чтобы глаза пялить.

— Нашелся один разумный, который не стал тратить времени на этакий вздор, — сказала хозяйка, подобрав слова, из которых не следовало бы слишком явно, что она уязвлена. — Хорош собой, осанист. Лет, наверное, около сорока. Не знаешь, кто бы это мог быть?

Лидди не знала.

— А ты подумай хорошенько! — произнесла Батшеба с досадой.

— Ума не приложу! Да и зачем вам, коли он меньше других на вас глядел? Вот если бы больше, это другое дело!

Хозяйка остро ощутила нечто противоположное тому равнодушию, к какому призывала ее служанка, и между женщинами воцарилось дол-

гое молчание. Лишь когда их двуколку обогнал невысокий экипаж, запряженный великолепной породистой лошадью, Батшеба воскликнула:

— Да вот же он!

Лидди поглядела вслед проехавшему мимо.

— Так это фермер Болдвуд! Ну да, он! Тот, которого вы давеча не приняли.

— Ах, фермер Болдвуд… — пробормотала Батшеба, глядя вслед удалявшейся повозке.

Он проехал, устремив безучастный взор вдаль, и ни разу не повернул головы. Словно прелестной соседки со всеми ее чарами вовсе и не было.

— Мужчина интересный, — заметила Батшеба. — Ты не находишь?

— Еще бы! Все это находят, — сказала Лидди.

— Хотела бы я знать, отчего мистер Болдвуд так замкнут и ко всему безучастен. Отчего кажется далеким от всего, что видит.

— Доподлинно это неизвестно, но люди говорят, будто он горькую обиду претерпел, когда был еще молод и весел. Подруга его обманула.

— Люди вечно говорят такое, но мы-то знаем, что на деле женщины редко обманывают мужчин. Гораздо чаще наоборот. Полагаю, он по природе своей так сдержан.

— Да, мисс. Не иначе как по природе.

— И все ж это было бы романтично — думать, будто ему, бедняжке, разбили сердце. Да может, так оно и есть?!

— Так и есть, мисс, не извольте сомневаться. Чую, что так и есть.

— Однако, думая о людях, мы часто придерживаемся крайних мнений. А ведь может быть, что он середина — немного то и немного другое: обманут женщиной и по натуре замкнут.

— Ах нет, мисс! Не может быть, чтобы он был серединою!

— Именно это вероятнее всего.

— Правильно вы говорите, мисс. Вероятней всего. Помяните мое слово, мисс: таков он и есть.

Глава XIII
Гадание на Святом Писании. Карточка к Валентинову дню

Был ранний вечер тринадцатого февраля. После воскресного обеда Батшеба, за неимением более подходящей компании, попросила Лидди посидеть с нею. Час, когда закрываются ставни и зажигаются свечи, еще не настал, и комнаты окутывала унылая полутьма. Сам воздух фермерского дома казался так же стар, как пропахнувшие плесенью стены. Один угол заставленной мебелью залы был холоднее другого, поелику днем здесь не топили. Новое пианино Батшебы (точнее сказать, «новоприобретенное», ибо со времени его изготовления минуло немало лет) стояло на неровном полу, словно какая-то перекошенная глыба, ожидая, что вечерние тени скроют уродливые углы.

Лидди уместно было бы уподобить неглубокому ручейку, вечно подернутому рябью. Ее общество, вовсе не грозившее излишним напряжением мысли, вполне способствовало упражнению последней. На столе лежал томик Библии в ста-

ринном кожаном переплете. Взглянув на него, Лидди произнесла:

— Не доводилось ли вам, мисс, гадать по Священному Писанию на жениха?

— Не говори чепухи, Лидди! Неужто ты в это веришь?

— Многие говорят, что такое гадание правдиво.

— Глупости, дитя!

— А уж как сердце колотится, когда ворожишь!.. Кто-то верит, кто-то нет. Я верю.

— Ну, будь по-твоему, — сказала Батшеба и нетерпеливо вскочила с кресла, проявив непоследовательность, какую мы порой без стеснения выказываем перед теми, кто стоит ниже нас. — Поди принеси ключ от передней двери.

Возвратившись с ключом, Лидди промолвила:

— Только вот воскресенье нынче. Боюсь, это грех.

— Что можно в будний день, можно и в воскресный, — изрекла хозяйка таким тоном, который сам по себе служил доказательством ее правоты.

Книгу раскрыли. Листы потемнели от времени. Те страницы, где напечатаны были часто читаемые стихи, порядком истрепались оттого, что прошлые владельцы, чтецы не слишком

искусные, водили по строчкам пальцами. Батшеба отыскала в Книге Руфи стих, обыкновенно используемый для ворожбы[22]. Возвышенные словеса смутили и взволновали гадательницу. То была встреча древней Мудрости с воплощенным Безрассудством. Воплощенное Безрассудство зарделось, однако, не отказавшись от своего намерения, положило железный ключ на раскрытую страницу. В этом месте уже темнело пятнышко ржавчины, свидетельствовавшее о том, что старинный томик не впервые использовался подобным образом.

— Теперь сиди смирно и молчи, — сказала Батшеба.

Стих был произнесен, книга повернулась, сделав оборот. Гадательница вновь залилась стыдливым румянцем.

— На кого вы гадали? — спросила Лидди, не совладав с любопытством.

— Этого я тебе не скажу.

---

[22] Примечания: 22

Старинное гадание по Библии и ключу заключается в следующем. В книге отыскивается определенный стих, например: «…Куда ты пойдешь, туда и я пойду…» (Руфь, 1:16). На это место помещается бородка ключа так, чтобы кольцо осталось снаружи. Библия закрывается и перевязывается шнурком. Девушка берет книгу за выступающий конец ключа и вслух произносит стих. Если при произнесении Библия сдвинется или упадет, молодой человек, чье имя было загадано, и есть суженый девушки.

— А заметили вы, мисс, как мистер Болдвуд сегодня держал себя в церкви? — не отступала служанка, показывая новым вопросом, что догадывается, каков мог бы быть ответ на предыдущий.

— Вовсе нет, — сказала Батшеба тоном равнодушного спокойствия.

— Его скамья прямо против вашей, мисс.

— Я знаю.

— И неужто не заметили, как он себя держал?

— Разумеется, нет, говорю же.

Лидди приняла кроткий вид и поджала губки, вознамерившись отныне хранить молчание. Батшеба пришла в замешательство, ибо не ждала, что служанка и вправду замолчит. Теперь госпожа сама была принуждена спросить:

— Так как он себя держал?

— За все богослужение ни разу головы не повернул, чтобы на вас посмотреть.

— А с чего бы ему это делать? — произнесла Батшеба в раздражении. — Я его не просила!

— Оно конечно, только на вас все глядели. Странно было, что он один не глядел. Ну да это на него похоже. Богатый и благородный — ни до кого ему дела нет.

Хозяйка погрузилось в молчание, которым

желала сказать, что ее соображения слишком глубокомысленны для понимания Лидди, и дело вовсе не в том, что ей, Батшебе, просто нечего ответить.

— Ах, Боже! — воскликнула она наконец. — Я совсем позабыла о карточке к Валентинову дню, которую купила вчера!

— Вы купили карточку? Для кого? Для мистера Болдвуда?

Предположение это было ошибочно, однако в глубине души Батшеба признавала, что оно, единственное из многих возможных, не лишено смысла.

— Да нет же, для маленького Тедди Коггена. Я обещала привезти ему из города гостинец. То-то он обрадуется! Будь добра, Лидди, принести мне мой письменный прибор. Я сделаю надпись.

Батшеба извлекла из ящичка открытку с великолепным тисненым узором, купленную в прошлый базарный день в лучшей писчебумажной лавке Кестербриджа. В середине открытки имелось овальное окошко, оставленное пустым, чтоб отправитель собственной рукой начертал нежные слова, более соответствующие случаю, нежели общая фраза, которую бы мог поместить здесь печатник.

— Что мне написать? — спросила Батшеба.

— Я бы так написала, — с готовностью откликнулась Лидди, — «Розочка алеет, синеет василек, песня душу греет — точь-в-точь как ты, дружок!»

— Недурно, — согласилась Батшеба. — Для веселого краснощекого малыша эти слова в самый раз подойдут.

И она вывела нехитрые стишки мелкими отчетливыми буквами, после чего поместила карточку в конверт и снова обмакнула перо в чернила, чтобы надписать адрес.

— До чего потешно было бы послать эту открытку старому дурню Болдвуду! Вот уж он подивился бы! — сказала неугомонная Лидди, приподняв бровки.

При мысли о том, сколь солидна и уважаема жертва задуманной ею шалости, она ощутила нечто среднее между безудержной веселостью и страхом. Батшеба всерьез задумалась. Болдвуд досадил ей тем, что он, подобно пророку Даниилу, упорно преклонял колена, обращаясь лицом на восток, хотя здравый смысл велел ему, по примеру прочих, поклониться идолу ее красоты. От него ничего не требовалось, кроме восхищенного взгляда, который полагался молодой фермерше как владычице здешних мест. Не то чтобы

своенравие Болдвуда по-настоящему беспокоило Батшебу, и все же ей было чуточку обидно, что самый достойный мужчина прихода не глядит в ее сторону, а деревенская девушка Лидди об этом рассуждает. Посему, когда Лидди предложила подшутить над фермером, Батшеба ответила скорее обеспокоенно, чем возмущенно:

— Едва ли он найдет такую выходку забавной.

— Переполошится до смерти! — с уверенностью произнесла служанка.

— А и в самом деле, — уступила госпожа. — Вовсе не обязательно дарить открытку Тедди. Иногда он бывает такой озорник!

— И не говорите, мисс!

— Давай кинем монетку, — сказала Батшеба скучающим тоном. — Впрочем, нет. Подбрасывать деньги в воскресенье — приманивать дьявола.

— А вы подбросьте сборник гимнов. И греха не будет.

— Верно. Упадет открытым — пошлю конверт Болдвуду, закрытым — Тедди. Нет, первое вероятней второго. Пускай будет наоборот.

Книга, трепеща страницами, взлетела и приземлилась захлопнутой. Батшеба, зевнув, взяла перо и с невозмутимым видом адресовала посла-

ние Болдвуду.

— Теперь, Лидди, зажги свечу. Какую печать мы возьмем? С головой единорога? Это ни о чем не говорит. А здесь что? Два голубка? Нет. Нужно нечто необычное, верно, Лидди? Вот печатка с каким-то изречением. Прочесть сейчас не могу, но помнится мне, оно остроумно. Попробуем эту, а если не подойдет, возьмем другую. — Запечатав конверт красным сургучом, Батшеба поднесла его к глазам, чтобы разобрать слова. — Превосходно! — весело воскликнула она. — От такого даже пастор расхохочется с причетником вместе!

Лидди нагнулась над печатью и прочитала: «Женись на мне!»

Письмо в тот же вечер свезли в кестербриджскую почтовую контору. Оттуда его направили обратно в Уэзербери и уже на следующее утро вручили адресату. Дело было сделано — без раздумий, со скуки. Играть в любовь Батшеба умела недурно, но о том, каково ее испытывать, не ведала.

Глава XIV
Действие письма. Заря

Вечером Валентинова дня, когда смерклось, Болдвуд, по обыкновению, собрался отужинать у камина, в котором ярко горели поленья. На каминной полке стояли часы, увенчанные фигурой орла с распростертыми крыльями, а между ними помещалось присланное Батшебой письмо. На сей предмет Болдвуд глядел до тех пор, покуда большая красная печать не стала расплываться у него перед глазами. Он ел и пил, вертя в голове слова, оттиснутые на сургуче, хотя и не мог видеть их, сидя за столом.

«Женись на мне!» Дерзкое требование было подобно прозрачной субстанции, которая сама по себе бесцветна, но окрашивается цветами ближайших предметов. В безмолвии Болдвудовой гостиной, где все мрачно и где целую неделю господствовал дух пуританского воскресенья, послание Батшебы утратило первоначальное легкомыслие, впитав в себя торжественную серьезность, царившую кругом.

С самого утра, когда Болдвуду вручили письмо,

он ощущал, как нарушается симметричность его существования и чаша весов клонится на сторону чистой страсти. Усмотрев в ничтожно малом предвестие необъятного, он взволновался, как Колумб, который, войдя в воды Саргассова моря, приметил пучки водорослей и подумал, что земля уже близка.

К написанию письма отправительницу должна была побудить некая причина. Разумеется, Болдвуд не мог знать или хотя бы предполагать, насколько эта причина незначительна. Ум, введенный в заблуждение, не понимает, что тот, кому он обязан этим своим состоянием, может действовать, повинуясь внутреннему зову, или же просто идти на поводу обстоятельств — при взгляде со стороны итог один и тот же. Привести вереницу событий в движение — совсем не то, что направить ее, уже идущую, в нужное русло, однако человек, сбитый с толку, не видит этого различия.

Перед тем как лечь в постель, Болдвуд поместил загадочный конверт в углу зеркальной рамы. Он не забывал об открытке, даже повернувшись к ней спиною. Никогда прежде с фермером Болдвудом такого не случалось. Те же чары, какие заставляли его думать, будто письмо присла-

но с определенным намерением, не позволяли ему усмотреть в этом поступке дерзость. Он в который раз устремил взгляд на конверт, и в таинственном воздухе ночи словно бы возникла сама отправительница — женщина, чья незнакомая рука нежно скользила по бумаге под присмотром незнакомых глаз, выводя имя Болдвуда. Воображение этой женщины, должно быть, в те минуты его рисовало. Только к чему бы ей о нем думать? Когда перо выписывало буквы, ее губы — красны они или бледны? пухлы или сморщенны? — сложились в некую линию. Какое чувство они выражали?

Дополняя написанное, образ пишущей представлял собою лишь очертание с сокрытым лицом, и такой портрет был до некоторой степени правдив, ведь оригинал уже видел сны, позабыв и о любви, и обо всех письмах на свете. Стоило Болдвуду погрузиться в дремоту, как черты незнакомки обретали некоторую ясность; просыпаясь, он видел лишь письмо, навеявшее ему эту грезу.

Ночь выдалась лунная, однако свет лился в спальню не вполне обыкновенно: бледные лучи, отраженные снегом, ложились на потолок, освещая углы, которым следовало оставаться

темными, и отбрасывая тени туда, где надлежало быть свету.

Болдвуда взволновало не столько содержание открытки, сколько само то, что она ему прислана. Внезапно пришла мысль проверить, не приложено ли к письму чего-нибудь, им не замеченного. Он вскочил, вынул карточку и при одном лишь странном свете луны изучил внутренность конверта. Конверт был пуст. В сотый раз Болдвуд поглядел на печать и вслух произнес: «Женись на мне».

Возвращая письмо на прежнее место за рамою зеркала, важный и сдержанный йомен мельком увидел отражение своего лица. Губы были плотно сжаты, а широко раскрытые глаза глядели потерянно. Раздосадованный собственной нервностью, Болдвуд опять лег.

Вскоре стало светать. В ранний час, когда небо, хотя и ясное, лило на землю меньше света, чем в полдень пропускают сквозь себя густые облака, фермер встал, оделся и, сойдя по лестнице, зашагал на восток. Приблизившись к ограде одного из своих полей, он облокотился о перекладину ворот и огляделся. Солнце поднималось медленно, как обыкновенно бывает в это время года. Небо, лиловое в вышине, на севере отливало свинцом,

а на темном востоке уже показалась половина солнца. Словно покоясь на заснеженном гребне холма, оно не распространяло вокруг себя лучей и потому походило на красный безъязыкий огонь над белым камнем очага. Эта картина в той же мере напоминала закат, в какой детство напоминает старость.

В других сторонах небо до того сливалось с заснеженной землей, что не вдруг можно было различить горизонт. Однако и здесь внимательный глаз видел уже отмеченную нами странную перемену, при которой яркий свет, присущий небу, ложится на землю, а земные тени падают на небо. На западе висела убывающая луна. Побледнев, она сделалась похожа на тусклую зеленовато-желтую медь.

Болдвуд стоял, безразлично отмечая про себя, что мороз покрыл снег твердой блестящей коркой, которая сверкает в красном свете зари, точно полированный мрамор, что склон холма, укрытый ровным бледным одеялом, кое-где ощетинился пожухлыми травинками, вмерзшими в лед и оттого похожими на витиеватые украшения венецианского стекла, что следы лапок, оставленные птицами на мягком руне первого снега, теперь застыли, хотя, вероятно, ненадолго.

Какой-то приглушенный шум, доносящийся с дороги, отвлек Болдвуда от созерцания. Обернувшись, фермер увидел почтовую тележку — нелепое двухколесное сооружение, настолько легкое, что его едва не уносило ветром. Почтальон протянул руку с письмом, которое Болдвуд тут же выхватил и распечатал, думая, будто это новая анонимная записка. Таково наше представление о вероятности вещей: зачастую оно сводится к простому предчувствию повторения уже случившегося.

— Сдается мне, сэр, письмо не для вас, — сказал почтальон. — Видать, оно для вашего пастуха, хоть имя и не написано.

Болдвуд поглядел на конверт: «Новому пастуху на ферму в Уэзербери, близ Кестербриджа».

— Ах, это и в самом деле не мне. И не моему пастуху, а пастуху мисс Эвердин, Габриэлю Оуку. Передай письмо ему и скажи, что я вскрыл конверт по ошибке.

В это мгновение на гребне холма возникла фигура, темневшая на фоне огненного неба, как черный фитиль в свечном пламени. Она начала энергично передвигаться с места на место, перенося квадратные предметы, пронзаемые лучами солнца. Рядом мелькала еще одна фигура — ма-

ленькая, четвероногая. То были Габриэль Оук и его пес Джордж, а передвигаемые предметы были загородками пастбища.

— Погоди-ка, — сказал Болдвуд почтальону. — Вон он там, на холме. Я сам вручу ему письмо.

Послание, адресованное другому лицу, теперь казалось фермеру не просто конвертом со вложенной запиской, но некоей возможностью. Исполненный решимости, он зашагал по заснеженному полю. Габриэль тем временем спустился с холма и пошел вправо — по всей видимости, к солодовне Уоррена, крышу которой уже тронуло небесное свечение. Болдвуд последовал за пастухом.

Глава XV
Встреча утром. Снова письмо

Оранжевые и красные лучи восходящего солнца не проникали в солодовню, освещаемую только очажным огнем того же цвета. Хозяин соснул несколько часов, не раздеваясь, и теперь, сидя за трехногим столом, уписывал завтрак, состоявший из хлеба с беконом. Поедалось это кушанье по старинной методе, то есть безо всякой тарелки: хлеб помещался прямо на стол, поверх ломтя помещалось мясо, поверх мяса намазывался слой горчицы и сыпалась щепотка соли. Сие сооружение надлежало резать карманным ножом, чтобы лезвие касалось дерева, и отправлять отделенные куски в рот, накалывая их на острие.

Отсутствие зубов не было для солодовника существенной помехой в перемалывании пищи. Их он лишился так давно, что прекрасно умел управляться при помощи одних лишь десен, которые сделались очень тверды. Приближение старца к гробовой доске напоминало гиперболу: чем ниже идет кривая, тем более пологим ста-

новится ее спуск, и мы уже подозреваем, что она вовсе никогда не пересечет горизонтальную ось.

В золе запекалась картошка. Рядом булькал горшочек с варевом из обугленного хлеба, которое именовалось «кофием». Все это готовилось на случай прихода гостей, ибо солодовня Уоррена служила в деревне чем-то вроде клуба и в этом качестве составляла конкуренцию таверне.

В самом деле, дверь вскоре отворилась, и от порога донесся голос:

— Ну и дела, скажу я тебе! После такого погожего денька возьми да и ударь мороз!

Генери Фрэй направился к огню, топая, чтобы очистить ноги от снега. То, как он вошел и заговорил, не поразило солодовника внезапностью, поскольку в этих краях приветственные фразы отнюдь не считались необходимыми. Пользуясь той же свободой, какую позволил себе гость, хозяин, вместо того чтобы поспешить с ответом, молча насадил кусок сыра на нож, точно мясо на вертел.

На Генери Фрэе было шерстяное пальто коричнево-серого цвета, из-под которого примерно на фут выглядывали полы белого кафтана. Человеку, привыкшему к тому, как одеваются уэзерберийские жители, это показалось бы нисколько не

удивительным, вероятно, даже нарядным и, несомненно, удобным.

Вскоре после Генери Фрэя явились Мэтью Мун, Джозеф Пурграсс и другие возчики. Они пришли прямо из конюшен, где трудились с четырех часов утра — потому-то при них были теперь большие ручные фонари.

— И хорошо ли у ней идет дело без управляющего? — осведомился солодовник.

Генери Фрэй покачал головою и, собрав кожу на лбу узлом, скривил рот в горькой улыбке.

— Пожалеет она, что его прогнала, — как пить дать пожалеет! Бенджи Пеннивейз был чистый Иуда Искариот: ни стыда ни совести. Но без него хозяйке никак не управиться. — Генери немного помолчал, три или четыре раза качнув головою из стороны в сторону, после чего прибавил: — Хоть из кожи вон вылези!

Все присутствовавшие восприняли последние слова как завершение некоей речи, мысленно произнесенной Генери во время покачивания головы.

— Все пропадет, и мы пропадем. Спорить с этим — все равно что говорить, будто на столах джентльменов мяса не водится, — сказал Марк Кларк.

— Своенравная девица! Ничьего совета не слушает. Тщеславие и гордыня многих сгубили! Уж до чего мне тяжко становится, как об этом подумаю!

— Ох, Генери! Ты и впрямь убиваешься! — произнес Джозеф Пурграсс с чувством, и на его лице появилась напряженная сострадательная улыбка.

— Никому не повредит иметь в голове то, что запрятано у нее под шляпкой, — сказал, выставляя вперед единственный зуб, Билли Смоллбери. — Слыхали, какие складные речи она ведет? Верно, кой о чем понятие имеет.

— Оно конечно, да только чтобы совсем без управляющего… Неужто я этого места не заслужил? — Генери устремил отрешенный взгляд вдаль, словно видел невзошедшую звезду своего гения на блузе Билли Смоллбери. — Да, таков, стало быть, мой жребий. Как верить Писанию, ежели за добрые дела человек не получает награды, а получает один только подлый обман?!

— Это ты напрасно, — сказал Марк Кларк. — Господь — джентльмен и слово держит.

— Что посеешь, как говорят, то и пожнешь, — согласился Джозеф Пурграсс.

Повисла короткая пауза наподобие антракта.

Генери повернулся, чтобы погасить фонари — день разгорался, и они теперь были не нужны даже в солодовне, где имелось всего лишь одно застекленное отверстие.

— Ума не приложу, — сказал хозяин, — к чему фермерше клавесин, цимбалы и это… как бишь его… пианино? Она новое пианино купила — так Лидди говорит.

— Купила фортепьяну?

— Ага, видать, дядино добро для нее негожее. Почти все в доме поменяла. Теперь там кресла на толстых ножках для тучных людей, а для худых — на тонких гнутых. Да еще здоровенные часы над камином.

— Картины в этаких причудливых рамах…

— Длинные скамейки, у которых конский волос под обивкою и с обоих концов подушки. Чтобы подвыпившему человеку удобно было прилечь, — прибавил мистер Кларк. — Для тех, кто лицом пригож, зеркала имеются, а для грехо-водников лживые книжки.

Снаружи послышались громкие твердые шаги. Дверь приотворилась дюймов на шесть, и чей-то голос спросил:

— Соседи, найдется ли у вас место для нескольких новорожденных ягнят?

— А то как же! — ответствовал сельский конклав.

Дверь распахнулась так, что ударилась о стену и вся задрожала. На пороге возник мистер Оук: от лица его шел пар, лодыжки были обмотаны соломенными жгутами для защиты от снега, талию опоясывал поверх кафтана кожаный ремень. Пастух — воплощение силы и здоровья — держал на плечах четырех ягнят, распростершихся в самых удивительных позах, а позади с горделивым видом стоял пес Джордж, перевезенный в Уэзербери из Норкомба.

— Что, фермер Оук, хорошо ли нынче ягнятся овцы? — спросил Джозеф Пурграсс.

— Ягнятся, работы хватает. По два раза на дню промокаю до нитки — то под дождем, то под снегом. И так уж две недели. Сегодня ночью мы с Кайни вовсе глаз не сомкнули.

— Слыхал я, многие матки по двое враз приносят?

— Да, много таких, даже слишком. Странное нынче ягнение. Думаю, к Благовещению нам не управиться.

— О прошлом годе за неделю до поста все уж закончилось, — заметил Джозеф.

— Давай остальных, Каин, — сказал Габри-

эль, — а потом ступай к маткам. Я скоро.

Кайни Болл, молоденький парнишка с веселыми глазами и приоткрытым маленьким ртом, вышел вперед, положил на пол двух ягнят и удалился, как ему было велено. Оук спустил тех четверых, которых нес сам, с неестественного для них возвышения, обернул всех новорожденных соломой и положил у печи.

— В Норкомбе у меня была хижина, где я мог держать приплод. А здесь такой нет. Очень хлопотно носить слабеньких в дом. Если бы не ты, солодовник, не знаю, что бы я и делал в такой холод! А сам-то как поживаешь?

— Ничего, пастух. Не болею, не горюю. Но и не молодею.

— Понятно.

— Сядь, пастух Оук, — промолвил старец. — Каковы были дела в Норкомбе, когда ты ездил туда за собакою? Хотел бы я повидать знакомое место, только, почитай, ни единой души там не узнаю.

— Да, солодовник, деревня сильно переменилась.

— Правда ли, что снесли деревянную сидродельню Дики Хилла?

— О да, давно. И дом Дики, который рядом стоял.

— Вот оно как?!

— А еще выкорчевали старую Томпсонову яблоню, которая одна давала яблок на две большие бочки сидра.

— Неужто выкорчевали?! Ох, в смутные времена мы живем!

— А помнишь ли старый колодец посреди деревни? Но его месте теперь железная помпа с большим каменным корытом.

— О Боже, Боже! Как жизнь народа меняется! Вот и здесь чехарда творится. Сейчас только мы говорили, как наша миссис чудит.

— А что вы говорили о ней? — спросил Оук и, внезапно разгорячась, повернулся к остальным.

— Да вот бранили ее почтенные люди за гордыню и тщеславие, — ответил Марк Кларк. — А по мне, так пускай себе делает, что ей заблагорассудится. С этаким-то личиком! Губки у ней — чисто вишня! — При последних словах заступник Батшебы громко причмокнул своими собственными губами.

— Марк! — сурово одернул его Габриэль. — Ты свое празднословие брось! Не смей говорить о мисс Эвердин в таком бесстыжем тоне! Я этого не потерплю, слышал?

— Да Бог с тобой! — в сердцах ответил мистер

Кларк. — Неужто я не понимаю, что она мне не чета!

— Стало быть, это ты против нее говорил? — обратился Габриэль к Джозефу Пурграссу, сердито на него поглядев.

— Нет, нет, ни словечка! Сказал только, что мы радоваться должны, потому как она и похуже могла оказаться! — пролепетал Джозеф, трясясь и заливаясь краскою от страха. — Это Мэтью…

— Мэтью Мун, что ты сказал? — вопросил Оук.

— Я? Да я и червяка не обижу! — встревожился Мэтью Мун. — Червяка, который землю роет…

— Однако кто-то что-то все-таки говорил, — произнес Габриэль. В обычное время это был тишайший из мужей, однако теперь он поднялся на защиту своей госпожи с быстротою и энергией истинного воителя. — Поглядите-ка вот сюда, соседи! — Оук поднял длань и с математическою точностью опустил кулак, немного уступавший в размере хорошей буханке хлеба, на середину стола, за которым сидел солодовник. Стукнув по дереву раз-другой для пущей доходчивости, Габриэль продолжил: — Первый человек в приходе, про кого я услышу, что он сказал о нашей хозяйке дурное, узнает, какова эта рука на запах и на вкус! Или я голландец, а не англичанин!

Кулак Оука вновь поднялся и опустился с такой сокрушительной силой, с какою Тор[23], должно быть, испытывал свой молот. По лицам собравшихся всякий смог бы прочесть, что ничье воображение даже на миг не представило Габриэля уроженцем Страны низин. Все лишь горько пожалели о разногласии, вынудившем его применить такую фигуру речи.

— Так я об том и говорил! — вскричал Марк Кларк.

Заслышав, что хозяин сердится, пес Джордж поднял голову и, хоть он не вполне хорошо понимал по-английски, зарычал.

— Остынь, пастух, и сядь, — сказал Генери с укоризненным миролюбием благочестивого христианина.

— Говорят, пастух, ты человек хороший и умный, — встревоженным голосом произнес Джозеф Пурграсс из угла за кроватью солодовника, куда он предпочел удалиться ради предосторожности. — Должно статься, великая удача — большой ум иметь. — Джозеф взмахнул рукою, словно изображая некое возвышенное состояние духа. — Мы бы тоже хотели умными быть, верно

---

[23] Примечания: 23
Тор — германский бог-громовержец.

я говорю, соседи?

— А то как же! — подхватил Мэтью Мун и, боязливо поглядев на пастуха, тихонько засмеялся в подтверждение своего дружелюбия.

— Кто сказал вам, что я умен? — спросил Оук.

— Слухом земля полнится, пастух, — ответил Мэтью. — Говорят, ты время по звездам определяешь не хуже, чем мы по солнцу и луне.

— Да, в этом я смыслю немного, — сдержанно признал Габриэль.

— А еще поговаривают, что ты часы солнечные мастеришь и имя на табличке можешь написать: почти как у гравера получается, с красивыми цветами и длинными завитушками. Здорово свезло тебе, пастух, что ты такой умный. Прежде Джозефу Пурграссу поручали на фургоне имя хозяина выводить. Так он, когда писал: «Фермер Джеймс Эвердин», без конца путал, куда «э», куда «е» глядеть должно. Так ведь, Джозеф?

Джозеф тряхнул головой в знак согласия.

— Вот как ты писал, верно? — спросил Мэтью, чертя кнутовищем по грязному полу, и с чувством продолжил: — Ох, и сердился же фермер Эвердин, ежели видел, что его имя наизнанку выворотили! Дурнем тебя бранил, да, Джозеф?

— Бранивал, — кротко подтвердил Пурграсс. —

Однако ж в том не только моя вина была. «Э» и «е» — до того подлые буквы! Чтобы не путать, какая куда смотрит, память нужна, а я не больно-то памятлив.

— Горемыка ты, Джозеф! От каких только напастей не страдаешь!

— Такова моя доля, и я за нее Богу благодарен, ведь могла быть и хуже. А тебя, пастух, нашей миссис следовало, по моему разумению, управляющим назначить. Ты для этой должности как нельзя лучше подходишь.

— Не буду скрывать, — откровенно признался Габриэль, — я и сам надеялся на это место. Но мисс Эвердин, если желает, вольна сама фермою управлять, а меня держать простым пастухом.

Оук медленно вздохнул, грустно поглядел на огонь и погрузился, очевидно, в не самые радужные мысли. Тем временем почти безжизненные ягнята немного отогрелись и теперь пищали и барахтались, как будто поняли наконец, что родились. Когда их блеяние зазвучало довольно-таки внушительным хором, Оук снял с огня жестянку, налил из нее молока в маленький чайник, извлеченный из кармана, и стал поить тех новорожденных, которых еще рано было возвращать к матерям. Питью из носика беспомощные созда-

ния обучились с поразительною быстротою.

— Я слыхал, она даже шкурок мертвых ягнят тебе не отдает, — снова заговорил Джозеф Пурграсс, сочувственно наблюдая манипуляции, которые проделывал Оук.

— Да, шкурок я себе не беру.

— Тебя, пастух, держат в черном теле, — не унимался Джозеф, надеясь сделать Габриэля своим союзником, чтоб и тот тоже начал жаловаться. — Думается мне, у нее на тебя зуб — не иначе.

— Вовсе нет, — поспешно ответил Оук и вздохнул, причем вздох этот едва ли был вызван сожалением о ягнячьих шкурках.

Прежде чем кто-либо успел произнести следующую фразу, на порог упала тень. Мистер Болдвуд, войдя, приветствовал каждого кивком, выражавшим нечто среднее между дружелюбием и снисходительностью.

— Оук! Я рассчитывал найти тебя здесь, — сказал он. — Десятью минутами ранее я повстречал почтовую тележку, и мне вручили письмо. Я распечатал его, не прочтя адреса. Полагаю, оно для тебя. Прошу меня извинить за ошибку.

— Что вы, мистер Болдвуд! Это ничего. Совсем ничего, — с готовностью отозвался Габриэль.

Корреспонденции Оук ни с кем не вел и тем

более не ждал такого письма, которое следовало бы таить от соседей. Потому он тут же раскрыл конверт и, лишь отойдя чуть в сторону, прочел то, что было написано незнакомою рукой.

Дорогой друг!

Имени вашего я не знаю, но надеюсь, что до вас дойдут эти строки, в коих выражена моя к вам благодарность за помощь, оказанную мне в тот вечер, когда я безрассудно покинула Уэзербери. Возвращаю вам также деньги, которые у вас одолжила. Простите, что не беру их в подарок. Все завершилось хорошо: я с радостью могу сообщить о скором бракосочетании с молодым человеком, некоторое время за мною ухаживавшим. Это сержант Трой из Одиннадцатого драгунского гвардейского полка, расквартированного в этом городе. Жених мой, я знаю, не позволил бы мне ни от кого принять деньги кроме как в долг, ведь он человек чести, природный дворянин!

Буду вам признательна, дорогой друг, ежели вы покамест не станете никому рассказывать о моем письме. Мы хотим удивить жителей Уэзербери, явившись в деревню мужем и женою, — мне, право, немного совестно признаваться в этом человеку почти незнакомому. Сержант вырос в этих краях. Еще раз спасибо вам за вашу

доброту.

Засим остаюсь ваша искренняя доброжелательница,

Фэнни Робин

— Вы читали это, мистер Болдвуд? — спросил Габриэль. — Если нет, то прочтите. Я знаю, что вы тревожитесь о Фэнни Робин.

Фермер прочел письмо, и его лицо сделалось печальным.

— Ах, Фэнни, бедная Фэнни! Тот счастливый исход, которого она ожидает, еще не настал и может не настать вовсе. Ей бы следовало это понимать. А обратного адреса она не указала.

— Что за человек этот сержант Трой?

— Хм… Боюсь, он не тот, на кого можно положиться в подобных делах, — пробормотал Болдвуд. — Малый он неглупый и на многое способен. Не откажется от интрижки. Его мать, француженка, служила в гувернантках. Поговаривали, что между нею и покойным лордом Северном была тайная связь. Замуж она вышла за бедного врача, и вскоре у нее родился сын. Пока им помогали деньгами, все шло хорошо. Но едва юноша успел подрасти, его благодетели умерли. Тогда он получил место помощника в адвокатской конторе в Кестербридже и, пожалуй,

выбился бы в люди, если бы не безумная затея с военною службой. Не верится мне, что малышка Фэнни в самом деле удивит нас так, как ей бы хотелось. Глупая, глупая девочка!

Внезапно дверь отворилась, и в солодовню вбежал запыхавшийся Кайни Болл, чей открытый красный рот напоминал раструб грошовой дудочки. Парень шумно закашлялся, изо всех сил раздувая щеки.

— Каин Болл! — строго произнес Габриэль. — Сколько раз тебе говорить, чтобы ты так не носился! Теперь вот дышать не можешь!

— Ох, мистер Оук… я… мне воздух не в то горло пошел… вот и кашляю… кхе-кхе!

— Так зачем же ты явился?

— Сказать вам… — подпасок в изнеможении прислонил свою молодую фигуру к дверному косяку, — чтоб вы скорее шли. Еще две овцы по двойне принесли — вот в чем дело, пастух Оук!

— Так-так! — пробормотал Габриэль, на время прогоняя от себя мысли о бедной Фэнни. — Ты молодец, Каин, что прибежал и позвал меня. Жди к празднику большой кусок сливового пудинга. А сейчас вернемся к стаду, только сперва, Кайни, принеси-ка дегтю. Пометим этих шестерых, и дело сделано.

Отыскав в одном из бесчисленных карманов клеймо, Оук обмакнул его в горшочек с дегтем и запечатлел на бедрах новорожденных барашков литеры «Б.Э.» — инициалы той, о которой с таким наслаждением размышлял. Для остальных жителей Уэзербери и окрестностей эти буквы означали всего-навсего, что ягнята принадлежат не кому иному, как фермерше Батшебе Эвердин.

— Теперь, Кайни, бери своих двоих, и пойдем. Доброго вам дня, мистер Болдвуд.

Габриэль взвалил себе на плечи шестнадцать длинных ножек и четыре маленьких тела, которые сам же принес, и зашагал с ними к ягнячьему загону, находившемуся поблизости. Если получасом ранее новорожденные были едва живы, то нынешнее их состояние приятно отличалось от прежнего.

Болдвуд решил последовать за пастухом, но, заколебавшись, поворотил назад, после чего опять передумал и все же зашагал вверх по склону холма. Приблизившись к загону, фермер достал бумажник и раскрыл его так, чтобы можно было видеть письмо — письмо Батшебы.

— Я хотел спросить тебя, Оук, — произнес Болдвуд, будто бы невзначай. — Не знаешь ли ты, чей это почерк?

Габриэль, покраснев, тут же ответил:

— Мисс Эвердин.

Сперва кровь прилила к лицу пастуха лишь оттого, что он произнес дорогое сердцу имя, но секунду спустя его встревожила новая мысль: письмо было, конечно же, анонимным, иначе адресат не стал бы спрашивать об отправителе. Выходит, он, Оук, выдал свою госпожу. Болдвуд, однако, истолковал замешательство пастуха не совсем верно. Подобно многим впечатлительным натурам, фермер имел склонность во всякой беде подозревать себя, не слишком полагаясь на хладнокровные рассуждения.

— В моем вопросе нет ничего дурного, — промолвил он с серьезностью, которая казалась не вполне уместной в разговоре об открытке к Валентинову дню. — Такие карточки для того и посылаются, чтобы получатель тайком выспрашивал, от кого письмо. В этом-то и состоит вся забава.

Когда уста Болдвуда произносили слово «забава», глаза его глядели так встревоженно и напряженно, будто на самом деле он хотел сказать «мука».

Простившись с Габриэлем, помещик возвратился в свой дом, где его ждал завтрак. Привыкший

к одиночеству и сдержанности, он теперь мучительно стыдился того, что горячностью своих вопросов слишком раскрыл себя перед чужим человеком. Вернув письмо на каминную полку, Болдвуд сел и задумался о том обстоятельстве, которое стало известно ему из разговора с пастухом.

Глава XVI
Всех Святых и Всех усопших

Утром буднего дня в заплесневелом нефе Всехсвятской церкви, находившейся в захолустном казарменном городке, уже известном читателю, собралась горстка прихожан, большей частью женщин и девушек. По окончании службы они поднялись с колен и, поскольку проповеди не было, хотели уже разойтись, как вдруг дверь отворилась, и по проходу покатился гул четких шагов, привлекший всеобщее внимание. В поступи вошедшего слышалось нечто непривычное для храма: это было позвякивание шпор. Прихожане обернулись. Между скамьями вышагивал молодой кавалерист в красном мундире с тремя сержантскими шевронами на рукаве. Из того, сколь энергичны были его движения и как он тщился казаться невозмутимым, явствовало, что он смущен. Пройдя сквозь строй женщин, он, слегка покрасневший, без задержки миновал арку, приблизился к ограждению алтаря и здесь с минуту стоял в одиночестве, пока священник, еще не снявший после службы стихарь, его не

заметил. Шепнув что-то сержанту, пастор подал знак причетнику, тот, в свою очередь, прошептал что-то пожилой женщине — по-видимому, своей жене. Все они поднялись по алтарным ступеням.

— Это свадьба! — воодушевились прихожанки. — Давайте-ка подождем.

Многие вновь уселись на скамьи. Молодежь обернулась, заслышав позади себя скрежет какого-то механизма: из западной стены башни, с внутренней ее стороны, выступила кукла с колокольчиком, приводимая в движение той же машиною, что и главный колокол часов. Колокольню отделяла от церкви перегородка с дверью, обыкновенно скрывавшей странное устройство, однако теперь дверь была открыта, потому все прихожане слышали звон колокольчика, а те, кто сидел ближе, даже видели, как фигурка вышла из своего укрытия и, пробив четверть двенадцатого, опять исчезла.

— Где же невеста? — прошептал кто-то.

Молодой сержант, обратившись лицом к юго-востоку, стоял так же неподвижно и безмолвно, как старые колонны, его окружавшие. Минуты шли, никто не входил. Когда фигурка выскочила из стены, чтобы пробить без четверти двенадцать, звон колокольчика прозвучал с какою-то

почти болезненной отрывистостью, а исчезновение куклы походило на суматошное бегство. Паства вздрогнула. Затем вновь раздался шепот:

— Куда же запропастилась девушка?

Неф наполнился шумом шаркающих ног и притворным покашливанием, что свидетельствовало о нараставшем беспокойстве. Послышались смешки. Но сержант продолжал стоять все так же недвижимо, поворотясь лицом на юго-восток, с фуражкой в руке, прямой, как колонна.

Между тем часы все тикали. Женщины почувствовали себя свободнее, стали шушукаться и хихикать оживленнее. Потом опять воцарилась мертвая тишина. Все ждали развязки. Присутствовавшие имели возможность заметить, что отбивание каждых пятнадцати минут очень ускоряет бег времени. Трудно было не усомниться в исправности механизма, когда вновь раздался скрежет, фигурка выдвинулась, и колокольчик лихорадочно прозвонил четыре раза, возвещая окончание четвертой четверти часа. Многие наверняка с уверенностью сказали бы, что в улыбке уродливой куклы и в подергиваниях ее тела ощущается злорадство.

Когда фигурка исчезла, с высоты башни прозвучали двенадцать тяжелых монотонных

ударов колокола. Женщины, потрясенные, уже не смеялись. Священник потихоньку удалился в ризницу, исчез и причетник. И лишь сержант по-прежнему стоял спиной к собравшимся. Вероятно, он понимал, что прихожанкам не терпится взглянуть на его лицо. Наконец он развернулся и решительно зашагал прочь, сжав губы и глядя прямо перед собой. Двое сгорбленных беззубых нищих переглянулись и засмеялись: под сводами церкви их смех, сам по себе довольно безобидный, прозвучал странно и зловеще.

Церковь стояла на площади. Ее обступали старые деревянные дома с нависающими вторыми этажами, которые отбрасывали на мостовую живописные тени. На середине этой площади молодому человеку, вышедшему из дверей храма, встретилась миниатюрная женщина. Едва она увидала его лицо, крайнее беспокойство на ее собственном лице сменилось выражением, весьма близким к ужасу.

— Ну? — произнес он, неподвижно глядя на нее и с трудом сдерживая гнев.

— О, Фрэнк, я перепутала! Я думала, та церковь со шпилем и есть Всех Святых. Я пришла к ее дверям без опоздания — в половине одиннадцатого, как ты и сказал, — прождала четверть часа

и только тогда поняла, что это Всех усопших. Но это ведь ничего? Тебе ведь и завтрашний день подойдет?

— Ты сама дура и меня одурачить решила?! Ну уж нет! Ни слова больше слышать не хочу!

— Фрэнк, ты женишься на мне завтра? — спросила девушка, помертвев.

— Завтра?! — Он разразился хриплым хохотом. — Чтобы я еще раз пережил этот позор?

— Но ведь моя ошибка была не так уж страшна! — произнесла она дрожащим просительным голосом. — Дорогой Фрэнк, когда же мы теперь поженимся?

— Ты спрашиваешь когда? А Бог знает когда! — ответил он с легкой насмешкой и быстро зашагал прочь.

Глава XVII
На рынке

В субботу, когда Болдвуд, по обыкновению, приехал на кестербриджскую хлебную биржу, нарушительница его ночного покоя предстала перед ним наяву. Адам пробудился от глубокого сна и узрел Еву. Набравшись храбрости, он впервые прямо на нее взглянул.

Материальные причины и духовные следствия не всегда строго уравновешивают друг друга. Средства, используемые для совершения умственного движения, иногда способны произвести нечто столь же грандиозное, сколь незначительна была предпосылка. Женщина порой не понимает этого, если обделена интуицией, обыкновенно присущей ее полу, либо последняя изменила ей в силу беспечности или склонности к капризам.

Так или иначе, Батшебе суждено было в тот день испытать потрясение. Болдвуд смотрел на нее, но не лукаво, не критически, не проницательно, а так, как жнец смотрит на проходящий поезд — нечто совершенно для него чуждое и

лишь смутно понятное. В глазах Болдвуда женщины были скорее далеким феноменом, чем необходимым дополнением его собственной жизни. Они представлялись ему кометами, чей вид настолько неясен, а траектория настолько переменчива, что он не считал необходимым размышлять над тем, имеют ли орбиты этих комет постоянную геометрическую форму и подчиняются ли они строгим законам, или же внешняя непредсказуемость и есть их истинная сущность.

Болдвуд увидел черные волосы Батшебы, правильные изгибы ее профиля, округлость ее подбородка и шеи. Увидел веки, глаза, ресницы и форму уха, а затем стан, черную юбку и даже подошвы ботинок.

Все увиденное показалось ему прекрасным, но он не знал, верно ли его впечатление, ибо не мог понять, почему это воплощенное очарование (если оно в самом деле таково, каким представляется) до сих пор не собрало вокруг себя толпы восторженных мужчин, почему об этой девушке не говорят на каждом шагу (хотя о ней говорили немало). На взгляд Болдвуда ни природа, ни искусство не могли бы сделать Батшебу еще лучше, ведь она и без того являла собою редкий образчик

совершенства среди множества несовершенных людей. Сердце в груди фермера пришло в движение. Следует помнить, что он, хотя и дожил до сорока лет, никогда еще не изучал женщины, используя свое зрение прямо и в полную силу. До сего дня прекрасный пол лишь косвенно задевал его чувства. Действительно ли Батшеба красива?.. Продолжая сомневаться, Болдвуд украдкой спросил соседа:

— Находят ли люди, что мисс Эвердин хороша собою?

— О да! В самый первый раз, когда она сюда пришла, все только на нее и глядели. Истинная красавица!

Мужчина ничему не верит легче и охотнее, чем лестным отзывам о наружности женщины, в которую он влюблен. Даже слово ребенка становится для него весомым, будто суждение члена Королевской академии. Теперь Болдвуд удовлетворился: дама, по сути, предложившая ему на ней жениться, была очаровательна. Отчего же она совершила столь странный поступок?

Принимать то, что предполагается обстоятельствами, и затевать то, чего обстоятельства не предполагают, не есть одно и то же. Однако Болдвуд был слеп к этому различию, а Батшеба,

будучи ему под стать, не всегда умела предвидеть большие последствия малых начинаний. В эту минуту она хладнокровно вела деловой разговор с лихим молодым фермером, сводя с ним счеты так невозмутимо, словно его лицо было страницей бухгалтерской книги. Любой наблюдатель мог заметить, что этот мужчина не во вкусе Батшебы. Но Болдвуд ощутил во всем теле жар зарождающейся ревности, которая, по Мильтону, есть «ад раненого сердца». Первым его побуждением было подойти и встать между говорящими. Однако для осуществления подобной затеи ему пришлось бы попросить у Батшебы образец ее зерна. Нет, этого Болдвуд сделать не мог, ибо ему казалось, будто он принизит красоту, попросив ее что-либо продать или купить.

Между тем падение той гордой крепости, какую до недавних пор являл собой мистер Болдвуд, не осталось незамеченным Батшебой. Она знала: его взгляд всюду следует за ней. Эта победа, будь она одержана естественным образом, оказалась бы вдвойне сладостной вследствие своей дразнящей запоздалости. На самом же деле Батшеба победила благодаря уловке и потому смотрела на свой триумф как на бумажный цветок или восковое яблоко.

Будучи женщиной, не лишенной здравого смысла, Батшеба теперь искренно сожалела о том, что уступила озорству Лидди и нарушила спокойствие человека, которого слишком уважала, чтобы над ним потешаться. Она почти решилась попросить у него прощенья при следующей встрече. Впрочем, если Болдвуд принял письмо как насмешку, то извинение, в серьезность которого он мог не поверить, лишь усугубило бы обиду. Если же фермер решил, будто Батшеба хочет, чтобы он за нею ухаживал, то, извинившись, она предоставила бы ему новое доказательство своей нескромности.

Глава XVIII
Болдвуд в раздумье. Сожаления

Ферма Болдвуда именовалась Литтл-Уэзербери. Находилась она в отдаленной части прихода, где ее хозяин почитался наиболее аристократической фигурой среди всех жителей. Если кому-либо из городской знати приходилось задержаться в этих краях на день, то, заслышав стук колес легкого экипажа, путешественник надеялся обрести достойное общество в лице лорда-отшельника или хотя бы сквайра, но это всего лишь мистер Болдвуд ехал по своим делам. Через какое-то время благородный странник, вновь заслышав шум повозки, ощущал повторное пробуждение надежды, однако это всего лишь мистер Болдвуд ехал обратно.

Жилище его стояло в стороне от дороги, а конюшня, которая для дома есть то же, что камин для комнаты, располагалась на заднем дворе и утопала в зарослях лавра. Сквозь приоткрытые двери, выкрашенные голубой краской, виднелись крупы полудюжины довольных лошадей, отдыхающих в теплых стойлах. В этом положе-

нии животные, в совокупности являвшие собою строгое чередование гнедой и чалой масти, напоминали формой своих тел мавританские ниши, а хвосты казались струями фонтанов. Рты лошадей были не видны наблюдателю, глядящему в полутьму конюшни с порога, однако он мог слышать, как они подкрепляют свои силы, поглощая овес и сено. В углу конюшни был устроен денник, по которому, подобно беспокойной тени, расхаживал жеребенок. К шуму, производимому челюстями взрослых животных, то и дело примешивался звон привязи или звук удара копытом по полу.

Человек, снова и снова измерявший конюшню шагами, был не кто иной, как сам мистер Болдвуд. Это место служило ему, безбрачному фермеру, чем-то наподобие храма: раздав вечернюю пищу своим четвероногим подопечным, он нередко ходил из конца в конец, погруженный в размышления, до того часа, когда в затянутые паутиною окна заглядывала луна или же все погружалось во тьму.

Ширина его плеч и прямизна осанки были здесь еще более заметны, нежели в многолюдье и толчее хлебной биржи. Неторопливо вышагивая по конюшне, Болдвуд ступал одновременно на пятку и носок, а голову держал чуть склоненной,

отчего красивое полнокровное лицо погрузилось в тень, скрывавшую неподвижные губы и подбородок — приятно скругленный, притом достаточно широкий и выдающийся. Гладкость высокого лба нарушалась лишь несколькими четкими и тонкими, как нити, поперечными линиями.

Ступени жизни Болдвуда были обыкновенны, но природа его таковой не была. Поверхностный взгляд прежде всего замечал в нем неподвижность нрава и привычек, однако, вероятно, его апатия лишь уравновешивала противоположную себе силу, как плюс всегда уравновешивает минус. Стоило равновесию нарушиться, Болдвуд немедля впадал в одну из крайностей. Если чувство овладевало его душою, оно руководило им. Чувства же, не одержавшие такой победы, никак о себе не заявляли. Болдвуд мог быть неподвижен или быстр, но медлительности не ведал. Любая стрела или убивала его наповал, или пролетала мимо.

Душевный склад этого человека исключал все легкое и беззаботное. Суровый в главном и мягкий в деталях, он и в том, и в другом был серьезен и, не видя смешных сторон в безумии жизни, не пользовался успехом в компании весельчаков,

которым все представляется шуткой, зато встречал понимание у тех, кто склонен к глубоким раздумьям и изведал печаль. Комедий Болдвуд не жаловал, а жизненные драмы прочитывал с глубоким сочувствием, и никто не смог бы упрекнуть его в том, что он не принимает трагических финалов близко к сердцу.

Батшеба вовсе не думала, будто темная молчаливая почва, на которую она беспечно бросила семя, окажется парником, где жарко, словно в тропиках. Знай она, каков Болдвуд, муки ее совести были бы страшны, а сердце было бы непоправимо запятнано. Знай она свою власть над этим мужчиною, она трепетала бы от сознания ответственности. Однако она ничего не знала, и это обстоятельство благоприятствовало ее спокойствию в настоящий момент, но отнюдь не в будущем. Следует отметить, что в полной мере Болдвуда не понимала ни одна живая душа. О том, сколь сокрушительны его внутренние силы, можно было лишь догадываться по едва приметным следам прежних наводнений, однако самих наводнений не видел никто.

Фермер Болдвуд стал в дверях конюшни и посмотрел вдаль, где простирались поля и пастбища. За живою изгородью начинался луг, отно-

сившийся к ферме Батшебы. Была та самая пора, когда овец впервые за год выпускают отведать травы, еще ни разу не кошенной. Восточный ветер, дувший на протяжении нескольких недель, теперь сменился южным, и весна, едва успев начаться, оказалась в разгаре. В такие дни людям порою верится, что дриады пробудились от зимнего сна. Растительный мир набухает, соки приходят в движение, и тогда одинокие сады и давно не хоженные поля, застывшие, безмолвные и беспомощные, освобождаются из рабства холода. Ему на смену приходит суматоха непрестанных толчков, рывков и подъемов — словом, такого строительства, в сравнении с которым потуги железных кранов и блоков шумного города кажутся суетой пигмеев.

На далеком пастбище Болдвуд различил три фигуры: мисс Эвердин, пастуха Оука и Кайни Болла. Лишь только взгляд фермера остановился на Батшебе, она осветила его, как луна освещает высокую башню. Тело человека служит ему панцирем или яркой вывеской, зависимо от того, замкнулась ли душа или, напротив, готова излиться под натиском чувства. Болдвуд переменился в лице: перестав быть бесстрастным, оно показало, что суровый фермер впервые за долгое

время покинул им же возведенную цитадель и со страхом ощущает свою открытость. Именно так любовь обыкновенно воздействует на сильную натуру.

Наконец Болдвуд принял решение: перейти поле и напрямую задать Батшебе вопрос. Много лет его сердце обматывало себя защитным слоем, сквозь который чувство не могло просочиться наружу, и это привело к ожидаемому последствию. Нам не раз говорили о том, что любовь возникает, главным образом, в силу причин глубоко личного свойства. Болдвуд являл собою живое доказательство этой истины. Не имея ни матери, которая приняла бы его преданность, ни сестры, которая сделалась бы предметом его нежности, ни какой-либо праздной связи, он переполнился субстанцией, которая была не чем иным, как истинной любовью.

Фермер приблизился к воротам пастбища. С земли доносилось журчание ручья, с неба — пение жаворонка, и к обеим мелодиям примешивалось негромкое блеяние стада. Хозяйка и работник совершали операцию, обыкновенную для тех случаев, когда овца теряет собственное дитя и взамен получает одного из близнецов другой матки. Габриэль несколькими умелыми

движениями привязал шкурку умершего ягненка на спину живому, после чего Батшеба открыла небольшой загон из четырех загородок, и мать с приемным сыном были туда водворены до возникновения у старшего животного родительских чувств к младшему.

По завершении сего маневра Батшеба подняла глаза и увидела фермера, стоявшего у ворот под сенью пышно цветущей ивы. Для Габриэля лицо госпожи было подобно «переменчивому апрельскому дню»[24], и он пристально наблюдал любимые черты, улавливая малейшее движение. Сейчас Батшеба залилась ярким румянцем смущения, и по этому признаку Оук мгновенно угадал влияние извне. Проследив за взглядом хозяйки, он тоже увидел Болдвуда и, немедля соотнеся письмо, которое фермер ему показал, с теперешней переменою в лице Батшебы, заподозрил госпожу в некоем кокетливом замысле, осуществляемом, неведомо как, с Валентинова дня по сию пору.

По безмолвным, но оттого не менее красноречивым взглядам фермерши и пастуха Болдвуд понял, что замечен, и ощутил такую неловкость,

---

[24] Примечания: 24

У. Шекспир. Два веронца. Действие I, сцена 5. Перевод В.Ф. Миллера.

словно на его пробудившиеся чувства вдруг направили слишком сильный луч света. Он прошел далее по тропе, чтобы Батшеба и Габриэль не разгадали его первоначального желания к ним приблизиться. Растерянность, застенчивость и сомнения овладели им в ярчайших своих проявлениях. Быть может, взгляд Батшебы свидетельствовал о том, что она рада видеть соседа, а быть может, и нет — Болдвуд не умел читать по женским лицам. Ему казалось, что любовь изъясняется кабалистическими символами, весьма туманно выражая едва различимые смыслы. Каждый взор, каждый поворот головы, каждое слово и тон, каким оно сказано, говорит одно, а подразумевает совсем другое — некую тайну. Прежде Болдвуд никогда об этом не думал.

Что до Батшебы, то обмануть ее фермеру не удалось. Она поняла: не работа и не праздность привели его сюда. По всей вероятности, он нарочно явился ради нее. Ей очень тревожно было предполагать, сколь мощное пламя могло разгореться из маленького огонька. Батшеба не строила хитрых матримониальных планов и не хотела нарочно ранить ничьей души. Всякий поборник нравственности, поглядев, как флиртует она, а затем увидав настоящий флирт, удивился

бы одновременному сходству и несходству одного и другого. Батшеба твердо решила ни словом, ни взглядом более не нарушать мерного течения жизни фермера Болдвуда. Однако намерение избегать зла обыкновенно созревает у нас лишь тогда, когда зло заходит достаточно далеко, чтобы избегание оного было уже невозможно.

Глава XIX
Купанье овец. Предложение

Когда Болдвуд все же решился нанести Батшебе визит, ее не оказалось дома. «Следовало ожидать», — пробормотал он. Думая о ней как о даме, Болдвуд позабыл, что она еще и хозяйка фермы, причем не менее обширной, чем его собственная, а посему в это время года ее скорее нужно искать на поле, нежели в четырех стенах. Упущения такого рода были естественны для расположения духа, в котором пребывал Болдвуд, и еще более естественны для обстоятельств, в которых он находился. Слишком многое способствовало тому, чтобы влюбленный возвел свой предмет в ранг идеала: он видел Батшебу изредка и издали, однако ни разу с ней не говорил. Его взгляд имел возможность ее изучить, но в отношении устного слова она была незнакомкой. Поскольку любящий и любимая не наносили друг другу визитов, он, думая о ней, упускал из виду те жизненные мелочи, которые так прочно входят в любые земные дела. Едва ли Болдвуду хоть раз приходило в голову, что и Батшебы касаются хозяйствен-

ные хлопоты, что у нее, как и у других, бывают мгновения, когда ей лучше, чтобы ее не видели. Так в воображении фермера слагалось некое подобие культа, причем божество обитало в тех же горизонтах, в каких обитал он сам, подобно ему самому дышало и тревожилось.

Был конец мая, когда Болдвуд перестал наконец чуждаться банальности и преодолел беспокойство ожидания. До той поры он успел уже свыкнуться со своею любовью: страсть пугала его меньше (хотя и мучила больше), роль влюбленного сделалась ему привычной. Справившись о Батшебе в доме, он узнал, что она занята купанием овец, и отправился ее искать.

Животных мыли в чистейшей родниковой воде, наполнив ею большое безукоризненно круглое корыто, выложенное из кирпича прямо на пастбище. Летящие птицы, должно быть, за несколько миль видели этот бассейн, и его зеркальная гладь, отражавшая светлое небо, казалась им блестящим циклопьим оком на зеленом лице луга. Трава тоже являла собой примечательную картину: жадно впитывая влагу из богатой почвы, она росла едва ли не с каждой секундой. Холмистые и низинные пастбища, раскинувшиеся по краям ровного заливного

луга, пестрели лютиками и маргаритками. Река скользила бесшумно, словно тень, меж двух гибких стен, образованных пышными зарослями камыша и осоки. К северу от луга стояли деревья, одетые в новые мягкие и влажные листья — изжелта-зеленые или иззелена-желтые, еще не успевшие загрубеть и потемнеть от безводья и палящего солнца. В этой крошечной рощице нашли приют три кукушки, чьи громкие крики далеко разносились в неподвижном воздухе.

Болдвуд задумчиво шагал вниз по склону холма, глядя на свои ботинки, артистически расцвеченные бронзовою пыльцой лютиков. Приток главного русла речки входил в кирпичный бассейн через одно отверстие и выходил через другое, расположенное строго против первого. Здесь собрались пастух Оук, Джен Когген, Мэтью Мун, Джозеф Пурграсс, Кайни Болл и еще несколько работников. Все они вымокли до корней волос. Батшеба в новой амазонке — никогда прежде у нее не было столь элегантного платья для верховой езды — стояла рядом, продев руку в петлю поводьев своей лошади. Прямо на траве лежали большие фляги с сидром. Когген и Мун, по пояс в воде ручья, загоняли кротких овец в запруду с нижнего ее конца, а Габриэль, стоя на

краю, орудовал особым инструментом наподобие костыля, заставляя животных погружаться в воду и поддерживая тех, кого тянула ко дну намокшая шерсть. Овцы плыли против течения, которое выносило наружу всю грязь. Кайни Болл и Джозеф Пурграсс, помогавшие животным выбираться на сушу, были, если такое возможно, еще мокрее остальных и напоминали дельфинов под струями фонтана. С их одежды стекали десятки маленьких ручейков.

Болдвуд приблизился к Батшебе и пожелал ей доброго утра так сдержанно, словно он пришел только ради того, чтобы лицезреть мытье овец, и вовсе не хотел ее здесь найти. Брови его казались сурово нахмуренными, а взгляд высокомерным. Батшеба тут же предприняла попытку отступления: направив скользящие шаги вдоль речки, она удалилась от фермера на расстояние брошенного камня. Слыша, как он ступает по траве, Батшеба ощущала, что любовь витает вокруг нее подобно аромату духов. Вместо того чтобы поворотиться и подождать, она продолжала идти, придерживаясь высоких прибрежных зарослей. Однако Болдвуд, по-видимому, не думал отступать от своего намерения. Он шел за Батшебою, пока они оба не оказались у изгиба реки. Здесь, никем не

видимые, они слышали плеск и крики работников, купавших овец выше по течению.

— Мисс Эвердин! — произнес фермер.

Батшеба, вздрогнув, обернулась и ответила:

— Доброе утро.

Тон мистера Болдвуда был совсем не такой, какого она ожидала. Тихость и спокойствие его голоса подчеркнули смысл слов, прозвучавших едва слышно. Молчание порой поразительно красноречиво, никакая речь не может быть столь выразительна. Точно так же, говоря мало, мы зачастую передаем больше, нежели когда говорим много. Двумя словами Болдвуд сказал все. Иногда сознание человека внезапно делается шире, и он понимает: то, что слышалось стуком колес, на самом деле раскаты грома. Такое случилось теперь с внезапно прозревшей Батшебой.

— Я чувствую… пожалуй, слишком много… чтобы думать, — проговорил Болдвуд с торжественною простотой. — Пришел объясниться с вами без предисловий. С тех пор как я впервые вас ясно увидал, моя жизнь мне не принадлежит. Мисс Эвердин, я предлагаю вам стать моею женою.

Стараясь сохранить совершенно невозмутимый вид, Батшеба не шелохнулась. Только

сомкнула чуть приоткрывшиеся губы.

— От роду мне сорок один год, — продолжал Болдвуд. — Я слыву закоренелым холостяком и до недавней поры в самом деле им был. Ни в юности, ни в более зрелые годы не примеривал я к себе роли супруга. Но все мы меняемся, и я переменился, когда впервые вас увидел. В последнее время я все отчетливее ощущал, что жизнь моя нехороша. В ней многого недостает. Но главное, чего я желаю, — это соединиться с вами.

— Мистер Болдвуд, хотя я очень вас уважаю, я не чувствую к вам… того, что позволило бы мне принять ваше предложение, — ответила Батшеба, запинаясь.

Учтивость, какой были встречены его собственные учтивые слова, словно разрушила те шлюзы в душе Болдвуда, которых он сам еще не открыл.

— Жизнь без вас мне в тягость, — тихо воскликнул он. — Я бы хотел, чтобы вы… чтобы вы позволяли мне снова и снова говорить, как я вас люблю!

Батшеба ничего не ответила, и ее молчание до того озадачило стоявшую рядом кобылу, что та, перестав щипать траву, подняла голову.

— Надеюсь, — вновь раздался голос фермера, — ваше благорасположение ко мне подвигнет вас

меня выслушать!

Первым побуждением Батшебы было спросить, с чего мистер Болдвуд взял, будто она к нему благорасположена, однако вовремя вспомнила: его слова — не проявление самодовольства, но плод серьезного размышления, выстроенного на обманчивом фундаменте ее собственной шутки.

— Увы, я не умею говорить льстивых любезностей, — продолжил фермер более спокойным голосом. — Не могу придать своему бурному чувству изящной формы. У меня нет ни сил, ни терпения всему этому учиться. Я хочу, чтобы вы стали моею женой, и желание это так сильно, что ничему другому не оставляет места в моей душе. Однако я не посмел бы высказать его, если бы не получил надежду.

«Открытка! Снова эта открытка!» — мысленно воскликнула Батшеба, вслух не произнеся ни слова.

— Если вы можете полюбить меня, мисс Эвердин, скажите «да», если не можете — не говорите «нет»!

— Мистер Болдвуд, мне больно в этом сознаваться, но я растерянна и не знаю, как ответить вам с подобающим почтением. Я способна лишь выразить, что чувствую… Вернее, думаю. Как

бы я вас ни уважала, боюсь, я не могу выйти за вас замуж. Вы слишком исполнены достоинства, чтобы я годилась вам в жены, сэр.

— Мисс Эвердин!..

— Я не… Я знаю: мне не следовало даже помышлять о том, что я сделала в канун Валентинова дня. Простите меня, сэр, за письмо. То была выходка, какой не совершила бы ни одна женщина, сколько-нибудь себя уважающая. Если вы извините мое безрассудство, я обещаю вам более не…

— Нет, нет, нет! Не говорите об этом как о безрассудной выходке! Позвольте мне думать, что в вас проснулся пророческий инстинкт… что вы смутно ощущали первое пробуждение чувства ко мне. Вы мучите меня, называя то письмо плодом безрассудства: я никогда о нем так не думал и не в силах такое слышать. Ах, если б я знал, как мне вас завоевать! Увы, я не знаю этого и могу лишь спросить, любите ли вы меня уже теперь. Если нет, если это неправда, что чувство привело вас ко мне, как меня к вам, то больше я ничего не способен сказать.

— Мистер Болдвуд, должна признаться: я в вас не влюблена.

Впервые за последние минуты на серьезном лице Батшебы появилась легкая улыбка: четко

очерченные губы обнажили ряд белых зубок, словно намекая на то, что их владелица бессердечна, чему, однако, противоречила мягкость взора (читатель уже знаком с этим свойством наружности мисс Эвердин).

— Но подумайте! Из доброты и снисхождения хотя бы подумайте, если не желаете сейчас быть моей женою! Боюсь, я для вас стар, но поверьте: я способен об вас позаботиться лучше многих мужчин ваших лет. Не жалея никаких сил, я стал бы вас оберегать и лелеять — о, это я могу вам обещать! Вы не будете знать никаких забот, никаких хлопот по хозяйству. Жизнь ваша станет легка, мисс Эвердин. Я найму человека, чтобы управлял молочной фермой (мне это вполне по средствам), в сенокос вам даже из дому выходить не придется, не придется думать о погоде в пору жатвы. Я привык к своей коляске, в которой ездили еще мои бедные родители, но, если она вам не нравится, я ее продам, а у вас будет собственный экипаж, запряженный пони. Не могу вам передать, насколько вы выше в моих глазах, чем всякая другая идея или вещь! Никто не знает — знает только Бог, — как много вы значите для меня!

Молодое сердце Батшебы преисполнилось со-

страдания к этому человеку, который чувствовал так глубоко и изъяснялся так просто.

— Не говорите этого! Прошу вас! Мне больно слышать, что вы испытываете ко мне такую любовь, когда я сама ничего к вам не испытываю. И я боюсь, мистер Болдвуд, как бы нас не заметили. Давайте покамест все это оставим. Я не могу сейчас связно размышлять. Я не ждала от вас подобных слов. О, как же я дурно поступила, причинив вам такие терзания!

Страстность Болдвуда и взволновала, и испугала Батшебу.

— Тогда скажите, что не отказываете мне решительно, что ваше «нет» еще не окончательное…

— Не могу.

— Вы позволите мне позднее снова заговорить с вами об этом?

— Да.

— Позволите мне об вас думать?

— Да, полагаю, вам можно думать обо мне.

— И надеяться?

— Нет, не надейтесь! Идемте же отсюда.

— Завтра я снова приду к вам.

— Нет, прошу вас, не нужно. Дайте мне время.

— О, сколько пожелаете! — с чувством ответил Болдвуд. — Теперь я стал счастливее.

— Напрасно! Умоляю вас, не становитесь счастливей, если счастье для вас непременно значит мое согласие. Будьте таким, как обыкновенно, мистер Болдвуд. Мне надобно подумать.

— Я буду ждать, — сказал он.

Она повернулась и зашагала прочь. Болдвуд опустил взгляд и долго стоял, словно не ведая, где находится. Наконец сознание действительности вернулось к нему, как боль от раны, которой сперва не чувствуют в пылу схватки. Тогда ушел и он.

Глава XX
Дилемма. Точение ножей. Ссора

«Он предложил мне все, чего я только могу пожелать. Выходит, он человек добрый и бескорыстный», — размышляла Батшеба.

В действительности Болдвуд, был ли он добр или зол по природе, не выказал здесь никакой доброты, ибо, возлагая обильнейшие жертвы на алтарь чистейшей любви, любящий потворствует собственному желанию, а отнюдь не проявляет щедрость.

Не питая к Болдвуду ответных чувств, Батшеба по прошествии некоторого времени сумела трезво обдумать его слова. То, что он ей предложил, всякая женщина ее положения, да и иная светская дама приняла бы с восторгом и с гордостью объявила бы о своей удаче. Как ни посмотри (хоть с политической точки зрения, хоть с сердечной), одинокой девице следовало выйти замуж, и лучшего жениха, чем обстоятельный, всеми уважаемый и небедный человек, было не сыскать. Жил он поблизости, имел немалое состояние, а уж достоинств так даже в избытке. Будь

у Батшебы хотя бы малейшее желание сделаться чьей-то женою, отвергнуть Болдвуда ей не позволил бы разум, к коему она часто прибегала, дабы оградить себя от собственных капризов. Болдвуд составил бы ей прекрасную партию; она ценила его и испытывала к нему симпатию и все-таки не хотела быть его супругой. Мужчины, пожалуй, женятся чаще всего потому, что без женитьбы нельзя обладать женщиной, а женщины позволяют мужьям собой обладать, потому что без этого не бывает законного супружества. Стремясь к разным целям, обе стороны используют одно и то же средство. Однако Батшеба не испытывала свойственного ее полу осознанного стремления к замужеству, к тому же положение, в котором она находилась, было ей пока вновь: недавно став полновластной хозяйкой фермы и дома, она еще не пресытилась этой ролью.

Сейчас Батшебу снедало беспокойство, ведомое лишь немногим и оттого делающее ей честь: она не только противопоставляла возможную выгодность союза с Болдвудом своему нежеланию выходить за него замуж, но еще и чувствовала себя обязанной честно принять последствия игры, которую затеяла по собственной воле. Сказав себе, что отказать Болдвуду будет невеликодуш-

но, она тут же прибавила, что не сможет за него выйти, даже если от этого будет зависеть спасение ее жизни.

Прозорливая, как королева Елизавета, и страстная, как Мария Стюарт, Батшеба часто с крайнею осмотрительностью совершала в высшей степени смелые шаги. Нередко в уме этой молодой женщины рождались мысли, являвшие собою безукоризненные силлогизмы… увы, они всегда оставались только мыслями. Неразумные же порывы были немногочисленны, зато, к несчастью, гораздо чаще переходили в область действия.

На другой день после объяснения с Болдвудом Батшеба увидала в дальнем углу своего сада Габриэля Оука, точившего ножницы для стрижки овец. Сия операция совершалась возле всех соседних коттеджей: повсюду в деревне слышался металлический лязг, словно на оружейном заводе перед войной. Дела мирные и бранные в самом своем начале бывают схожи, словно братья, ибо серпы, косы, ножницы и садовые ножи требуют, чтобы их точили, так же как сабли, штыки и копья.

Кайни Болл крутил ручку точильного камня, при каждом повороте колеса опуская и подымая печальное лицо. Оук стоял в той позе, в какой

обыкновенно изображают Эроса, вострящего стрелы: чуть согнувшись, он давил на ножницы тяжестью своего тела, а голову держал слегка склоненной набок. Губы были критически поджаты, а глаза прищурены.

Подойдя, хозяйка минуту или две молча наблюдала за пастухом и подпаском, после чего промолвила:

— Каин, ступай на нижний луг и поймай гнедую кобылу. Я покручу за тебя. Габриэль, мне нужно с вами переговорить.

Паренек ушел, и Батшеба сама взялась за ручку. Габриэль посмотрел на нее и тут же вновь опустил глаза, чтобы не выказать живейшего удивления. Госпожа повернула ручку, и пастух приложил ножницы к камню. Мерное кручение колеса имеет примечательное свойство притуплять ум. Выполняющий такую работу испытывает смягченное подобие Иксионовых мук[25]: мозг постепенно тяжелеет, и кажется, что между лбом и теменем свинцовый комок. После двух-трех дюжин поворотов Батшеба ощутила симптомы этого состояния, никак не благоприят-

[25] Примечания: 25

Царь Иксион — персонаж древнегреческой мифологии, похвалявшийся мнимой победой над Герой и за это привязанный по приказу Зевса к вечно движущемуся колесу.

ствующего достижению целей.

— Давайте-ка, Габриэль, я возьму ножницы, а вы крутите ручку. А то у меня голова пошла кругом, и я не могу собраться с мыслями.

Оук занял ее место, и она заговорила — не без некоторой неловкости, то и дело отвлекаясь, чтобы получше взяться за ножницы, точение которых требует аккуратности.

— Я хотела вас спросить: заметил ли вчера кто-нибудь, что я прошлась вдоль речки с мистером Болдвудом?

— Да, мисс. Вы неверно ножницы держите. Конечно, откуда вам уметь… Нужно вот так. — Перестав крутить камень, Габриэль взял руки Батшебы в свои, как мы берем иногда ручку ребенка, обучая его письму. — Наклоните лезвие.

Лезвие было наклонено, но наставник все не выпускал рук ученицы.

— Довольно! — воскликнула Батшеба. — Ни к чему вам меня держать! Крутите колесо.

Габриэль безмолвно отстранился, и работа продолжилась.

— Не показалось ли людям странным, что я гуляю с мистером Болдвудом?

— О странности речи не было, мисс.

— А о чем же говорили?

— Говорили, что прежде, чем кончится год, мы услышим в церкви ваши имена.

— Так я и поняла по их лицам. Однако это неправда. В жизни не слыхала большей глупости, и вы ее опровергнете. Затем я к вам и пришла.

Габриэль посмотрел на хозяйку с грустным недоверием, к которому, однако, примешивалась небольшая доля облегчения.

— Работники, должно быть, слышали наш разговор, — продолжала она.

— Послушайте, Батшеба…

— «Мисс Эвердин» хотите вы сказать? — надменно промолвила фермерша.

— Я хочу сказать, что если мистер Болдвуд в самом деле говорил с вами о женитьбе, я не намерен лгать, будто такого разговора не было, только чтобы вам угодить. Мое желание быть вам угодным и без того дорого мне обошлось!

Глаза Батшебы недоуменно округлились. Она не знала, жалеть ли мужчину, разочарованного в любви к ней, или же злиться на него за то, что он смог пережить это разочарование. По голосу Оука нельзя было определить, затянулась ли сердечная рана.

— Я только попросила вас сказать при случае, что это неправда, будто я собираюсь замуж, —

произнесла Батшеба чуть менее уверенным тоном.

— Если желаете, мисс Эвердин, я так и скажу. А кроме того, я могу сказать, какого я мнения о вашем поступке.

— Не сомневаюсь. Однако ваше мнение мне неинтересно.

— Разумеется, — с горечью ответил Габриэль.

В продолжение разговора Оук не прекращал крутить ручку, мерно понижая и повышая голос и направляя произносимые звуки то в землю, то над нею, зависимо от того, приходилось ли ему склоняться над точильным камнем или выпрямлять спину. Однако глаза пастуха неизменно смотрели на лист, лежавший под ногами.

Действуя в спешке, Батшеба зачастую поступала безрассудно. Она была из тех, кто обретает благоразумие, выигрывая время, но выигрывала его отнюдь не всегда. Между тем, если чье-то мнение о ее персоне казалось ей разумнее собственного, так это было мнение Габриэля Оука, чью натуру отличала безграничная честность, побуждавшая его непредвзято высказываться о всяком предмете, не исключая даже возможного брачного союза между любимой им женщиной и другим мужчиной. Убежденный в обреченно-

сти собственных чувств к Батшебе, он твердо обещал себе не препятствовать соперникам. Способность к такой жертве есть самая героическая добродетель любящего, а неспособность к ней — самый простительный порок. Уверенная в правдивости ответа, Батшеба задала Габриэлю вопрос, осознавая, какую боль ему причиняет. Многие очаровательные дамы не чужды такого эгоизма. Терзая воплощенную честность ради собственной выгоды, она, пожалуй, могла отчасти оправдаться тем, что в целом приходе не было больше никого, на чье суждение следовало бы положиться.

— Ну и каково же оно — ваше мнение? — тихо спросила Батшеба.

— Ни одна добрая, кроткая, рассудительная женщина так бы не поступила.

Лицо молодой фермерши мгновенно приобрело тот гневно-алый цвет, каким пылают закаты на полотнах Фрэнсиса Дэнби. При этом она предпочла не выражать своего чувства словесно, отчего выражение мимическое сделалось еще красноречивее. Следующим своим замечанием Габриэль совершил ошибку:

— Вам, наверное, неприятна грубость моего упрека. Я в самом деле высказался грубо, но ду-

мал, что так будет лучше.

В ту же секунду Батшеба разразилась язвительной тирадой:

— Ничуть! Мое мнение об вас столь низко, что ваша брань для меня — похвала!

— Я рад, если вы на меня не в обиде. Слова мои были честны и сказаны со всей серьезностью.

— Вижу. К сожаленью, вы делаетесь смешны, когда тщитесь говорить серьезно. А разумное слово от вас только тогда и услышишь, когда вы пытаетесь шутить.

Батшеба, вне всякого сомнения, нанесла удар, выйдя из себя. Габриэль же, напротив, никогда не владел собою лучше, чем теперь. Не получив от него ответа, девушка запальчиво спросила:

— И в чем же, позвольте узнать, мое преступление? Уж не в том ли, что я отказалась выйти за вас замуж?

— О нет, — тихо ответствовал Габриэль. — Об этом я давно перестал думать.

— И желать этого, вероятно, перестали?

Задав такой вопрос, Батшеба явно ожидала услышать: «Отнюдь!» — но Габриэль, каковы бы ни были его подлинные чувства, прохладным эхом повторил слова своей госпожи:

— И желать перестал.

Порою обидные речи ласкают ухо женщины, а грубость не оскорбляет ее. Батшеба приняла бы от Оука самое суровое поношение своего легкомыслия, если бы он в то же время признался ей в любви. Укусы и проклятия неразделенной страсти терпимы, ибо тот, кому они предназначены, переживает триумф в унижении и в жестокости угадывает нежность. Именно этого Батшеба ждала, но получила другое — строгое суждение человека, видевшего ее в свете холодного утра из окна, настежь распахнутого разочарованием. Такая отповедь была нестерпима.

Габриэль между тем продолжал, причем более взволнованно:

— Уж если вы спросили, то я вам скажу: по моему мнению, это очень дурно с вашей стороны — шутить над таким человеком, как мистер Болдвуд, просто чтобы время провести. Негоже заигрывать с мужчиной, коли он вам безразличен. Если даже вы, мисс Эвердин, вправду расположены к нему, то должны были, кроме открытки в Валентинов день, найти другой способ показать свою любовь.

Батшеба положила ножницы.

— Я никому не позволю обсуждать те мои поступки, которые касаются меня одной! —

воскликнула она. — Ни минуты не стану этого терпеть. Потрудитесь покинуть мою ферму до конца недели!

Батшеба обладала одной странной особенностью: если ею овладевали страсти земного свойства, у нее подрагивала нижняя губка, а если возвышенные чувства — то верхняя. Сейчас у ней задрожала нижняя губа.

— Как вам будет угодно, — спокойно проговорил Габриэль. То, что связывало его с Батшебой, скорее являло собой прекрасную нить, которую до боли жаль было разрывать, нежели цепь, разорвать которую он бы не смог. — Пожалуй, лучше я уйду теперь же.

— И уходите, ради всего святого! — Глаза Батшебы вспыхнули, хотя и не встретились с глазами Габриэля. — Избавьте меня от необходимости вас видеть!

— Очень хорошо, мисс Эвердин. Так и будет.

Он взял свои ножницы и зашагал прочь, исполненный спокойного достоинства, как Моисей, покидающий дворец фараона.

Глава XXI
Происшествие в стаде. Послание

В воскресенье днем, примерно сутки спустя после того как Габриэль Оук перестал пасти уэзерберийское стадо, к дому хозяйки фермы прибежали почтенные Джозеф Пурграсс, Мэтью Мун и Генери Фрэй в сопровождении полудюжины других работников.

— В чем дело? — спросила госпожа, разомкнув алые губы, сжавшиеся от усилия при надевании тугой перчатки (Батшеба встретила своих людей на пороге, поскольку собиралась идти в церковь).

— Шестьдесят! — воскликнул Джозеф Пурграсс.

— Семьдесят! — воскликнул Мэтью Мун.

— Пятьдесят девять! — воскликнул муж Сьюзен Толл.

— …Овец, — пояснил Генери Фрэй, — сломали ограду…

— …И выбрались на клеверный луг, — подхватил Толл.

— Молодой клевер! — возгласил Мун.

— Клевер! — повторил Пурграсс.

— Их всех вспучит! — сказал Генери Фрэй.

— Это уж точно! — подтвердил Джозеф.

— Все они помрут, ежели их не отловить и не вылечить, — пророчествовал Толл.

Лицо Пурграсса было исчерчено тревожными морщинами. Удвоенное отчаяние избороздило лоб Генери Фрэя прямыми и косыми линиями на манер решетки ворот старинного замка. Физиономия Лейбена Толла застыла, губы сделались тонкими. Мэтью Мун стоял, разинув рот, а глаза его бегали без определенной цели.

— Да, — кивнул Джозеф. — Вот как было дело. Сижу я дома, ищу в своей Библии Послание к ефесянам и говорю себе: «Черт побери, да тут только коринфяне и фессалоникийцы!» Вдруг является Генери. «Джозеф, — говорит, — овец вспучило...»

Для Батшебы настал один из тех моментов, когда мысль есть слово, а слово — возглас. К тому же она едва успела обрести хладнокровие после того, как выслушала дерзкие замечания Оука.

— Хватит! Замолчите, дурни! — вскричала она и, бросив молитвенник и зонтик, устремилась туда, куда ей указали. — Прибежать ко мне вместо того, чтоб пойти и сразу же вытащить овец! Безмозглые ваши головы!

В эту минуту глаза Батшебы были особенно темны и сверкали особенно ярко. Красота ее принадлежала скорее к демонической, нежели к ангельской школе, и посему она бывала особенно хороша, когда сердилась. Довольно эффектное бархатное платье, с большою скрупулезностью надетое перед зеркалом, усиливало впечатление.

Старцы беспорядочною толпою побежали за хозяйкой к клеверному лугу. Джозеф Пурграсс на полпути упал да так и остался сидеть, словно одинокая душа, чахнущая в мире, который с каждым днем делается все несносней.

Воодушевленные, как всегда, присутствием своей хозяйки, работники энергично взялись за дело. Больные животные большей частью лежали, не шевелясь. Их вынесли с клеверного луга на руках, остальных загнали на ближайшее пастбище. Не прошло и пяти минут, как еще несколько животных упали наземь.

Сердце Батшебы едва не разорвалось, когда она увидала, как корчатся лучшие овечки ее лучшего стада. Их вид воскрешал в памяти строки Мильтонова «Люсидаса»: «Раздуты животы зловонными парами…». У овец изо рта шла пена, дышали они мелко и часто, а тела их ужасающе набухли.

— Что же мне делать!? Что делать!? — беспомощно воскликнула Батшеба. — Овцы такие злосчастные создания! Вечно с ними приключается какая-нибудь беда! Года не проходит, чтоб со стадом чего-нибудь не стряслось!

— Есть только одно средство их спасти, — сказал Толл.

— Какое?! Говори скорее!

— Им нужно проткнуть бока специальной штуковиной.

— Ты можешь это сделать? Или мне самой?

— Нет, мэм, мы с вами не сумеем. Тут надобно точно знать, куда колоть. Воткнешь иглу малость правее или левее — животина околеет. Обыкновенно даже пастухи этому делу не обучены.

— Значит, овцы пропали, — вздохнула Батшеба, покоряясь судьбе.

— Лишь один человек в целой округе может из них ветры выпустить, — сказал Джозеф Пурграсс, который только теперь приплелся на пастбище. — Был бы тут — всех бы вылечил.

— Кто же он? Пошлите за ним!

— Это пастух Оук, — ответил Мэтью. — Умная голова, чего только не умеет!

— Верно! — согласился Джозеф.

— Дельный малый! — подтвердил Лейбен

Толл.

— Да как вы смеете произносить при мне его имя! — гневно выкрикнула Батшеба. — Я же велела вам никогда о нем не упоминать, если желаете у меня работать! Ах! — воскликнула она, просияв. — Должно быть, фермер Болдвуд мне поможет!

— Нет, мэм, — сказал Мэтью. — На днях две из его лучших овец наелись горошку, и раздулись вот так же. Мистер Болдвуд спешно отрядил человека, чтобы скакал за Гейблом Оуком, и Гейбл приехал и овец спас. У фермера Болдвуда нужный инструмент имеется — вроде дудки с острым шипом.

— Ага, вроде дудки, — повторил Джозеф. — Дудка она и есть.

— Да-а… Такое вот устройство, — протянул Генери Фрэй, как восточный философ, равнодушный к бегу времени.

— Довольно! — воспламенилась Батшеба. — Я сыта по горло вашим даканьем и агаканьем! Живо пошлите за кем-нибудь, кто вылечит овец!

Работники испуганно побрели прочь, не имея ни малейшего понятия о том, где и кого им искать. Через минуту они исчезли за воротами, оставив Батшебу одну среди умирающих животных.

— Нет, никогда в жизни я за ним не пошлю! — твердо сказала она.

В следующую секунду по телу одной из овец пробежала страшная судорога, несчастное существо вытянулось и подскочило высоко в воздух, а после этого поразительного прыжка тяжело упало и застыло. Батшеба приблизилась. Овца была мертва.

— Что же делать?! Что делать?! — снова воскликнула фермерша, ломая руки. — Нет, я за ним не пошлю, не пошлю!

Сила выражения решимости подчас превосходит силу самой решимости. К восклицаниям нередко прибегают как к костылям, надеясь подпереть ими слабеющее убеждение, которое, будучи твердым, вовсе не требовало громких фраз. Сказанное Батшебой: «Нет, никогда!» — в действительности означало: «Наверное, придется».

Выйдя за ворота, она подняла руку, подзывая своих работников. Лейбен Толл ее заметил и повернул обратно.

— Где теперь Оук?

— По ту сторону долины, в коттедже, который зовется «Гнездо».

— Бери гнедую кобылу и скачи туда. Скажи ему,

чтоб немедля возвращался. Что я так велела.

Через две минуты Лейбен уже сидел на Полл, гнедой кобыле — неоседланной, с поводьями без удил, — и легким галопом поскакал вниз по склону холма. Батшеба и все остальные глядели ему вслед. Ежесекундно уменьшавшаяся фигура двигалась по верховой тропе, миновав сперва шестнадцатиакровый луг, потом овечий выгон, среднее поле, низину и надел Кэппела, а затем, превратившись в едва различимую точку, пересекла реку по мосту и стала подниматься через Вешнее пастбище и Белые Ямы.

Домик, куда удалился Габриэль, прежде чем окончательно покинуть Уэзербери, казался крошечным светлым пятнышком перед стеной голубых елей на склоне противоположного холма. Батшеба ходила из стороны в сторону, а работники вернулись к овцам и стали их растирать, надеясь облегчить муки бедных животных. Однако все старания были напрасны.

Хозяйка продолжала ходить. Вот всадник стал спускаться, и звенья томительно длинной цепочки последовали в обратном порядке: Белые Ямы, Вешнее Пастбище, надел Кэппела, низина, среднее поле, овечий выгон, шестнадцатиакровый луг. Батшеба надеялась, что у Лейбена хватило

разуменья уступить лошадь Габриэлю, а самому вернуться пешком. Наконец лицо всадника стало различимо. Это был Толл.

— Ах, как же ты глуп! — воскликнула Батшеба и, не увидав нигде пастуха, прибавила: — Или Оук уже уехал?

Лейбен спешился, выглядя скорбно, как Мортон[26] после битвы при Шрусбери[27].

— Ну что же? — произнесла Батшеба, отказываясь верить в то, что ее устное *lettre-de-cachet*[28] не было передано должным образом.

— Он говорит: «Молящим пристало смирение».

— Что?! — произнесла молодая фермерша, расширив глаза, и забрала в грудь побольше воздуха для гневной тирады.

Джозеф Пурграсс опасливо попятился.

— Пастух говорит, что не придет, пока вы не попросите его учтиво, как подобает женщине,

---

[26] Примечания: 26

Мортон — персонаж хроники У. Шекспира «Генрих IV. Часть вторая», приближенный графа Нортумберленда, приносящий ему известие о гибели сына в битве при Шрусбери.

[27] Примечания: 27

Битва при Шрусбери — сражение между армией короля Генриха IV и повстанческим войском, возглавляемым Генри Перси по прозвищу Горячая Шпора (сыном графа Нортумберленда). Состоялось в 1403 году.

[28] Примечания: 28

Lettre de cachet — королевский приказ о заточении в тюрьму без суда; в буквальном переводе с французского «письмо с печатью».

умоляющей об одолжении.

— Да как он смеет так мне отвечать?! По какому праву?! Кто он такой, чтобы ставить мне условия?! Неужто я стану просить о помощи того, кто сам недавно был от меня зависим?

Еще одна овца, высоко подскочив, упала замертво. Люди стояли мрачные, высказывая свое суждение одними лишь взглядами. Батшеба отвернулась. Глаза ее были мокры. Не в силах более скрывать, как ей тяжко сносить последствия собственной гордыни, она горько заплакала, и все работники увидели слезы хозяйки.

— Полноте, мисс! К чему убиваться? — сочувственно произнес Уильям Смоллбери. — Вы просто возьмите и попросите его помягче. Он придет — это уж как пить дать. Гейбл не таковский, чтобы в помощи отказывать.

Батшеба обуздала свое горе и осушила глаза.

— Ах, как это жестоко с его стороны! Как жестоко! — пробормотала она. — Он вынуждает меня делать то, чего я бы сама ни за что не сделала! Да, вынуждает. Толл, иди за мной.

После такого проявления чувств, не вполне подобающего главе фермы, Батшеба вернулась в дом в сопровождении Лейбена, следовавшего по ее пятам, и торопливо написала несколько

строк под аккомпанемент тихих судорожных всхлипываний, которые обыкновенно возникают после приступа плача, как волны после бури. Послание, хотя писавшая спешила, вышло учтивым. Отстранившись, Батшеба пробежала его глазами и собралась было сложить листок, но в последнюю секунду прибавила: «Не покидайте меня, Габриэль!» Написав эти слова, она слегка покраснела и сжала губы, словно для того, чтобы не позволить себе передумать.

Отправив письменное послание, как и предшествовавшее ему устное, с Лейбеном Толлом, Батшеба стала ждать. После четверти часа, проведенных в тревоге, снова послышался топот лошади. На сей раз Батшеба не нашла в себе сил глядеть на приближающегося всадника. Она оперлась о бюро, на котором писала, и закрыла глаза, как бы желая оградиться и от страха, и от надежды.

Надеяться, однако, все-таки было можно. Габриэль не злился: он сохранил спокойствие, несмотря на то высокомерие, какое источал приказ фермерши. Батшеба обладала таким тщеславием, что, будь она менее красива, это навлекло бы на нее всеобщее осуждение. Вместе с тем, она блистала такою красотой, что будь ее тщеславие чуть

слабее, оно казалось бы вполне простительным.

Когда конский топот приблизился, Батшеба вышла из дому. Пронесясь между ней и небом, всадник подъехал к овечьему загону и, спешиваясь, поглядел через плечо назад. Это был Габриэль. Настало одно из таких мгновений, когда глаза женщины противоречат ее устам. Устремив на пастуха взор, исполненный благодарности, Батшеба сказала:

— О, Габриэль, как вы могли так дурно со мною обойтись!

Сей упрек в промедлении прозвучал столь нежно, что адресат, вероятно, счел его заменой благодарности за теперешнюю свою готовность помочь. Смущенно пробормотав что-то в ответ, Оук заспешил далее. Батшеба по взгляду поняла, какая из начертанных ею фраз побудила Габриэля вернуться.

Когда она, следуя за ним, вновь вошла в оградку загона, он уже хлопотал среди беспомощных раздувшихся тел: куртка его была сброшена, рукава подкатаны, из кармана извлечен спасительный троакар — маленькая трубка со стилетом внутри. Та ловкость, с какой Габриэль стал применять этот инструмент, сделала бы честь госпитальному хирургу. Отыскав на левом боку овцы нужное

место, он прокалывал кожу и рубец, после чего быстро извлекал стилет, а трубку оставлял на месте, и сквозь нее вырывалась струя воздуха, которая погасила бы свечу, если бы таковую поднесли к отверстию.

Как известно, облегчение от боли есть само по себе наслаждение[29], и морды несчастных животных служили тому доказательством. Успешно исполнив сорок девять операций, Оук лишь раз промахнулся: нанес страдающему созданию смертельный удар, вонзив острие мимо метки — работа совершалась в крайней спешке, каковой требовало состояние стада. Четыре овцы умерли до прибытия пастуха. Три выздоровели без прокола. Всего же овец, выбравшихся за ограду и наевшихся ядовитой травы, было пятьдесят семь.

Когда Оук, ведомый любовью, окончил свой труд, Батшеба приблизилась и поглядела ему в лицо.

— Габриэль, вы останетесь у меня? — спросила она и, обезоруживающе улыбнувшись, не по-

---

[29] Примечания: 29

Источником этого утверждения является «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного» Эдмунда Берка (1729–1797) — англо-ирландского политика и публициста, идеолога консерватизма. По данному им определению, наслаждение есть ощущение, сопровождающее исчезновение боли или опасности.

спешила плотно сомкнуть губы, ибо вскоре ей предстояло вновь разомкнуть их в улыбке.

— Да, — ответил Оук.

И она улыбнулась ему опять.

Глава XXII
Большой амбар. Стрижка овец

Человек может стушеваться не только оттого, что в критический момент ему недостало бодрости духа, но и (с неменьшей вероятностью) оттого, что в пору подъема он не нашел своим душевным силам исчерпывающего применения. Впервые после гибели собственного стада Габриэль Оук обрел прежнюю независимость мысли и деятельную энергию — достоинства, которые, если не представится удобный случай, бывают так же бесполезны, как и удобный случай без них. При благоприятном стечении обстоятельств они способствовали бы возвышению Оука, но подле Батшебы Эвердин он лишь расточал время. Вешние воды текли мимо, не подхватывая Габриэля, а в скорости мог явиться низкий прилив, которому уже и не под силу было бы стронуть его с места.

Настало первое июня — разгар стрижки овец. Даже наименее плодородные пастбища пылали здоровьем и пестрели яркими красками: вся зелень была свежа, каждая пора открыта, каждый стебель готов был брызнуть соком. В полях и

лугах явственно ощущалось присутствие Бога, а дьявол ретировался в город. Пушистые сережки на деревьях, побеги папоротника, напоминающие епископские посохи, квадратные головки мускатницы, соцветия аронника, похожие на фигурки багроволицых святых в малахитовых нишах, белоснежный сердечник, зубянка, близкая по цвету к человеческой коже, колдунова трава, черные лепестки грустно кивающих колокольчиков — таковы были причудливые украшения уэзерберийской флоры. Что же до местной фауны, то ее сегодня представляли видоизменившиеся фигуры мистера Джена Коггена (первого стригальщика), двух его помощников (странствующих овечьих цирюльников, чьи имена нет нужды упоминать), Генери Фрэя, мужа Сьюзен Толл и Джозефа Пурграсса (исполнявших роли четвертого, пятого и шестого стригальщиков), затем юного Каина Болла (помощника) и, наконец, Габриэля Оука, руководившего стрижкой. Никто из упомянутых не стеснял себя чем-либо, достойным называться настоящей одеждою, и все же тела их были достаточно прикрыты, чтобы являть собой приличную середину между низшей и высшей индусской кастой. Угловатая напряженность поз и застылая неподвижность

лиц свидетельствовали о том, что все заняты серьезным делом.

Стрижка совершалась в амбаре, который потому так и назывался — стригальным. Строение это было крестообразно, как храм с боковыми нефами. Напоминая приходскую церковь своей формой, оно соперничало с нею еще и древностью. Вероятно, прежде здесь находился монастырь; доподлинно этого никто не знал. От прочих построек обители не осталось и следа. Телеги, обильно груженные снопами, могли легко попадать внутрь амбара через два боковых крыльца, над которыми высились заостренные каменные арки — вырезанные широко и смело, эти простые украшения сообщали зданию величие, не всегда присущее более вычурным постройкам. Потемневшая каштановая кровля, стянутая огромными скобами, прямыми и изогнутыми, поперечными и косыми, имела вид куда более солидный и благородный, чем крыши девяти из десяти сегодняшних церквей. Вдоль боковых фасадов, отбрасывая густую тень, шли контрфорсы, напоминавшие ноги великанов в широком шаге. Их остроконечные арки одновременно способствовали украшению и вентиляции здания.

Про этот амбар можно было сказать, что он в большей степени служит первоначальному своему назначению, чем любая церковь и любой замок того же века и стиля. В отличие от большинства сохранившихся образчиков средневекового зодчества, это строение использовалось для дел, не запятнанных руками времени, и те, кто трудился в нем теперь, были хотя бы по духу близки тем, кто его строил. Видя, как в этих многое переживших стенах кипит работа, и размышляя об их прошлом, путник мог удовлетворенно заметить, что преемственная связь не разорвана. Мысль о постоянстве идеи, руководившей строителями, рождала чувство благодарности и даже гордости: здание уцелело, и его назначение не сделалось людям ненавистным. Теперь простое серокаменное творение древних умов дышало покоем, если не величием, несвойственным средневековым храмам и крепостям, которых сегодня часто тревожит обращенное к ним чрезмерное любопытство. Здесь старина и современность были заодно. Копьевидные окна, изъеденные временем клинчатые камни и желобы, прямизна оси, потемневшие балки и стропила каштанового дерева — все это не несло на себе отпечатка устарелого фортификационного искусства или

обветшалого вероучения. Питание тела хлебом насущным, как прежде, остается и премудростью, и религией, и желанием человека.

Сегодня старые двери были распахнуты навстречу солнцу, щедро лившему свет на гумно, сколоченное посреди амбара из толстых дубовых досок. Вследствие усилий многих поколений крестьян, бивших по дереву цепами, гумно стало гладким и темным, как полы в парадных залах елизаветинских особняков. Сейчас возле этого помоста трудились, стоя на коленях, стригальщики. Косые лучи солнца падали на их выбеленные рубахи, загорелые руки и навостренные ножницы, сверкавшие с такою силой, что непривычный человек мог и ослепнуть. Плененная овца лежала на гумне. От недобрых предчувствий, перераставших в ужас, дыхание ее становилось все чаще и чаще, покуда она не начинала дрожать, будто марево, застилавшее окрестные луга.

Эта картина сегодняшнего дня отнюдь не представляла разительного контраста со своей средневековою рамой, ибо жизнь Уэзербери была, в отличие от городской, почти неизменна. Что для горожанина «вчера», то для селянина «теперь». Для Лондона произошедшее двадцать или тридцать лет назад (а для Парижа десять, если не

пять) — уже седая старина. Для Уэзербери шестьдесят или восемьдесят лет — все «сегодня». Разве что век может привнести в облик деревни новую черту или новую краску. Пять десятилетий ни на волосок не меняют ни крой гетр, ни вышивку кафтанов. Десять поколений живут как одно. Для обитателей уединенных уголков Уэссекса то, что для пришлого человека древность, просто старо, то, что для пришлого старо, — ново, а что для него настоящее, здесь только будущность.

Итак, четырехсотлетний амбар был привычен стригальщикам, и они не казались в нем чем-то чуждым. Ту часть, которая у церкви называлась бы нефом, перегородили у входа и перед алтарем. В пространство между двух плетеных заслонов согнали все стадо, а трех или четырех овец всегда держали наготове в особом углу, чтобы стригальщики в любую секунду могли их схватить. Сзади, полускрытые желтоватой тенью, виднелись фигуры Мэриэнн Мани и девиц Миллер (Темперанс и Собернесс), собиравших шерсть и скручивавших ее в жгуты. Женщинам довольно ловко помогал старый солодовник. С апреля по октябрь его солодовня бездействовала, и он находил себе занятие на близлежащих фермах.

Позади всех стояла Батшеба, следившая за тем,

чтобы животных стригли коротко, но притом не ранили. Под ее ясным взором Габриэль порхал, подобно мотыльку. Сам он не стриг постоянно, а большею частью руководил другими стригальщиками и выбирал для них овец. Сейчас он разливал некрепкий хмельной напиток из бочонка, стоявшего в углу, и нарезал хлеб с сыром.

Батшеба, бросив взгляд туда, предостерегающее слово сюда и отчитав молодого работника, отпустившего остриженную овцу без клейма, подошла к Габриэлю, который, отложив хлеб, взял очередную жертву, втащил на гумно и одним умелым поворотом руки уложил на спину. Срезав кудри возле головы, пастух быстро обнажил шею и воротник. Госпожа, наблюдавшая за этим, тихо пробормотала: «Она краснеет от оскорбления». Действительно, по оголяемой щелкающими ножницами овечьей коже растекался румянец — такой быстрый и нежный, что он сделал бы честь любой женщине, и многие светские красавицы могли ему позавидовать.

Душа бедного Габриэля насытилась радостью от одного присутствия Батшебы, придирчиво наблюдавшей за движениями ножниц, которые, казалось, в любую секунду могли поранить овцу, однако не делали этого. Подобно Гильденстерну,

Оук уже то почитал за счастье, «что счастье не чрезмерно»[30]. Он не желал беседовать с Батшебой. Ему довольно было, что владычица его сердца стоит сейчас рядом, и они вдвоем обособились от всех. Посему говорить приходилось ей. Порой многоречивость ни о чем не сообщает, а молчание сообщает о многом, и сцена между Батшебой и Габриэлем служила тому доказательством. Исполненный умеренно тлеющего блаженства, он перевернул овцу и, прижав ее голову коленом, продолжил состригать шерсть, двигаясь сперва вокруг подгрудка, затем по спине и боку, пока не дошел до хвоста. Когда ножницы, щелкнув, сняли последний клок, Батшеба поглядела на часы.

— Хорошая работа и притом скорая!

— Как долго, мисс, я ее стриг? — спросил Габриэль, отирая лоб.

— Двадцать три минуты с половиною от того момента, когда вы срезали первую прядку на лбу. Впервые вижу, чтобы с овцою управлялись менее чем за полчаса.

Чистая гладкая фигурка вышла из своего руна, как Афродита из пены морской. Не видя этого

---

[30] Примечания: 30

У. Шекспир. Гамлет. Акт II, сцена 2. Перевод А.Д. Радловой.

четвероногого существа, трудно себе вообразить, как оно было растерянно и как смущалось своей наготы. Снятое одеяние облаком расстилалось по гумну, вывороченное наружу изнанкою — той частью ворса, что примыкала к телу и никогда не обнажалась, а потому была белоснежной, без единого самого крошечного пятнышка.

— Каин Болл!

— Бегу, мистер Оук! — откликнулся Кайни, хватая горшочек с дегтем.

Как только на остриженном теле овечки появились буквы «Б.Э.», она, часто дыша, перемахнула через загородку и выбежала из амбара в загон, где паслась уже разоблаченная часть стада. Затем подошла Мэриэнн, подобрала отлетевшие в стороны клочки шерсти, бросила их на середину снятой овечьей шубы, скатала ее и унесла. Зимой этим трем с половиной фунтам тепла предстояло дарить радость неизвестным людям, жившим, вероятно, далеко от Уэзербери. Однако будущим обладателям вязаных изделий не суждено было насладиться непревзойденной мягкостью свежесрезанной шерсти, сохранившей живую податливость, которая теряется вследствие мытья и сушки. Шерстяная нить против руна — то же, что разбавленное водою молоко против сливок.

Жестоким обстоятельствам было неугодно, чтобы Габриэль все утро оставался счастливым. Со взрослыми животными и подростками-двухлетками уже покончили. Теперь стригальщики занялись молодняком. Оук надеялся, что Батшеба останется рядом и снова засечет время, пока он будет стричь молодого барашка, но этот план нарушило появление мистера Болдвуда в дальнем углу амбара. Никто другой как будто не заметил прихода фермера, и все же факт не подлежал сомнению. Болдвуд всегда приносил с собою какую-то особенную атмосферу, ощущаемую всеми, к кому бы он ни приблизился. Разговор между работниками, и без того напряженный из-за близости хозяйки, теперь вовсе угас.

Болдвуд пересек неф и подошел к Батшебе. Та обернулась и приветствовала его с совершеннейшей непринужденностью. Он что-то тихо сказал. Она ответила ему, тоже понизив голос и даже переняв его тон. Нет, она вовсе не желала делать вид, будто между ними есть некая загадочная связь. Однако когда женщина восприимчива к обаянию мужчины, она, сама того не замечая, подражает ему не только подбором слов (это мы можем наблюдать ежедневно), но и манерой говорить, а также расположением духа, если

влияние сильно.

О чем они беседовали, Габриэль не слышал. Он был слишком независим, чтобы вертеться рядом, но слишком обеспокоен, чтобы не заметить, как галантный фермер взял Батшебу под руку и вывел из угла амбара, где на большом щите раскладывалась шерсть, на яркое июньское солнце. Став возле овец, уже остриженных, они продолжили разговор. О чем же? О стаде? Конечно, нет. Габриэль справедливо отметил про себя, что, если речь идет о предмете, находящемся в поле зрения говорящих, те обыкновенно смотрят на означенный предмет. Батшеба же созерцала ничтожную соломинку под ногами, что скорее свидетельствовало о женской застенчивости, нежели о том, что она стыдилась каких-либо изъянов своего стада. Кровь, подобно нерешительной волне, то приливала к ее лицу, то отливала от него. Габриэль меж тем продолжал стричь, пребывая в состоянии печальной стесненности.

Почти четверть часа Болдвуд расхаживал взад и вперед один: Батшеба его покинула. Вскоре она вернулась в новой миртово-зеленой амазонке, облегавшей ее до талии так же тесно, как кожура облегает плод. Юный Боб Когген подвел к госпоже кобылу, а Болдвуд отвязал от дерева свою

лошадь.

Не в силах оторвать взгляд от Батшебы и ее кавалера, Габриэль продолжал стрижку и нечаянно срезал барашку кусочек кожи в паху. Животное вскочило. Батшеба повернула голову и, увидав кровь, сурово воскликнула:

— Габриэль! Вы так строги с другими, так глядите же, что делаете сами!

Посторонний человек не усмотрел бы в этом замечании ничего особенно оскорбительного, но Оуку оно причинило резкую боль, которая отнюдь не смягчалась сознанием его теперешнего положения, в силу коего он был не чета Батшебе и Болдвуду. Габриэль знал: хозяйка понимает, что стригальщик не поранил бы барашка, если бы она сама не нанесла стригальщику раны еще более чувствительной. Так или иначе, мужественная решимость, побуждавшая Оуку внушать себе, будто он больше не влюблен в Батшебу, помогла ему скрыть огорчение.

— Бутыль! — крикнул он обыденно-невозмутимым голосом.

Кайни Болл подбежал с бутылкою, рану смазали, и стрижка продолжилась. Болдвуд бережно подсадил Батшебу в седло, и, прежде чем ускакать, она вновь обратилась к Габриэлю в снисхо-

дительном тоне:

— Я еду смотреть лестерских овец мистера Болдвуда. Займите мое место в амбаре, Габриэль, и следите, чтобы все хорошо работали.

Лошадей развернули, и они зарысили прочь. Глубокая привязанность Болдвуда к Батшебе вызывала живейший интерес у всех, кто его окружал. Долгое время он почитался за образец завзятого холостяка, и теперешнее его падение вызывало некоторую досаду, как смерть врача-шарлатана Сент-Джона Лонга, который приписывал себе умение излечивать чахотку и сам же пал ее жертвою.

— Пахнет свадебкой, — сказала Темперанс Миллер, провожая взглядом свою госпожу и ее кавалера.

— И я думаю, что дело к тому идет, — отозвался Когген, не отрывая глаз от работы.

— Уж если замуж, так лучше за соседа, чем за чужака, — заметил Лейбен Толл, поворачивая овцу, которую стриг.

— А я вовсе в толк не возьму, — печально заговорил Генери Фрэй, — зачем девице нужен муж, коли дом у ней и так есть, и она не боится сама в нем верховодить. Разве только чтобы другой женщине сосед не достался? Ну да пускай себе

женятся. Видно, им больно хлопотно два хозяйства вести.

Решительные личности, подобные Батшебе, неизменно встречают критическое отношение со стороны таких, как Генери Фрэй. Недостаток ее состоял в том, что она слишком явно выражала свое недовольство, а симпатии, напротив, высказывала недостаточно. Как известно, видимый нами цвет придают телу не те лучи, которые оно поглощает, а те, которые отражаются от него. Точно так же о людях часто судят по раздорам и противоречиям, меж тем как добрые побуждения остаются никем не замеченными.

— Как-то раз, — продолжал Генери Фрэй, — я высказал хозяйке свои мысли кое об чем. Только стреляный воробей отважится этакой своевольнице подобные речи говорить. Вы ж знаете, соседи, каков я бываю. Слово мое так и разит наповал, когда во мне гнев закипает.

— Знаем, Генери, знаем.

— Так вот я и говорю: «Госпожа Эвердин, — говорю, — место пустует, и есть способные мужчины, которым охота его занять, но порок… — Нет, «порок» я не сказал, а сказал «злой дух противоречия». Это я женский пол имел в виду. Так вот: — Злой дух противоречия этим мужчинам

препятствует». Не слишком сильно я загнул?

— В самый раз.

— Да. И так же я сказал бы, даже если бы мне за это смерть грозила. Уж если я что думаю, моя душа ничего не боится.

— Ты человек достойный, и притом горд, как Люцифер.

— Смекнули, к чему я клонил? К тому, чтобы она меня управителем назначила. Но я так не сказал, чтобы сразу понятно стало. Оно конечно, можно было и прямо выложить, да только я глубину люблю. Ну да Бог с ней, с нашей хозяйкой. Хоть бы она и вышла замуж — давно пора. Сдается мне, что там за камышами, когда мы овец мыли, фермер Болдвуд ее поцеловал. Так я думаю.

— Ложь! — воскликнул Габриэль.

— А тебе, пастух, откуда знать? — спросил Генери миролюбиво.

— Она мне рассказала, что между ними было, — ответил Оук, немного гордясь тем, что ему оказано некоторое предпочтение перед другими работниками.

— Коли хочешь ей верить, — произнес Фрэй с обидою, — верь, твое право. А как по мне, так лучше глядеть в корень. Иметь голову, подходящую для того, чтоб управляющим быть, — это, может,

и пустяк, да не совсем. Ясно ли я говорю, соседи? А то ведь я стараюсь просто говорить, и все равно речи мои для некоторых слишком мудреными оказаться могут.

— Нам ясно, Генери, ясно.

— Я, люди добрые, стар, конечно, и чудноват немного. Помотала меня жизнь туда-сюда, покоробила малость. Но умишко-то у меня есть. Ха! Да еще каковский! Кое с каким пастухом потягаться бы мог и, глядишь, посрамил бы его. Ну да уж не стану…

— Старый, говоришь? — ворчливо произнес солодовник, прерывая Генери. — Да где ж ты старый, коли у тебя еще и половины зубов не повыпало? Нешто старики бывают при зубах? Когда ты в пеленках лежал, я уж не первый год жену имел! Ты своими шестьюдесятью годами не похваляйся, когда рядом люди, которые девятый десяток разменяли!

В Уэзербери существовал обычай пренебрегать незначительными противоречиями, если это требовалось для умиротворения патриарха.

— Верно, солодовник! — сказал Джен Когген.

— Солодовник, ты среди нас самый старый, и спору нет, — подхватил Джозеф Пурграсс.

— Ты, солодовник, — наша диковина, мы все

горды, что ты так долго живешь.

— А вот когда я молодой был, в расцвете сил, я в округе первым парнем почитался!

— Оно понятно! Само собою!

Согбенный старец был удовлетворен, и Генери Фрэй, по видимости, тоже. Чтобы мир не нарушился вновь, нить разговора взяла в свои руки Мэриэнн. Благодаря рабочему одеянию из грубого рыжеватого полотна, ее смуглокожая фигура окрасилась сочными оттенками охры, какие часто можно видеть на старых картинах, писанных масляными красками, в особенностях на полотнах Никола Пуссена.

— Нет ли у кого на примете горбатого, хромого или еще какого малого с изъяном, чтоб сгодился мне, бедняжке, в мужья? Такого, который всем хорош, я в мои годы уж не ищу. Коли бы я услыхала, что есть для меня кто подходящий, так это было бы мне приятней, чем тосты кушать да элем запивать!

Когген дал Мэриэнн приличествующий в подобных случаях ответ, а Оук продолжил стрижку и не сказал больше ни слова. Покой Габриэля был нарушен, тяжелые думы овладели им. Хозяйка выделила его среди других работников и, возможно, намеревалась поручить ему обязанности

управляющего, в коем ферма испытывала острую нужду. Но отнюдь не фермой желал он управлять: он мечтал получить место в сердце самой Батшебы, чтобы она была его возлюбленной, а не женой другого. Какую глупейшую ошибку он совершил, прочитав ей мораль! С Болдвудом она, вероятно, вовсе и не кокетничала, а лишь притворилась, будто с ним заигрывает, чтобы ранить его, Габриэля. Теперь Оук был убежден, что работники, простодушные и малообразованные, все же правы: к вечеру мистер Болдвуд и мисс Эвердин станут женихом и невестой.

До той поры Оук успел преодолеть ту нелюбовь к чтению Библии, которая от рождения присуща каждому христианскому ребенку. Теперь он часто обращался к Священному Писанию и в эту минуту мысленно произнес: «Горче смерти женщина, потому что она — сеть, и сердце ее — силки»[31]. Однако это внутреннее восклицание было лишь пеной после шторма. Габриэль любил Батшебу, как и прежде.

— Сегодня мы, рабочие люди, попируем по-господски, — сказал Кайни Болл, прервав раздумья пастуха. — Нынче утром я видел, как тесто для

---

[31] Примечания: 31
Екклесиаст, 7:26.

пудинга прямо в ведрах месили, и куски жира туда добавляли с ваш большой палец, мистер Оук! В жизни не видывал таких шматков жира. Раньше всегда маленькие кусочки клали, не больше горошины. А еще на огне стоял здоровенный трехногий черный котел, только что было внутри, я не разглядел.

— Два бушеля яблок принесли для пирога, — прибавила Мэриэнн.

— Не терпится мне всего этого испробовать, — протянул Джозеф Пурграсс в предвкушении. — Еда и питье — отличная вещь. Хороший ужин душу бодрит, а для тела это, ежели можно так сказать, как для души Евангелие, без которого нам погибель.

Глава XXIII
Вечер. Второе объяснение

Для ужина в честь стрижки овец на лужайку возле дома вынесли длинный стол. Он помещался у широкого окна гостиной и на фут или два заходил в комнату. С этого конца, во главе стола, сидела мисс Эвердин, председательствовавшая за ужином и вместе с тем обособленная от людей. В тот вечер Батшеба была необыкновенно оживлена, темные лабиринты волос оттеняли алую краску губ и щек. По-видимости, она кого-то ждала, ибо место в противоположном конце стола оставалось по ее просьбе свободным. Когда ужин начался, Батшеба попросила Габриэля сесть туда и потчевать остальных, на что он весьма охотно согласился.

Но в этот самый момент в воротах появился мистер Болдвуд. Пройдя через лужайку, фермер приблизился к окну, где сидела хозяйка дома, и попросил извинения за опоздание. Стало быть, он зашел не случайно, а по приглашению.

— Габриэль, прошу вас, пересядьте снова. Уступите кресло мистеру Болдвуду.

Оук молча вернулся на прежнее место. Фермер-джентльмен надел для ужина новый сюртук с белым жилетом — праздничный костюм, разительно отличавшийся от его всегдашней серой одежды. Внутренно он тоже был веселее обычного и весьма разговорчив. Батшеба с его приходом тоже стала больше говорить. Только нежданное появление Пеннивейза — управляющего, уволенного за кражу, — на краткое время нарушило ее приподнятое настроение.

Когда с ужином было покончено, Когген по собственному почину, не дожидаясь, когда его попросят, затянул:

Любовь свою я потерял, а мне и горя нет!

Любовь свою я потерял, а мне и горя нет!

Уж лучше новую сыскать, чем прежней с кем-то изменять.

Любовь свою я потерял, а мне и горя нет…

Джен был вознагражден лишь одобрительными взглядами: слушатели, очевидно, подразумевали, что их удовольствие от этой песни само собой разумеется, и посему аплодировать

излишне (по той же причине книги прославленных сочинителей не нуждаются в газетных похвалах).

— Теперь, Джозеф, спой ты, — обратился Когген к Пурграссу.

— Мне Бог уменья не дал, да и захмелел я уже, — заскромничал тот.

— Чепуха, Джозеф! Скажи лучше, что не хочешь нас уважить! — Когген изобразил голосом, будто чувства его задеты. — Госпожа так и смотрит на тебя, словно приказывает: «А ну-ка пой, Джозеф Пурграсс!»

— Коли госпожа приказывает, так, стало быть, я должен эту муку вытерпеть. Поглядите на меня, братцы, и скажите, не слишком ли прилила к лицу моя предательница-кровь?

— Нет, Джозеф, ты совсем не сильно покраснел.

— Ежели на меня красавица глядит, — признался Пурграсс, — я изо всех сил стараюсь не залиться краской, да только ничего не выходит…

— Давай же, Джозеф, спой, — произнесла Батшеба из своего окна.

— Право, мэм, — ответил Пурграсс, уступая, — я и не знаю, что спеть. Исполню скромную пиесу собственного моего сочинения.

— Просим, просим! — откликнулись все.

После столь настойчивых уговоров Пурграсс пропел чувствительные стихи (слегка хромающие, но в целом похвальные) на мотив, состоявший из двух нот, причем вторая выводилась особенно тягуче. Эта «пиеса» имела большой успех, и певец, окрыленный, принялся за следующую, даже не отдышавшись. Поначалу он все никак не мог вступить, но наконец запел:

Три любовных семени посеял я весной.

Птички песни пели, май блистал красой…

— Отменно! — воскликнул Когген, прерывая певца. — «Блистал красой» у тебя отлично вышло.

— Ага! И «посеял я весной» ты недурно протянул. В такую высь залез, где мужскому голосу сорваться немудрено. Давай дальше, мастер Пурграсс.

Пурграсс запел дальше, но тут с юным Бобом Коггеном случилось то, что нередко случается с детьми, когда взрослые особенно серьезны: подавляя смех, паренек запихнул угол скатерти глубоко в рот и просидел так, с запечатанной глоткой, некоторое время, однако распиравшее

его веселье все-таки вырвалось наружу через нос. Щеки Пурграсса лихорадочно вспыхнули от негодования, и он тотчас перестал петь. Джен Когген немедля влепил Бобу затрещину.

— Пой, Джозеф, не обращай внимания на щенка. Пиеса твоя прямо за душу берет. Давай дальше, а я помогу тебе вытянуть верхи, чтоб ты не задыхался.

— И-и-и-во-вы-ы-ы-е ветви гну-у-утся и сплета-а-аются, — снова затянул Пурграсс, однако теперь пение у него никак не ладилось.

Боб Когген за дурное поведение был отправлен домой, а Джейкоб Смоллбери восстановил всеобщее спокойствие исполнением баллады, не менее поучительной и пространной, чем та песнь, которою почтенный пропойца Силен развлекал Хромида, Мназилла[32] и других весельчаков древних времен. Вечерние лучи еще не угасли, а ночь, крадучись, уже расстилалась по земле: свет догорал, не касаясь темной равнины. Солнце зашло за дерево, словно пыталось спрятаться от смерти, но закат был неизбежен. Вскоре ноги стригальщиков окутала сумеречная мгла, хотя головы и плечи еще ласкал золотистый свет,

[32] Примечания: 32

Силен (лесное божество), Хромид и Мназилл (пастушки́) — персонажи «Буколик» Вергилия (эклога VI).

который казался их собственным сиянием, а не отсветом угасающего неба.

Вскоре все поглотил охристый туман, а собравшиеся за столом сидели и говорили, веселые, как гомеровские боги. Батшеба, не покидая своего трона в окне, занялась вязанием. Временами она поднимала голову, чтобы окинуть взглядом темнеющий ландшафт. Сумерки расползались медленно, и лишь когда они обступили стол плотным кольцом, собравшиеся пришли в движение.

Габриэль вдруг обнаружил, что Болдвуд покинул свое место против Батшебы. Давно ли — Оук не знал. Вероятно, фермер был где-то поблизости, скрытый мглою, окутавшей все вокруг. Пока пастух размышлял, Лидди зажгла в комнате свечи, и отсветы веселого молодого пламени упали на стол и лица людей, рассеявшись среди зеленых теней за их спинами. Фигура Батшебы стала вновь отчетливо видна, а рядом с нею, в окне, обнаружилась и фигура Болдвуда.

Всех взволновал вопрос: не согласится ли мисс Эвердин в завершение вечера исполнить ту песню, которую всегда поет так чудесно, — «На

брегах Аллан-Уотера»[33]. Секунду поколебавшись, Батшеба кивком подозвала к себе Габриэля, и тот немедленно явился на желанный зов.

— Вы принесли с собою флейту? — шепотом спросила госпожа.

— Да, мисс.

— Тогда подыграйте мне.

Она встала, озаренная пламенем свечей, горевших позади нее. Габриэль поместился справа, с наружной стороны окна. Болдвуд — слева, внутри. Сперва Батшеба пела мягко и немного робко, затем ее голос обрел уверенность и силу. Вскоре суждено было случиться событиям, которые на многие месяцы и даже годы связались в памяти собравшихся с этими стихами:

Повстречал ее солдат,
Обещал на ней жениться,
Ах, счастливей, говорят,
В мире не было девицы![34]

---

[33] Примечания: 33

«На брегах Аллан-Уотера» *(«On the Banks of Allan Water»)* — баллада, написанная Мэтью Грегори Льюисом (1775–1818), автором готического романа «Монах». Повествует о девушке, обманутой солдатом и утопившейся в водах шотландской реки Аллан-Уотер.

[34] Примечания: 34

Перевод Е.Д. Фельдмана (Семь веков английской поэзии. Англия. Шотландия. Ирландия. Уэльс // Льюис М.Г. Аллан-Вотер, зелен берег… М.: Водолей Publishers, 2007. Т. 2. С. 410).

К сладким звукам Габриэлевой флейты Болдвуд прибавил нижний голос. Его сочный бас лился свободно и притом мягко: он не соперничал с Батшебою, как обыкновенно бывает в дуэтах, а лишь украшал ее пение, обволакивая высокие ноты густою тенью, скрывающей в себе неизведанное. Слушатели сидели в непринужденных позах: каждый опирался плечом о плечо соседа, как делали те, кто пировал тысячи лет назад. Все внимали пению с такою увлеченностью, что можно было расслышать каждый вздох Батшебы. Когда последняя нота баллады угасла, поднялся одобрительный гул, который дороже аплодисментов, как розовое масло дороже вороха лепестков.

Само собою, Габриэль не мог не заметить того, что Болдвуд по-особенному держал себя в тот вечер с хозяйкою дома. Самые его движения не казались странными, однако они никогда не совпадали во времени с движениями остальных. Он глядел на Батшебу, когда другие на нее не смотрели, а когда смотрели — напротив, отводил взгляд. Когда они благодарили или хвалили хозяйку, он молчал, когда молчали они — бормотал слова благодарности. Как таковые, эти слова ничего не значили: именно в несвоевременности заключался их главный смысл, и Оук разгадал

его, движимый ревностью, которую непременно доводится испытать всякому влюбленному.

Пожелав работникам доброй ночи, Батшеба удалилась в глубь комнаты. Болдвуд, оставшийся с нею, закрыл окно и ставни. Оук ушел бродить под тихими пахучими кронами деревьев. Стригальщики, мало-помалу очнувшись от мягкого дурмана, навеянного пением хозяйки, стали подниматься со своих мест. Отодвигая скамью, чтобы выйти, Когген обратился к Пеннивейзу:

— Я никогда человеку в похвале не откажу, коли он ее заслужил. Не таковский я. — При этих словах Джен поглядел на почтенного вора, как на гениальное творение кисти великого мастера.

— Если б мы, так сказать, воочию не убедились, — произнес Джозеф Пурграсс, икая, — я б ни в жизнь не поверил, что все на столе осталось, как было вначале, и ни чашки какой, ни ножа или вилки, ни пустой бутыли — ничего не украдено.

— Я и половины ваших похвал недостоин, — угрюмо ответил добродетельный вор.

— За Пеннивейза я готов поручиться, — продолжил Когген. — Уж если он задумал благородное дело сделать — а нынче я это по лицу его увидел, когда он за стол садился… Уж если задумал, так он исполнит. Да, соседи, с гордостью вам говорю:

Пеннивейз ничего не украл.

— Да. Мы тебя, Пеннивейз, благодарим за честное деяние, — подытожил Джозеф, и вся оставшаяся компания единодушно одобрила его слова.

В этот час, когда работники расходились по домам, и с лужайки была видна лишь узкая полоска света между оконными ставнями, в комнате разыгрывалась бурная сцена. Мисс Эвердин и мистер Болдвуд были вдвоем. Взволнованная серьезностью положения, хозяйка поместья более не горела здоровым румянцем, однако в блеске ее глаз ощущалось торжество — триумф, ожидаемый ею, но едва ли желанный. Она только что поднялась из кресла, в которое Болдвуд теперь опустился коленями. Перегнувшись через спинку, он двумя руками держал руку Батшебы. Беспокойство, ощущавшееся в каждом его движении, было признаком того, что Китс в своей «Оде соловью» назвал счастьем не в меру счастливым. Охваченный любовью, почтенный муж утратил достоинство, прежде бывшее его неизменным спутником. Видя это, Батшеба испытывала боль, отравлявшую радость того, что ее обожают.

— Я буду стараться вас полюбить, — произнесла она с несвойственной ей дрожью в голосе. — Если

б я могла верить, что стану вам хорошей женой, я бы вышла за вас с радостью. Но, мистер Болдвуд, в столь важном деле женщине не пристало торопиться, и сегодня я не хочу ничего вам обещать. Прошу вас подождать еще несколько недель, чтобы я могла лучше понять свои чувства.

— Вы полагаете, что тогда…

— Я надеюсь, что ко времени жатвы, то бишь через пять или шесть недель, в продолжение которых вас, как вы говорите, не будет на ферме, я смогу обещать вам сделаться вашею женой, — произнесла Батшеба твердо. — Но помните: пока я не дала решительного ответа.

— О, мне этого довольно! Я буду ждать заветных слов! А покамест, мисс Эвердин, доброй ночи!

— Доброй ночи, — ответила она благосклонно, почти нежно.

Болдвуд удалился с безмятежной улыбкой. Теперь Батшеба знала о нем больше, чем прежде: он до того обнажил перед нею свое сердце, что еще немного, и она стала бы взирать на него с жалостью — как на величественную птицу, утратившую величие вместе с оперением. Собственное былое безрассудство теперь внушало Батшебе ужас, и она силилась принудить себя к искуплению вины, не думая о том, что кара,

назначенная ею для себя, вероятно, слишком сурова. Исповедь Болдвуда показалось ей истинной мукой, однако немного погодя она ощутила, что к страху ее примешивается некоторая доля радости. Удивительно, с какою легкостью даже самая робкая женщина порою обнаруживает удовольствие в том, чего боялась, если боязнь ее была сопряжена с победой.

Глава XXIV
Тем же вечером в ельнике

В числе разнообразных обязанностей, которые Батшеба добровольно возложила на себя, отказавшись от услуг управляющего, был ежевечерний обход фермы: прежде чем отойти ко сну, надлежало удостовериться, что все хорошо и спокойно. Габриэль, следивший за делами своей госпожи с ловкостью офицера тайной полиции, почти всегда упреждал ее в исполнении означенного долга. Однако его нежная преданность была по большей части ей неизвестна. То же, о чем она знала, принималось ею без благодарности. Женщины не устают оплакивать мужское непостоянство в любви, при том что постоянные воздыхатели встречают с их стороны одно лишь небрежение.

Тому, кто ходит дозором, предпочтительно оставаться невидимым, посему фонарь Батшебы был потайным. Время от времени она отодвигала заслонку и с хладнокровием городского полисмена оглядывала темные углы и закоулки. Спокойствие ее проистекало, вероятно, не из от-

сутствия страха перед опасностью, а из того, что она о таковой не подозревала. До сих пор ей ни разу не доводилось обнаруживать ничего опаснее лошади, у которой в стойле мало соломы, птицы, не загнанной в курятник, или незапертой двери.

В этот вечер, обойдя все постройки, Батшеба направилась к загону, где царила тишина, нарушаемая лишь чавканьем множества ртов и громогласным сопением едва видимых носов. Вздохи завершались всхрапыванием и фырканьем, напоминающим шум медленно раздуваемых кузнечных мехов, а затем возобновлялось жевание. При помощи деятельного воображения глаз человека мог различить несколько пар бело-розовых ноздрей, формою похожих на пещеры, а на ощупь очень влажных и липких, так что от прикосновения к ним непривычной руке делалось неприятно. Рты обнаруживали сильную склонность заключать в себя любые части человеческой одежды, до каких только дотягивались языки. Тот, чье зрение особенно остро, мог увидать коричневый лоб и два глаза, глядящих перед собою в упор, но без злобы. Надо всем этим белели рога, имеющие форму двух молодых месяцев. Наконец, протяжное «му-у-у» рассеивало последние сомнения пришельца в

том, что перед ним именно Дейзи, Белокопытка, Бонни-Лэсс, Джолли-Оу, Пятнистая, Глазастая и прочие почтенные девонширские коровы, принадлежащие фермерше Батшебе Эвердин.

Путь из коровьего загона к дому пролегал по тропе, петляющей между конусами молодых елей, посаженных несколькими годами ранее для защиты фермы от северного ветра. Густые ветви смыкались друг с другом над головою идущего, образуя кровлю, под которою безоблачным днем бывало пасмурно, ранним вечером — сумеречно, в сумерки — темно, как в полночь, а в полночь — черно, как во дни девятой казни египетской. Ельник казался просторною залой с низким перистым потолком, поддерживаемым стройными колоннами живого дерева, и полом, устланным сероватым ковром из осыпавшихся игл и прелых шишек, сквозь который кое-где пробивались травинки.

Во время вечерних обходов этот участок пути всегда внушал хозяйке фермы некоторые опасения, хотя и не настолько сильные, чтобы она брала кого-то себе в провожатые. Тихо, как Время, пробираясь по лесной тропе, Батшеба расслышала нечто похожее на шорох шагов. Да, кто-то шел ей навстречу. Собственные ее шаги мгновенно

сделались вовсе беззвучными, словно не ноги человека ступали, а падали снежные хлопья. Фермерша напомнила себе, что тропа принадлежит общине, и неизвестный путник может оказаться селянином, идущим домой. Ей самой оставалось пройти до дома совсем немного, и все же встреча с незнакомцем в темной роще была ей неприятна. Шум шагов между тем нарастал, приближаясь. Еще немного, и неизвестный прошел бы мимо, но вдруг Батшеба почувствовала, как что-то потянуло и накрепко пришпилило к земле подол ее платья. Вынужденная резко остановиться, она на миг потеряла равновесие и, выставив руки, чтобы не упасть, ощутила ладонями теплую ткань и пуговицы чьей-то одежды.

— Вот так случай! — произнес мужской голос над головою Батшебы. — Я тебя не ушиб, приятель?

— Нет, — ответила Батшеба, стараясь отслониться.

— Видно, мы как-то зацепились друг за друга.

— Да.

— Вы женщина?

— Да.

— Наверное, мне следовало сказать «леди».

— Это неважно.

— А я мужчина.

— Ах! — Батшеба снова тщетно потянула за подол.

— Это у вас, я полагаю, тайный фонарь?

— Да.

— Если позволите, я его открою и вас освобожу.

Рука мужчины схватила фонарь, отворила дверцу, и лучи хлынули наружу из заточения. То, что открылось взору Батшебы, потрясло ее. Незнакомец, к которому она была пришпилена, сверкал медью и багрянцем военного мундира. Его появление из темноты поразило не меньше, чем трубный звук, раздавшийся в полной тишине. Тьма, до сих пор, как *genius loci*[35], безраздельно властвовавшая в ельнике, была внезапно рассеяна — причем не столько светом фонаря, сколько тем, что фонарь осветил. Батшеба ожидала увидеть зловещую фигуру в мрачном одеянии, и теперь ей казалось, будто произошло чудесное превращение.

Суть произошедшего сразу стала ясна: шпора драгуна запуталась в кружеве, украшавшем низ платья Батшебы. Военный бросил взгляд на ее

---

[35] Примечания: 35
Genius loci (*лат.*) — дух места.

лицо и с внезапно удвоившейся галантностью произнес:

— Я сию же минуту отцеплю вашу юбку, мисс.

— Ах нет, благодарю вас, я сама, — поспешно ответила Батшеба и склонилась, дабы исполнить свое намерение, но это оказалось непросто: колесико шпоры так запуталось в нитках, что для его освобождения требовалось время.

Драгун тоже нагнулся. Фонарь, стоявший на земле между ними, как огромный светлячок, озарял ветви елей и высокую влажную траву. Его лучи ярко освещали лица Батшебы и незнакомца, чьи фигуры отбрасывали огромные тени, которые, искажаясь и путаясь, ползли по стволам деревьев, пока не сходили на нет.

На миг подняв глаза, Батшеба встретила пристальный взгляд и, не выдержав его, потупилась. Однако она успела заметить, что военный молод, строен и имеет на рукаве три шеврона.

— Вы пленница, мисс, — сухо сказал он, когда она опять потянула за подол. — Отрицать это бессмысленно. Если вы так уж спешите, я могу отрезать край вашего платья.

— Да, прошу вас! — беспомощно воскликнула Батшеба.

— В этом не будет необходимости, если вы со-

благоволите немного подождать.

И драгун принялся распутывать нити, зацепившиеся за колесико шпоры. Батшеба убрала руку, но он, нечаянно или намеренно, ее коснулся. Сама не зная отчего, Батшеба взволновалась. Сержант все возился с нитками, однако разобрать их ему никак не удавалось. Когда она опять на него поглядела, он, не церемонясь, сказал:

— Благодарю вас за возможность видеть столь прекрасное лицо.

Батшеба зарделась от смущения.

— Я вовсе не имела намерения вам его показывать, — чопорно ответила она, силясь сообщить своим словам как можно более горделивости, к каковой, надо сказать, положение пленницы отнюдь не располагало.

— Ваша неучтивость вас только красит, мисс.

— Я бы хотела… Хорошо бы вы сюда не вторглись и не встретились мне!

Батшеба в который раз потянула за платье, и его оборки затрещали, как мушкеты лилипутов.

— Я, пожалуй, и вправду заслуживаю порицания, и все же откуда в прекрасной и благонравной деве такая ненависть к полу ее отца?

— Сделайте одолжение, ступайте своею дорогой.

— Прикажете тащить вас за собой, красавица? Поглядите только: отродясь я не видал этакой путаницы!

— О, да как вам не совестно! Вы нарочно еще хуже сделали, чтобы меня задержать! Нарочно!

— Что вы, как можно?! — произнес сержант.

— Нет, вы нарочно, я знаю! — гневно воскликнула Батшеба. — Я сейчас же распутаю все сама.

— Конечно, мисс, извольте, — вздохнул сержант с лукавством, какое только может выражать вздох, не переставая быть таковым. — Я признателен вам уже за то, что имел счастье видеть вашу красоту, хоть вы и швырнули мне это счастье, как собаке кость. До чего же скоротечны сладостные мгновения!

Твердо вознамерясь хранить молчание, Батшеба сжала губы и подумала, уж не высвободиться ли ей смелым рывком. Однако в таком случае она рисковала остаться без юбки, а платье, надетое ею для ужина по случаю стрижки овец, было красой и гордостью ее гардероба. Никакая женщина на месте Батшебы (которая была небоязливого десятка да к тому же находилась вблизи дома и могла позвать на помощь) не стала бы освобождаться от шпоры ослепительного драгуна такою дорогой ценой.

— Чуточку терпения, — невозмутимо произнес сержант. — Сейчас, полагаю, все будет готово.

— Ваши праздные речи раздражают и…

— Не будьте слишком жестоки!

— …оскорбляют меня!

— Я позволяю себе шутить лишь затем, чтобы иметь удовольствие принести обворожительной даме свои извинения, что я покорнейше и делаю. — При этих словах молодой человек отвесил низкий поклон. Батшеба промолчала, совершенно растерявшись. — Немало женщин повидал я на своем веку, — продолжал сержант более тихим и раздумчивым голосом, в то же время оценивающе поглядывая на склоненную головку незнакомки, — но никогда не встречал никого прекрасней вас. Хотите верьте, хотите нет, хотите радуйтесь, хотите обижайтесь — воля ваша. Мне все равно.

— Кто же вы, если обладаете такою независимостью суждения?

— Сержант Трой. Я не чужак. Живу в этих краях. Но вот уж и готово! Ваши пальчики оказались проворнее моих. А я бы желал, чтобы это был узел узлов, который никак не развязать!

Батшебе час от часу становилось не легче. Она распрямилась, он тоже. Теперь затруднение

состояло в том, чтобы отделаться от нового знакомца, не нарушая приличий. Дюйм за дюймом отступая вбок, Батшеба начала удаляться от него, и наконец красный мундир перестал быть виден в свете фонаря.

— Прощайте, красавица! — прокричал сержант напоследок.

Молча пройдя еще двадцать или тридцать ярдов, Батшеба бегом припустила к дому. Лидди только что легла. Проходя в свою спальню, фермерша приоткрыла дверь в комнату служанки и, часто дыша, спросила:

— Лидди, не живет ли в деревне военный — сержант какой-то? Изъясняется как джентльмен и хорош собой, носит красный мундир с синею отделкой.

— Нет, мисс… Не припомню такого… Хотя, может, сержант Трой в отпуск приехал? Сама я его не видала. Он был здесь, когда полк стоял в Кестербридже.

— Да, именно так он и назвался. У него усы без бороды и бакенбард?

— Верно, мисс.

— Что он за человек?

— Ох, мисс, и сказать совестно. Повеса. Однако ума и проворства ему не занимать. Мог бы не

одну тысячу скопить и сделаться как сквайр. Этакий денди! По бумагам докторов сын — уже хорошо! — а по крови вообще графский.

— Вот еще лучше! Подумать только! Это правда?

— Да. И воспитание он получил распрекрасное. Его послали в Кестербридж, и он там много лет в гимназии учился. Все языки знает. Говорят, до того преуспел, что даже по-китайски пишет пребыстро. Но это я с чужих слов говорю. Так ли, иначе ли, растратил он свой дар понапрасну. Пошел в солдаты. Однако ж и там поднялся до сержанта безо всякого труда. Ах, до чего прекрасно — родиться благородным! Графская кровь всегда себя проявит, даже когда человек в низах служит. Выходит, мисс, он домой вернулся?

— Полагаю, что так. Доброй ночи, Лидди.

Могла ли счастливая носительница юбок долго хранить обиду против мужчины? Юные дамы, подобные Батшебе, порою мирятся с непривычной прямотой сильного пола, если жаждут похвалы (что бывает часто), хотят, чтобы их укротили (что встречается реже) или не любят пустой светской болтовни (что уж вовсе редкость). Батшебой сейчас владело первое желание не без примеси второго. К тому же, будь то воля случая

или бесовские проказы, видный молодой драгун, знававший, вероятно, лучшие дни, сделался интересен фермерше, и она уж теперь не могла с уверенностью сказать, в самом ли деле он ее оскорбил.

— Как это странно! — воскликнула Батшеба, оставшись одна в своей спальне. — И как это дурно, что я была неучтива с человеком, от которого не видела ничего, кроме доброты и любезности!

Нет, теперь откровенные похвалы, услышанные от сержанта Троя, отнюдь не казались ей обидными. Болдвуд допустил непростительную ошибку: он ни разу не говорил ей, что она красива.

Глава XXV
Портрет нового знакомца Батшебы

Природа и судьба, заключив между собою союз, сделали сержанта Троя человеком необычным. Воспоминания он считал помехой, а мысли о будущем — ненужным излишеством. Он чувствовал только то, что есть сейчас, только об этом думал и тревожился, а посему только настоящее могло его ранить. Время состояло для него из мимолетных мгновений, он был чужд представления о череде дней, которые приходят и уходят, заставляя нас жалеть о прошлом и с осторожностью глядеть в будущее. Прошлое было для него вчера, а будущее завтра — только и всего.

В силу этой своей особенности Трой мог, пожалуй, называться счастливейшим из людей, ибо не так уж не прав будет тот, кто скажет, что памятливость хуже недуга, а ожидание грядущего не терзает нас лишь тогда, когда принимает форму абсолютной веры — явления почти невозможного, — меж тем как прочие формы: надежда, терпение, нетерпение, решимость, любопытство

— есть постоянное колебание между отрадой и болью.

Сержант Трой не ведал разочарований, ибо никогда ничего не ждал. Выгоду, извлеченную им из отказа от прошлого и будущего, уравновешивала утрата тех возвышенных чувств и впечатлений, которые он приобрел бы, если бы не означенный отказ. Однако потеря не воспринимается человеком как таковая, ежели ограничивает его лишь в моральном или эстетическом, но не в материальном отношении. Тот, кто страдает бедностью духа, не замечает ее, а тот, кто замечает, вскоре излечивается. В том, чего он никогда не имел, Трой не мог ощущать недостатка. В то же время он ясно осознавал, что наслаждается тем, чего лишены люди более рассудительные и серьезные, а посему мнил себя богаче их, хотя на деле был беднее.

Если с мужчинами он был в меру честен, то женщинам лгал, как критянин[36], — именно это выгодно тому, кто желает, попав в приятное общество, тотчас сделаться популярным. То же,

[36] Примечания: 36

«Критяне всегда лжецы» — цитируемое в Послании к Титу апостола Павла (1:12) утверждение, которое приписывается древнегреческому жрецу и поэту Эпимениду и является парадоксом, поскольку сам Эпименид был уроженцем Крита.

что симпатии, завоеванные такою моральною стратегией, недолговечны, может волновать лишь человека, привыкшего думать о завтрашнем дне.

Трой никогда не пересекал черты, отделяющей элегантные пороки от безобразных: едва ли кто-либо аплодировал его нравственности, однако упреки, ему адресованные, часто высказывались с улыбкой. Посему в беседе он порою живописал похождения своих знакомцев, причем отнюдь не для поучения слушателя, а для того, чтобы, присвоив себе чужие амурные подвиги, упрочить собственную репутацию жуира.

Рассудок и склонности сержанта Троя редко друг на друга влияли, ибо давно уже разошлись по обоюдному согласию, и даже самые благородные из его намерений были только светлым пятном на фоне черных дел. Дурные поступки он совершал под действием порыва, а добрые — по трезвом размышлении. Трой был деятелен, однако его энергию уместнее сравнить с энергией растения, нежели локомотива. Не обременяя себя поиском оснований и целей, он тратил силы на тот предмет, который встречался на его пути по воле случая. Порой он блистал умением говорить, ибо речь спонтанна, зато в делах уступал даже

посредственным людям, поскольку не был способен должным образом направлять свои усилия. Обладая быстрым умом и отнюдь не самой слабой волей, Трой не умел сочетать одного с другим: ум, не направляемый волею, занимал себя пустяками, а воля к действию праздно блуждала, не принимая во внимание ум.

Трой вышел из среднего сословия и имел хорошее образование — для солдата даже избыточное. Говорил гладко и много, умел быть одним, а казаться другим: объясняясь в любви, думать об ужине, делать визит мужу, чтобы поглядеть на жену, предлагать плату, намереваясь взять в долг.

Лесть — оружие, против которого женщина бессильна. Эту истину многие повторяют механически, как пословицу (точно так же мы обыкновенно называем себя христианами, не думая о том, что следует из сего утверждения). Расхожее мнение о действенности лживых похвал хранится большинством умов вместе с другими потрепанными афоризмами, подлинный ужасающий смысл которых открывается лишь тогда, когда происходит несчастье. Те же, кто превозносит лесть не совсем бездумно, подразумевают, как правило, что, расточая комплименты, нужно

знать меру. К чести и, пожалуй, к счастью мужчин, немногие из них ищут эту меру опытным путем, и немногим из них доводится самолично познать ее вследствие неприятного происшествия. Большинство довольствуется печальными примерами, показывающими, сколь губительна власть, которую притворщик получает над женщиной, изливая бурные потоки льстивых похвал.

Сержант Трой принадлежал к меньшинству — к тем, кто не желает воздерживаться от экспериментов и весело ставит опыт за опытом, невзирая на трагические последствия. О Трое говорили, что однажды он невзначай заметил: «Если имеешь дело с женщинами — льсти. А не хочешь льстить, так бранись. Третьего не дано. Тот, кто с ними честен, пропал».

Через пару недель после стрижки овец Батшеба, которой в отсутствие Болдвуда почему-то вольнее дышалось, вышла к ограде своего луга, дабы поглядеть, как идет косьба. На каждую корявую фигуру (мужскую) приходилась одна округлая (женская) — в широкополой шляпе, на которую был наброшен нанковый платок до плеч. Марк Кларк и Джен Когген трудились на ближнем лугу: первый тихонько напевал, размахивая косою в

такт, а второй даже не силился за ним поспеть. Дальний луг был уже скошен. Женщины собирали сено, мужчины забрасывали стога на телеги.

За одной из подвод показалось ярко-алое пятнышко: новоприбывший запросто приблизился к работникам и стал кидать вороха скошенной травы вместе с ними. Это был доблестный драгун, пришедший убирать сено удовольствия ради. Никто не взялся бы спорить с тем, что безвозмездным участием в трудах страдной поры сержант оказывает хозяйке фермы поистине рыцарскую услугу.

Стоило Батшебе войти на луг, Трой, тотчас ее узнав, воткнул вилы в землю, подобрал хлыстик или трость и пошел навстречу. Прекрасная фермерша, полусмущенная-полурассерженная, покраснев, устремила взгляд на тропинку, по которой шагала.

Глава XXVI
У края луга

— Мисс Эвердин! — окликнул ее сержант, тронув узкий козырек своей фуражки. — Вот уж не думал я, что именно вы вчера вечером были моею собеседницей! Хотя мне следовало бы догадаться: вы и есть та самая «королева хлебной биржи», о которой я слышал в Кестербридже. Правда остается правдой, будь то день или ночь. Этот титул мог принадлежать только вам и никакой другой женщине. Так позвольте мне принести тысячу извинений за то, что давеча я повел себя слишком вольно для незнакомца. Вообще-то я здешний уроженец. Сержант Трой (вчера я уже имел честь вам рекомендоваться). В юности, еще при вашем дядюшке, я множество раз приходил на эти поля помогать в работах. И сегодня пришел, чтобы сделать то же для вас.

— Полагаю, я должна сказать вам за это спасибо, сержант Трой, — равнодушно ответствовала королева хлебной биржи.

Лицо драгуна выразило печаль и легкую обиду.

— Вовсе нет, мисс Эвердин. С чего вы взяли?

— Я рада, если не должна выражать вам признательность.

— Почему же, позвольте спросить?

— Потому что я ни за что не хочу быть вам благодарной.

— По-видимому, мой язык допустил оплошность, которой сердцу не исправить. О, наш несносный век! Всякого мужчину ждет кара, если он был честен с дамой, сказав ей, что она прекрасна. Ведь признайте: ничего большего я не говорил. А сказать о вас меньше никак нельзя.

— Есть такие речи, без которых я прекрасно обхожусь.

— Сдается мне, вы хотите переменить предмет беседы?

— Нет. Я хочу сказать, что вашему обществу я предпочла бы ваше отсутствие.

— А я предпочел бы ваш гнев поцелуям любой другой женщины и посему остаюсь.

Батшеба онемела от негодования. И вместе с тем она понимала, что не следует слишком резко отказывать тому, кто предлагает помощь.

— Возможно, — продолжал Трой, — бывает похвала, способная обидеть. Каюсь: мой комплимент был груб. И все же вы ко мне несправедливы.

«Я человек открытый и прямой»[37], притворству не обучен. Потому и сказал, что думаю, вовсе не намереваясь вас оскорбить. А вы меня гоните, будто пса.

— Все не так, как вы говорите, — произнесла Батшеба, отворачиваясь. — Просто я не терплю дерзостей от незнакомцев, даже если меня превозносят.

— Выходит, вас обидел не смысл сказанного, а тон, — промолвил Трой, нисколько не смутившись. — Тогда мне остается утешать себя лишь тем, что слова мои, приятны они вам или неприятны, выражают чистую правду. Или, увидав ваше лицо, я должен говорить моим знакомым, будто вы женщина заурядная, чтобы при встрече они не смущали вас любопытными взглядами? Увольте. Не стану я так нелепо лгать, поощряя в даме чрезмерную скромность!

— Все это обман, что вы говорите, — ответила Батшеба, помимо собственной воли усмехаясь лукавству драгуна. — Ваша изобретательность беспримерна. А упрекаю я вас лишь в одном: неужто вы не могли вчера пройти мимо, ничего не говоря?

---

[37] Примечания: 37

У. Шекспир. Юлий Цезарь. Акт III, сцена 2. Перевод М.А. Зенкевича.

— Вероятно, мог, но не хотел. Радость приятного чувства состоит наполовину из возможности выразить его, не таясь. И я это сделал, как сделал бы, окажись вы полной своей противоположностью — уродливой старухою.

— И давно ли вас мучит такая жажда быть откровенным?

— С тех самых пор, как я научился отличать прелесть от безобразия.

— Смею надеяться, что ваша способность к различению касается и нравственности, а не только женских лиц.

— О нравственности и вере, своей или чужой, говорить я не стану. Хотя, пожалуй, я был бы примерным христианином, если б не поклонялся вам, красавицам, как язычник.

Батшеба зашагала прочь, не желая показывать сержанту веселых ямочек на щеках. Он последовал за ней, поигрывая хлыстиком.

— Мисс Эвердин, скажите, что прощаете меня!

— Не могу.

— Отчего же?

— Вы такие вещи говорите!..

— Я сказал, что вы прекрасны, и не откажусь от своих слов, ибо красивей вас я никого еще не встречал. Умереть мне на этом самом месте, если

я лгу! Клянусь вам…

— Ах, нет, нет! Вы богохульствуете! Не стану вас слушать! — воскликнула Батшеба, с беспокойством ощущая противоречивость собственных чувств: тяготясь излияниями Троя, она вместе с тем желала слышать новые похвалы.

— И все же повторю: вы обворожительны. Уж эти-то слова вполне невинны, ведь факт очевиден. Быть может, я выразился слишком сильно, чтобы доставить вам приятность, и слишком слабо, чтобы вас убедить, но я был честен, так почему вы не даруете мне прощение?

— Потому что вы сказали неправду, — пробормотала Батшеба жеманно.

— Стыдно, мисс Эвердин! Вы упрекаете меня в нарушении третьей заповеди[38], меж тем как сами нарушаете девятую[39]!

— Вовсе нет, просто мне не кажется правдой, что я так уж обворожительна, — уклончиво ответствовала Батшеба.

— Если вы сами этого не находите, мисс Эвердин, виновата ваша скромность. Но от других-то

---

[38] Примечания: 38

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно…» (Исход, 20:7)

[39] Примечания: 39

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего» (Исход, 20:16).

вы наверняка слыхали о том, чего они не могли не заметить. Люди вас не обманывали.

— Точно таких слов мне никто не говорил.

— Быть не может!

— То есть никто не говорил, как вы, прямо в глаза, — прибавила Батшеба, позволяя втянуть себя в разговор, вопреки строгому запрету собственного разума.

— Но вы ведь знали, что люди о вас думают?

— Нет… Верней, я слышала от Лидди…

Батшеба замолчала. При всей ее осторожности она, сама того не понимая, капитулировала. Именно таков был смысл произнесенной ею неоконченной фразы, и она выразила его как нельзя лучше. Повеса-сержант улыбнулся сам себе. Вероятно, улыбнулся и дьявол, выглянув из преисподней, ибо в тот момент исход дела решился. По тону и лицу Батшебы было отчетливо видно: зерно, брошенное, чтобы разрушить фундамент ее неприступности, уже проросло в трещине, дальнейшее было лишь делом времени и естественного хода вещей.

— Вот истина и выходит наружу, — сказал драгун. — Не говорите мне, будто молодая леди может жить, окруженная гулом восхищения, и его не замечать. Вы, мисс Эвердин, простите мою

прямоту, скорее боль для рода человеческого, нежели отрада.

Батшеба широко раскрыла глаза.

— Как так?

— Истинную правду вам говорю. Мне все одно, быть ли повешенным за овцу или за ягненка (старинное деревенское речение: для меня, грубого солдата, оно годится), потому я уж скажу, не силясь вам угодить и не надеясь получить от вас прощение. Да, мисс Эвердин, ваша красота может сотворить больше худа, чем добра. — Сержант с видом философа устремил взгляд вдаль. — Вот представим себе, что обыкновенный мужчина полюбил обыкновенную женщину. Он женится, станет вести жизнь полезную и приятную. О таких же, как вы, мечтают сотни, сотни будут заворожены вашими прекрасными глазами. Но лишь за одного вы выйдете замуж, а из ваших несчастливых поклонников двадцать попытаются утопить боль неразделенной любви в вине, другие двадцать предадутся унынию и зачахнут, не оставив на земле следа, ибо кроме вас им ничто не мило… Еще двадцать (в их число в силу впечатлительности моей натуры попаду, вероятно, и я) будут следовать за вами толпою везде, где только смогут вас увидеть, с отчаяния вытворяя

немыслимые вещи. Ведь мы, мужчины, такие глупцы! Оставшиеся, быть может, станут бороться со своей страстью более или менее успешно. Но и они будут опечалены. Не говорю уж о том, что на каждого из девяноста девяти несчастных мужчин придется по одной несчастной женщине, на которой он мог бы жениться, если бы не вы. Вот потому-то я и говорю, мисс Эвердин, что от красоты, подобной вашей, роду человеческому одно огорчение.

Когда сержант произносил эту речь, черты его пригожего лица были суровы, как черты Джона Нокса[40], когда тот говорил со своей молодою королевой. Видя, что Батшеба не отвечает, Трой спросил:

— Читаете ли вы по-французски?

— Нет. Я начала было учиться, но едва дошла до глаголов — папенька умер, — простодушно ответила она.

— А я читаю, если представляется возможность, что в последнее время бывает нечасто. Моя мать была парижанкой. Так вот у них есть поговорка:

---

[40] Примечания: 40

Джон Нокс — основатель шотландской пресвитерианской церкви, противник женского правления в целом и католички Марии Стюарт в частности. В 1563 году, при личной встрече с нею, он довел ее до слез, отговаривая выходить замуж за Дона Карлоса, сына испанского короля.

«Qui aime bien, châtie bien». Это значит: «Крепко любит — сильно бьет». Понимаете ли вы меня?

— Ах! — воскликнула Батшеба, и в ее голосе, обыкновенно невозмутимом, послышалась дрожь. — Если деретесь вы вполовину так же умело, как говорите, то удар вашего штыка, вероятно, способен доставить противнику наслаждение. — Сказав это, бедная Батшеба тотчас поняла свою оплошность и попыталась ее загладить, однако сделала только хуже. — Но вы не думайте, будто ваши слова мне приятны.

— О, я так вовсе не думаю! — сказал Трой, и его лицо приняло самое серьезное выражение, после чего он печально продолжил: — Я прекрасно сознаю: когда десятки мужчин готовы говорить вам нежности, выражая заслуженное вами восхищение и притом ни от чего вас не предостерегая, мое грубое блюдо из похвалы и осуждения не может иметь у вас успеха. Считайте меня глупым, если угодно, и все ж я не настолько самонадеян, чтобы этого не понимать.

— А по-моему, вы не чужды самонадеянности, — заметила Батшеба, искоса глядя на стебель осоки, который судорожно дергала одной рукой: разговор причинял ей немалое беспокойство не потому, чтобы она не видела лести в словах

драгуна, а потому, что настойчивость его ухаживаний ее смущала.

— Я никому другому не признался бы в этом, да и с вами готов согласиться лишь отчасти: в том, как глупо я повел себя вчера, в самом деле была, вероятно, доля самоуверенности. Мне следовало предположить, что, выражая свое восхищение, я произнесу слова, слышанные вами множество раз и потому едва ли вам приятные. Но я понадеялся на вашу доброту, которая спасла бы мой невоздержанный язык от излишне строгого суждения и не позволила бы вам так ранить того, кто трудится в поте лица, чтобы сберечь ваше сено. Надежда моя оказалась напрасной.

— Забудем о вчерашней встрече. Возможно, вы не желали меня обидеть, высказавшись так прямо. Я верю вам, что не желали, — ответствовала умная фермерша с душещипательно невинной серьезностью. — И спасибо, что вызвались помочь с уборкою сена. Только больше не говорите со мною так. Вообще не говорите, покуда я сама с вами не заговорю.

— О, мисс Эвердин, как сурово!

— Что ж в этом сурового?

— Вы никогда не заговорите со мною, а я пробуду здесь недолго. Вскоре я должен вернуться к

монотонной череде армейских будней. А там — как знать? — быть может, полк наш отправится в поход. Вы лишаете меня единственной крупицы счастья в моем безрадостном существовании. Что ж, пожалуй, щедрость — не главная из женских добродетелей.

— Когда вы покидаете Уэзербери? — спросила Батшеба не без некоторого интереса.

— Через месяц.

— И какая же вам радость в том, чтобы говорить со мною?

— К чему же вы спрашиваете, мисс Эвердин, когда и сами знаете мой грех?

— Если этакий пустяк в самом деле для вас важен, то извольте. Я возражать не стану, — нерешительно ответила Батшеба. — Только вы лишь утверждаете, будто нуждаетесь в беседах со мною. Пустые речи, так мне кажется.

— Вы ко мне несправедливы, но спорить с вами я не буду. Мне не до придирок: я счастлив уж тем, что получил знак вашей дружбы, и готов заплатить за него любую цену. Да, мисс Эвердин, ваше слово важно для меня, пусть даже это лишь «доброе утро». Можете считать меня глупцом. Однако вы никогда не были мужчиною, взирающим на женщину, подобную вам самой.

— В самом деле…

— Тогда вы не знаете, каково это, и не дай вам Бог узнать!

— Преглупейшая лесть! Ну и каково же? Я в нетерпении.

— Ежели кратко, то от этого чувства ты не способен мыслить, ничего, кроме одного-единственного предмета, не видишь и не слышишь, да и на тот глядишь с мукою!

— Ах, сержант, вы притворяетесь! — сказала Батшеба, качая головой. — Ваши слова чересчур сильны, чтобы быть правдивыми.

— Нет, клянусь воинской честью…

— Тогда отчего же с вами такое приключилось? Я спрашиваю, разумеется, только из любопытства.

— Оттого что вы лишили меня рассудка.

— По вам это видно.

— Так оно и есть.

— Но ведь вы не далее как вчера впервые меня повстречали.

— О, это не имеет значения. Удар молнии поражает мгновенно. Я с первого же взгляда вас полюбил и сейчас люблю.

Любопытный взор Батшебы внимательно изучил нового знакомца с ног до головы, не отва-

жившись, однако, подняться до самых глаз.

— Вы не можете любить меня и не любите, — чинно сказала она. — Чувство не вспыхивает столь внезапно. И слушать вас я больше не стану. Скажите только, который час: мне пора, я уж столько времени с вами потеряла…

Ответив на ее вопрос, сержант прибавил:

— А разве у вас нет часов, мисс?

— Сейчас нет, но я собираюсь купить.

— Нет, вы получите их в подарок. Вот. Пожалуйста, мисс Эвердин, примите от меня этот презент.

Не успела Батшеба опомниться, как тяжелые золотые часы очутились в ее руке.

— Они слишком хороши, чтобы ими владел такой человек, как я, — тихо произнес Трой. — У них своя история. Нажмите пружинку и откройте крышку. Что вы видите?

— Герб и девиз.

— Это венец с пятью зубцами, а надпись *«Cedit amor rebus»*[41] означает: «Любовь уступает обстоятельствам». Таков девиз графов Севернов. Часы принадлежали последнему лорду Северну, потом были переданы в пользование мужу

---

[41] Примечания: 41
Овидий. Лекарство от любви.

моей матери, доктору, а по достижении мною совершеннолетия перешли ко мне. Вот и все мое наследство. Вещица служила вельможным особам: эти стрелки указывали время пышных церемоний, аудиенций при дворе, помпезных выездов и сна под балдахинами. Теперь часы ваши.

— Сержант Трой, я не могу их принять! Не могу! — воскликнула Батшеба, изумленно расширив глаза. — Одумайтесь, они ведь золотые!

Сержант сделал шаг назад, показывая, что не желает брать часы, которые фермерша настойчиво протягивала ему на ладони. Он отступал, она наступала.

— Примите, мисс Эвердин, я настаиваю! — промолвило эксцентрическое дитя сиюминутного порыва. — Они станут в моих глазах в десять раз ценнее! Для моих нужд вполне сгодятся и более простые, плебейские часы, а при мысли о том, возле чьей груди бьются эти… Ах, нет, я не стану говорить. Теперь они попали в достойнейшие руки из всех, какие их когда-либо держали.

— Но я в самом деле не могу их принять! — возразила Батшеба, чуть не плача. — Если вы не шутите, то как можно?! Отдать мне часы вашего покойного отца, да еще такие дорогие! Нельзя быть столь безрассудным, сержант Трой!

— Отца я любил, но вас люблю больше, — произнес драгун тоном такой безупречной верности природе, какую едва ли можно сыграть.

Красота фермерши, превозносимая им в шутку, пока была неподвижной, теперь же пришла в движение и тронула его всерьез. Глубина этого чувства оказалась меньше, чем воображала Батшеба, но больше, чем думал он сам. Душу девушки до краев переполняла кипящая смесь волнения и смущения, и она с нотками сомнения в голосе проговорила:

— Разве такое возможно? Как это может быть, чтобы вы полюбили меня так сразу! Вы ведь мало видели меня… Вдруг я вовсе не та, кем вам кажусь? Пожалуйста, заберите часы. О, прошу вас! Я не могу их принять и не приму. Поверьте, ваша щедрость чрезмерна. Я не сделала для вас ничего хорошего, так с чего бы вам проявлять ко мне доброту?

На языке сержанта Троя вертелась новая фальшивая любезность, но он смолчал. Взгляд его не мог оторваться от лица Батшебы. Теперь, когда она была растеряна, испугана и совершенно прямодушна, все те пышные комплименты, которыми он ее наградил, воплотились в правду. Ему вдруг стало не по себе оттого, что прежде он имел

дерзость говорить их, полагая, будто они ложны.

— Вовсе нет, — произнес сержант, продолжая безотрывно глядеть на Батшебу.

— К тому же мои работники видят, как вы идете за мною по лугу, и гадают, о чем мы с вами толкуем. О, это ужасно! — продолжала она, не догадываясь о перемене, которую произвела в своем собеседнике.

— Поначалу я действительно не думал, что вы должны взять эти часы, — внезапно выпалил Трой. — Ведь они единственное жалкое свидетельство моего благородного происхождения. Но теперь, клянусь своею душою, я хочу, чтобы вы приняли их. От чистого сердца прошу: носите эту вещь, думая обо мне, не лишайте меня такой радости. Однако вы слишком прелестны, чтобы стараться быть доброю, как другие.

— Нет, нет, не говорите так! Для сдержанности у меня есть основания, которых я не могу вам объяснить.

— Что ж, будь по-вашему, — сказал Трой, все же приняв часы обратно. — Теперь я принужден вас покинуть. Но станете ли вы беседовать со мною в эти несколько недель, пока я здесь?

— Да. Впрочем, не знаю. О, зачем вы явились и так изводите меня!

— Быть может, я сам попал в ловушку… Так вы разрешаете мне работать на ваших полях? — произнес сержант умоляюще.

— Пожалуй, приходите, если для вас в этом есть какая-то радость.

— Я признателен вам, мисс Эвердин.

— Нет, нет, не благодарите.

— До свиданья!

Сержант отдал честь, поднеся руку к козырьку, и вернулся на дальний луг, где грузили сено. Сердце Батшебы нервно колотилось от волнения. Разгоряченная и почти что готовая заплакать, она не могла сейчас показаться своим работникам и потому зашагала к дому, бормоча: «Ох, что же я наделала! Что все это значит? И что из этого, хотела бы я знать, было правдой?!»

Глава XXVII
Посадка пчел в ульи

В тот год уэзерберийские пчелы долго не роились. Лишь в конце июня, на следующий день после беседы с сержантом Троем на лугу, Батшеба, выйдя в сад, увидала в небе пчелиное облако и принялась гадать, где оно опустится. Предсказать поведение медоносных созданий было трудно: случалось, что рой сидел совсем низко (к примеру, на кусте смородины или на шпалерной яблоне), а в иной год пчелы с тем же единодушием садились на верхнюю ветвь высокого тонкого дерева и всякий, кто решался атаковать их без лестниц и шестов, терпел поражение.

Так вышло и теперь. Рукой заслоняя глаза от солнца, Батшеба наблюдала, как рой, поднимаясь все выше, пересекает непостижимую синь. Наконец пчелиная туча осела на ветвях огромной яблони. Взгляду представилось нечто наподобие того, как мы понимаем формирование Вселенной: хаотически движущиеся частицы сперва застлали небо ровной пеленой тумана, а затем в середине возникло пятно, которое, плывя к

яблоневой ветке, делалось все плотнее и гуще, пока не стало черным.

Все работники и работницы были заняты спасением сена: даже Лидди покинула дом, чтобы им помочь. Посему пересаживать пчел Батшеба решила сама. Подложив в ульи меду и трав, она надела доспехи, состоявшие из кожаных перчаток и соломенной шляпы с выцветшей вуалью (некогда зеленой, а теперь табачной), и стала подниматься по лестнице, когда услыхала голос, приобретший свойство странно ее волновать:

— Мисс Эвердин, позвольте, я помогу! Нельзя вам браться за такое дело в одиночку.

В воротах сада стоял сержант Трой. Тут же бросив на землю метелку, крюк и пустой улей, Батшеба судорожно прижала юбку к ногам и с чрезвычайной поспешностью спустилась. Трой был уже рядом и, нагнувшись, чтобы подобрать улей, воскликнул:

— Как вовремя я зашел!

Батшеба, не вдруг обретя дар речи, ответила:

— А? Так вы поможете мне?

Тон, каким она произнесла эти слова, казался робким для смелой девушки и смелым — для робкой.

— Что за вопрос! Конечно, помогу! Какая вы

сегодня цветущая!

Трой бросил на траву хлыстик и поставил ногу на перекладину лестницы.

— Только наденьте сетку и перчатки, не то вас яростно покусают!

— Ах да, вы правы. Надеть сетку и перчатки. Не покажете ли, как это сделать?

— Еще вам нужна шляпа с широкими полями. Козырек ваш слишком узок: сетка будет у самого лица и не защитит вас.

— Разумеется. Широкие поля нужны непременно.

Капризной судьбе было угодно, чтобы шляпа с тюлевым покровом перекочевала с головы фермерши на голову драгуна, сменив фуражку, брошенную им в куст крыжовника. С тюлем, завязанным сзади на шее, и в перчатках драгун имел такой потешный вид, что Батшеба, невзирая на тревогу, прыснула со смеху. Так был вынут еще один кол из ограды холодности, которой она окружила себя, чтобы держать сержанта на расстоянии.

Пока Трой сметал и стряхивал пчел в улей, который держал второю рукой, Батшеба стояла внизу и смотрела. Пользуясь тем, что его внимание отвлечено другим предметом, она немного

расправила перышки.

— Клянусь жизнью! — воскликнул Трой, спустившись. Улей, за которым тянулось облако пчел, он держал на вытянутой руке. — Эта штуковина утомляет мускулы сильнее, чем неделя занятий с саблей. Не будете ли вы любезны развязать меня и выпустить на волю? А то я чуть не задохся в этой шелковой клетке.

Батшеба распустила узел у него на шее и, желая скрыть то, как смутила ее эта просьба, произнесла:

— Я никогда не видала того, о чем вы сказали.

— Чего?

— Упражнений с саблей.

— А хотели бы повидать?

Батшеба заколебалась. От сельчан, которым доводилось бывать в Кестербридже, близ казарм, она слыхала об удивительном зрелище, именуемом сабельными учениями. Мужчины и мальчишки, которым удавалось заглянуть на плац сквозь щели в заборе или со стен, рассказывали, что более ослепительной картины не придумать: сабли и пуговицы мундиров вспыхивают повсюду, словно звезды, и каждый взмах руки как по компасу выверен.

— Да, я охотно поглядела бы, — сказала Батше-

ба, мягко выразив то, что ощущала жгуче.

— И поглядите. Я вам покажу.

— Но как?

— Что-нибудь придумаем.

— Не с тростью же — так неинтересно. Я хочу видеть упражнения с настоящей саблей.

— Само собой. Здесь у меня сабли нет, но к вечеру я ее раздобуду. — Трой нагнулся к Батшебе и что-то тихо проговорил. — Согласны?

Она покраснела.

— Ах нет, я не могу! Я очень вам признательна, но не могу.

— Полноте, почему же? Никто не узнает.

Батшеба опять покачала головой, хотя и не столь решительно.

— Если я и соглашусь, то должна буду прийти вместе с Лидди. Могу я взять ее с собою?

Трой перевел взгляд вдаль и холодно промолвил:

— Не понимаю, для чего она вам.

Глаза Батшебы против ее собственной воли сказали, что в глубине души она тоже не находит присутствие Лидди необходимым, и виной тому не только холодность Троя: даже тогда, когда сама она говорила, будто должна взять служанку с собой, на самом деле ей этого вовсе не хотелось.

— Воля ваша, я приду, причем одна. Ненадолго. Совсем ненадолго.

— Достаточно и пяти минут, — ответил Трой.

Глава XXVIII
В ложбине, поросшей папоротником

Склон холма, против которого стоял дом Батшебы, переходил в пустырь, где в эту пору буйно кустился папоротник. Стремительно выросшие листья, нежные и полупрозрачные, ослепляли чистейшими оттенками сочного зеленого цвета. Лето было в разгаре, часы пробили восемь часов пополудни. Золотой шар, ощетинясь роскошными длинными лучами, еще трогал верхушки папоротников, когда послышался мягкий шорох платья. Чувствуя, как перистые руки растений гладят ее плечи, Батшеба вошла в гущу зарослей, остановилась, затем повернула обратно, вновь поднялась на пригорок, спустилась и прошла полпути до дому. Решив более не возвращаться в папоротниковую низину, она бросила прощальный взгляд назад и вдруг увидала, как пятнышко рукотворного багрянца обогнуло холм и исчезло за ним.

Думая о том, как разочаруется Трой, поняв, что она не пришла, Батшеба прождала минуту, затем

еще одну, после чего бросилась бежать по полю, опять взобралась на горку и опять спустилась. Она буквально дрожала от сознания собственного безрассудства. Дыхание сделалось частым, и глаза сверкали совсем не так, как обыкновенно. И все же Батшеба продолжала идти. Дойдя до ложбины, запрятанной посреди пустыря, она увидала Троя на самом дне. Он смотрел на нее.

— Я услыхал, как вы пробираетесь сквозь папоротник, — сказал сержант, подавая Батшебе руку, чтобы помочь ей сойти.

Ложбина представляла собой естественную впадину, похожую на блюдце тридцати футов в поперечнике и не слишком глубокую: стоя в самом низу, Батшеба и Трой чувствовали, как солнце золотит им головы. Небо казалось диском в обрамлении из листьев папоротника, который рос на склонах ложбины и только на дне резко сменялся толстым шелковистым ковром из мха и травы — таким мягким, что стопа до половины в нем утопала.

Трой вынул саблю из ножен и высоко поднял ее, подставляя солнцу. Сталь приветственно сверкнула, словно была живым существом.

— Итак, — сказал он, — у нас есть четыре правых и четыре левых рубящих удара. Затем еще

четыре правых и четыре левых колющих. У пехотинцев набор, на мой взгляд, поинтересней: у них семь рубящих приемов и три колющих. Однако их приемы не так сокрушительны. Это было предисловие. Переходим к показу. Первый удар такой, как будто мы сеем зерно. — Батшеба увидела в воздухе нечто наподобие перевернутой радуги, и рука Троя снова замерла. — Второй удар: ставим изгородь. Вот так. Третий: жнем. Четвертый: молотим. Вот. И то же самое слева. Уколы наносятся так: раз, два, три, четыре — это правые; раз, два, три, четыре — левые. — Сержант повторил движения. — Показать еще? Извольте: раз, два…

Батшеба торопливо его прервала:

— Прошу вас, довольно! Ваши двойки и четверки еще не так страшны, но единицы и тройки ужасны!

— Очень хорошо, обойдемся без них. Теперь рубящие удары, уколы и оборонительные движения вместе. — Трой исправно продемонстрировал названное. — А преследовать противника нужно так… Ну вот, это основное. В пехоте есть еще два сатанинских удара снизу вверх, но мы слишком гуманны, чтобы их применять. Вот они: три, четыре.

— Какое зверство! Какая жестокость!

— Да, после таких ударов не встают. А теперь будет интереснее. Я покажу вам свободное упражнение, состоящее из уколов и рубящих ударов, кавалерийских и пехотных. Они будут чередоваться молниеносно и произвольно. Правила здесь нужны лишь затем, чтобы направлять чутье солдата, но не мешать ему. Вы мой противник. Я проделаю все, как на настоящей войне, с тою лишь разницей, что всякий раз буду промахиваться на волосок или, может быть, два. Ни в коем случае не двигайтесь!

— Даже не шелохнусь! — ответила Батшеба отважно.

Трой указал ей место примерно в ярде от него. Ее дух, жаждущий приключений, находил своеобразное наслаждение в этой чрезвычайно непривычной игре.

— Теперь я предлагаю вам небольшое испытание, чтобы проверить, достаточно ли вы храбры для тех упражнений, которые я задумал.

Трой сверкнул саблей, и лезвие блестящей змеею скользнуло чуть выше левого бедра Батшебы, не успевшей даже опомниться. Затем острие, словно бы пройдя сквозь ее тело, вынырнуло справа, будто из ребер. И наконец Батшеба увиде-

ла ту же саблю, совершенно чистую, без единой капли крови, поднятой строго вверх (у военных это положение именуется «подвысь»). Все произошло с быстротою электрической искры.

— Ах! — испуганно вскричала Батшеба, хватаясь за бок. — Вы пронзили меня насквозь?! Нет, не может быть! Что же вы такое сделали?

— Я к вам даже не прикоснулся, — тихо ответил Трой. — Это была лишь ловкость рук. Сабля прошла позади вас. Теперь скажите мне: вы не боитесь? Если боитесь, то я не смогу продолжать. Обещаю, я не только не пораню вас, но и ни разу к вам не притронусь.

— Кажется, мне не страшно. Вы точно меня не пораните?

— Совершенно уверен.

— А сабля очень остра?

— Да нет же. Просто стойте недвижно, как статуя. Я начинаю.

В ту же секунду воздух вокруг Батшебы наполнился сиянием: и небо, и землю заслонило множество лучей заходящего солнца, отраженных саблей, которая была везде сразу и нигде в отдельности. Опоясывающему свету сопутствовал звук, похожий на свист, тоже исходивший со всех сторон одновременно. Словом, Батшеба

очутилась под сверкающим и пронзительно шипящим сводом. Казалось, что метеориты градом сыплются с неба прямо ей под ноги.

С тех пор как британская армия вооружилась палашами, ничья рука не владела сим предметом так, как рука сержанта Троя, а он никогда не был так удачно расположен для показа своего умения, как в тот вечер — среди папоротников, позолоченных закатными лучами. Что же до точности ударов, то, если бы сабля могла оставлять в воздухе видимый след, контуры неисчерченного ею пространства почти полностью совпали бы с силуэтом прекрасного противника.

В блеске воинского искусства, подобном северному сиянию, была едва различима рука самого воина: от быстроты движения она расплывалась в красноватом тумане, как расплываются струны арфы, когда на них играют. За этой сверкающей пеленой виднелось лицо: большей частью Трой глядел прямо, лишь при некоторых ударах становясь вполоборота. Так или иначе, его острый взор непрестанно измерял очертания Батшебы, а плотно сжатые губы свидетельствовали о скрываемом напряжении. Постепенно взмахи замедлились, каждый из них стал различим. Затем утих свист сабли, и Трой наконец остановился.

— У вас локон выбился из прически. Погодите, я мигом его поправлю.

В воздухе справа от Батшебы сверкнула серебряная арка. Когда сабля опустилась, прядь упала на землю.

— Вы храбро держались! — сказал Трой. — Даже не вздрогнули. Далеко не каждая женщина так сумеет.

— Просто я не ждала того, что вы сделали. Ох, вы испортили мне волосы!

— А теперь последнее.

— Нет, нет! Я боюсь вас, в самом деле боюсь! — вскричала Батшеба.

— Я вас не трону, даже ваших волос не коснусь. Только убью эту гусеницу, что сидит на вас.

Насекомое, по-видимому, заползло на платье с листа папоротника и расположилось на лифе. Батшеба увидела, как лезвие сверкнуло у самой ее груди и, казалось, проникло в тело. Она зажмурилась, уверенная, что настал ее смертный час. Однако боли не последовало.

— Вот, взгляните, — промолвил сержант, держа саблю перед вновь открывшимися глазами Батшебы.

Гусеница была насажена на острие.

— Сущее колдовство! — воскликнула Батшеба

в изумлении.

— Нет, простая сноровка. Я поднес саблю к вашей груди и, вместо того чтоб ее пронзить, углубил лезвие лишь совсем немного, остановив его в тысячной доле дюйма от вас.

— Но как вы могли отрезать мне локон, если сабля не заострена?

— Не заострена?! Да она как бритва. Смотрите!

Трой коснулся лезвия ладонью и поднял его: с сабли свисала тончайшая полоска срезанной кожи.

— Прежде вы говорили, что оружие тупое и не может меня ранить!

— Я сказал это лишь для того, чтобы вы не беспокоились и стояли неподвижно. Если бы вы шевелились, опасность была бы слишком велика, и потому мне пришлось вас обмануть.

Батшеба содрогнулась:

— Всего лишь дюйм отделял меня от смерти, а я об этом даже не знала!

— Если говорить точнее, вы двести девяносто пять раз оказывались в полудюйме от того, чтобы быть оструганной заживо.

— Как вы жестоки!

— Вам ничто не угрожало. Моя сабля не ошибается.

Драгун вложил оружие в ножны, а Батшеба, обуреваемая сотней чувств, рассеянно опустилась на вереск.

— Теперь я должен вас покинуть, — мягко сказал Трой. — А это позволю себе забрать на память.

Батшеба увидела, как сержант, нагнувшись, поднял отрезанный локон, обмотал его вокруг пальца и осторожно опустил в нагрудный карман мундира. Она не нашла в себе сил возразить. Новый знакомец доставлял ей такие переживания, к каким она не привыкла. Это было для нее чересчур. Батшеба словно обратила лицо навстречу освежающему ветру, от которого у нее занялось дыхание.

— Я должен вас покинуть, — повторил Трой, однако, вместо того чтоб удалиться, приблизился.

Минуту спустя его багряный мундир исчез в гуще папоротниковых зарослей, мелькнув, как вспышка, как факел. Оттого, что случилось перед этим, кровь, пульсируя, прихлынула к лицу Батшебы. Все ее тело, до самых ступней, будто горело, чувства расширились до таких пределов, где разум был уже бессилен. Из глаз, словно из скалы, испытавшей удар Моисеева жезла, хлынул поток — поток слез. Батшеба чувствовала,

что совершила великий грех. Ибо Трой склонился над нею и нежно коснулся губами ее губ — он поцеловал Батшебу.

Глава XXIX
Прогулка в сумерках

Теперь мы отчетливо видим, что к разнообразным чертам, составлявшим внутренний облик Батшебы Эвердин, примешивалось безрассудство. Почти чуждое ей от природы, оно было привнесено метким выстрелом Эроса и окрасило все ее существо. Обладая слишком глубоким умом, чтобы всюду руководствоваться своей женственностью, Батшеба была слишком женственна, чтобы использовать свой ум наилучшим образом. Дочери Евы ничем не способны удивлять нас более, чем умением верить лести, даже зная, что им лгут. Разве только умением не верить порицанию, даже зная, что оно правдиво.

Батшеба полюбила Троя так, как могут любить только представительницы прекрасного пола, уверенные в себе, но утратившие это свойство. Сильная женщина, безрассудно отринувшая свою силу, хуже малодушной, которой нечего отринуть. Причиной ее крайней растерянности служит новизна положения: прежде она никогда не была слабой и не знает, как обернуть это

себе на пользу. Слабость слаба вдвойне, если она непривычна.

Батшеба не ведала того коварства, к какому порой прибегает любовь. Ее нельзя было назвать отшельницей, но общество, в котором она блистала, собиралось при свете дня на зеленых коврах, где стада овец заменяют уличную толпу, а вместо гула большого города слышится лишь дуновение ветра. В мире, знакомом молодой фермерше, людские семьи соседствовали с семействами кроликов и зайцев, все в округе знали друг друга, а к расчету прибегали только на ярмарке. Об извращенных вкусах модного света Батшеба знала мало, о том же, что иные люди привыкли поощрять в себе дурное, — ничего. Своих понятий о влечении и страсти она никогда не выражала прямо, но, ежели мы сделаем это вместо нее, то они окажутся не слишком обширны: следовать порыву куда приятней, нежели руководствоваться здравым смыслом, — вот, пожалуй, и все. Любовь Батшебы являла собою детское чувство, по-летнему теплое и по-весеннему свежее. Она не прибегала к разуму, чтобы подвергнуть свои переживания бережному и тонкому анализу, — в том и заключалась ее вина. Батшебу уместно было бы сравнить с тем пастырем, который «другим

указывает к небу путь тернистый»[42], но сам не внемлет собственным советам.

Что же до Троя, то его пороки скрывались на глубине, недоступной женскому взгляду, меж тем как достоинства лежали на поверхности. В этом он представлял собою противоположность неприметному Оуку, чьи недостатки мог видеть даже слепой, а добродетели скрывались подобно металлу под толщей горной породы.

В поведении Батшебы ясно сквозило различие между любовью и уважением. Если о своем интересе к Болдвуду она совершенно свободно говорила с Лидди, то о Трое — лишь с собственным сердцем.

Габриэль Оук, заметивший ее увлечение, целые дни проводил в беспокойстве: с тревогой выходил поутру на луг, с тревогой возвращался; тревога лишала его ночного сна. Прежде он был несчастен оттого, что Батшеба избрала не его. Теперь она попала в сети повесы, и новая печаль едва ли не затмила прежнюю — говоря о болях телесных, Гиппократ отмечал то же самое свойство.

Кто решается предостеречь милое существо от ошибки, даже рискуя возбудить против себя гнев,

---

[42] Примечания: 42

У. Шекспир. Гамлет. Акт I, сцена 3. Перевод М.Л. Лозинского.

тот движим благородной, но подчас безнадежной любовью. Оук вознамерился поговорить с госпожой, основывая свои увещания на том, что она дурно обходится с фермером Болдвудом, который теперь в отъезде.

Случай представился однажды вечером, когда Батшеба вышла из дому прогуляться среди окрестных полей. Возвращаясь уже в сумерках, она повстречала Габриэля, который не был в тот день на дальнем пастбище. Хозяйка показалась ему погруженной в раздумья. Пшеница была высока, и узкая тропинка напоминала щель между двух стен. Два человека не могли идти по ней рядом, не сминая колосьев. Оук посторонился.

— Это вы, Габриэль? — промолвила Батшеба. — Тоже прогуливаетесь? Доброго вам вечера.

— Я решил вас встретить, потому что время уже довольно позднее.

— Благодарю, я не боязлива.

Батшеба быстро проскользнула мимо. Габриэль зашагал следом.

— Разумеется, однако по округе бродят дурные люди.

— Я их не встречаю.

Хитроумный замысел Оука заключался в том, чтобы, упомянув о «дурных людях», заговорить о

бравом сержанте. Но внезапно решив, что такое начало будет шито белыми нитками, он попытался сочинить другую преамбулу:

— Я подумал, не проводить ли мне вас до дому, ежели тот, кому следовало бы это сделать, — то бишь мистер Болдвуд, — уехал по делам.

— Да, конечно…

Некоторое время Батшеба продолжала идти, не поворачивая головы и не говоря ни слова — только шурша платьем, задевавшим тяжелые колосья. Внезапно она довольно резко спросила:

— Я не вполне поняла, почему мистеру Болдвуду следует меня провожать.

— Так ведь люди говорят, что вы, мисс, скоро выйдете за него замуж. Простите мне мою простоту.

— Люди говорят неправду, — быстро ответила она. — Никакой свадьбы у нас не будет.

Сочтя момент подходящим, Габриэль высказал свое мнение прямо:

— Вот что, мисс Эвердин. Кто бы чего ни говорил, если мистер Болдвуд за вами не ухаживает, то я в жизни своей не видал, как это делается.

Запретив пастуху касаться таких предметов, Батшеба могла тут же положить разговору конец, но сознание собственной неправоты и желание

оправдаться заставило ее спорить.

— Раз уж вы об этом упомянули, — произнесла она с нажимом, — я рада возможности опровергнуть заблуждение — весьма распространенное и весьма неприятное. Мистеру Болдвуду я ничего определенно не обещала. Я его уважаю, но не люблю. Да, он сделал мне предложение, однако я ему еще не ответила. Отвечу, когда он вернется, и ответ мой будет отрицательным.

— Люди, как видно, сплошь ошибаются.

— Так и есть.

— Прежде они говорили, будто вы играете мистером Болдвудом, но вы всех почти убедили, что это не так. Теперь говорят, будто вы принимаете его ухаживания всерьез, а вы…

— То есть, по-вашему, я над ним потешаюсь?

— Предпочитаю надеяться, что люди правду говорят.

— Они правы, хотя не во всем. Я не играю с мистером Болдвудом, но меня ничто с ним не связывает.

После этих слов Оук наконец заговорил о сопернике Болдвуда, избрав, к сожалению, неверный тон.

— Жаль, мисс, что вы повстречали сержанта Троя, — вздохнул он.

Поступь Батшебы сделалась немного неровной.

— Отчего же?

— Он вам не пара.

— Вас кто-нибудь просил говорить со мною об этом?

— Нет, никто.

— Тогда не понимаю, зачем нам с вами обсуждать сержанта Троя, — твердо ответила Батшеба. — Тем паче, что он образованный человек, вполне достойный любой женщины. В нем течет благородная кровь.

— Если он, будучи солдатом, образован лучше своих товарищей и стоит выше их по рождению, это свидетельствуют никак не в его пользу. Напротив, это признак падения.

— Хотя я не вижу причин разговаривать с вами о мистере Трое, должна сказать, что он никоим образом не падший человек, и превосходство над остальными солдатами свидетельствует именно в его пользу.

— Однако у него, похоже, совсем нет совести, и я не могу не просить вас, мисс: держитесь от него подальше. Послушайте меня хотя бы только в этот раз. Надеюсь, он не такой дурной человек, каким его можно себе представить. Я об этом

молюсь. Но если мы доподлинно не знаем, каков он, отчего бы вам не быть с ним осторожной? Не доверяйте ему, госпожа. Я вас прошу.

— Да почему же, позвольте узнать?

— Мне нравятся солдаты, только не этот, — упрямо произнес Габриэль. — То, что он умен и ловок, может завести его на ложный путь, а где для соседей лишь повод позубоскалить, там для женщины погибель. Если он снова с вами заговорит, почему бы вам не сказать ему «до свидания», а если встретится вам на пути, почему не повернуть в другую сторону? Когда он станет шутить, делайте вид, будто не поняли шутки, и не улыбайтесь. В беседах с теми, кто, как вам известно, перескажет ему ваши слова, называйте его «тот чудак», или «сержант… позабыла имя», или «молодой человек из той опустившейся семьи». Говорите не грубо, но с безобидным пренебрежением. Тогда он вскоре перестанет вам докучать.

Батшеба разволновалась пуще пойманной рождественской малиновки, бьющейся о стекло окна.

— Повторяю… еще раз повторяю вам, чтобы вы более его не касались! Никак не возьму в толк, по какому праву вы вообще заговорили о нем! — в отчаянии воскликнула она. — Я… я уверена, что

он достойнейший человек! Подчас бывает прямолинеен, и даже до грубости, однако всегда честен. В лицо говорит все, что думает о человеке.

— Вот оно как?

— В целом приходе никого нет лучше его. И церковь он посещает очень даже усердно. Очень!

— Боюсь, никто его там не видел.

— Это оттого, — с горячностью проговорила Батшеба, — что мистер Трой входит через дверь старой башни, когда служба уже начинается, и сидит сзади, на галерее. Так он мне сказал.

Столь замечательное проявление набожности сержанта прозвучало для ушей Габриэля как тринадцатый удар ополоумевших часов, не только не внушив к себе доверия, но и бросив тень сомнения на все предшествующие слова. Оуку тяжко было сознавать, что Батшеба совершенно ослеплена своим новым знакомцем.

— Вы знаете, госпожа: я люблю вас и всегда буду любить. — Преисполненный глубокого чувства, Габриэль произнес эти слова ровным голосом, однако то, с каким трудом он сохраняет видимость спокойствия, было слишком ощутимо. — Поминаю об этом лишь для того, чтобы вы сознавали: кроме добра я вам ничего не желаю. Больше я о своей любви говорить не стану. Погоню за деньга-

ми и другими благами я проиграл. Теперь, когда я беден, и вы так надо мною возвысились, я не стану предлагать вам руку — не настолько я глуп. Но Батшеба, любезная моя госпожа! Ради того, чтоб не уронить себя перед работниками, а также из уважения к достойному человеку, который любит вас, как и я, вам следует быть осмотрительней с этим солдатом. Молю вас, подумайте!

— Нет, нет! Прекратите! — воскликнула Батшеба, чуть не задыхаясь.

Габриэль продолжал:

— Вы для меня превыше всех моих дел и даже жизни. Так послушайте же меня! Я шестью годами вас старше, а мистер Болдвуд еще на десять лет старше меня. Подумайте, умоляю, подумайте, пока не поздно, до чего покойно вам будет в его руках!

Упомянув о собственной любви, Габриэль в некоторой степени смягчил гнев Батшебы, и все же она не могла простить ему пренебрежительного тона, каким он говорил о Трое, равно как и того, что тревога за ее благополучие оказалась в нем сильнее желания на ней жениться.

— Я желаю, чтобы вы покинули это место, — произнесла Батшеба дрожащим голосом, отчего стало ясно, что она побледнела, хотя в сумерках

ее бледности не было видно. — Не оставайтесь более на ферме. Вы мне не нужны! Прошу вас уехать!

— Вздор, — спокойно сказал Габриэль. — Вы уже во второй раз делаете вид, будто меня увольняете. К чему это?

— Делаю вид?! Вы уйдете отсюда, сэр! Довольно ваших нотаций. Хозяйка здесь я.

— Мне уйти? Что изволите сказать далее? Какую новую нелепость? Вы обращаетесь со мною как с последним попрошайкой, хоть еще недавно мое положение было не ниже вашего, и вы о том знаете! Клянусь жизнью, Батшеба, это уж слишком оскорбительно. Вы знаете также, что с моим уходом дела придут в беспорядок, которого вам век не распутать. Потому обещайте мне нанять толкового управляющего. Обещайте, и я уйду сейчас же.

— Управляющего я нанимать не стану. Буду, как и прежде, сама распоряжаться своей фермой.

— Что ж, прекрасно. Вам следовало бы благодарить меня за пребывание здесь. Может ли хозяйство преуспевать, коли им заправляет женщина? Однако имейте в виду: мне не надобно, чтобы вы чувствовали себя мне обязанною. Я не таков. Что делаю, то делаю — вот и все. Иногда

мне страсть как хочется отсюда уйти. Зря вы считаете, что мне по нраву быть никем. Я достоин лучшего места. И все же мне жаль было бы видеть разорение вашей фермы, а этого не избежать, если вы не одумаетесь… Может, и не стоило мне высказываться столь прямо, но, право слово, вы порой вынуждаете мужчину говорить то, о чем он и не собирался заикнуться! Я признаю, что лезу не в свое дело. Только вам хорошо известно, от какого это чувства и кто та женщина, к которой я его питаю. До учтивости ли мне, когда оно меня одуряет?!

Весьма вероятно, Батшеба, сама того не сознавая, ощутила толику уважения к Габриэлю за его суровую преданность, выраженную более тоном, нежели словами. Так или иначе, она пробормотала, что, мол, если хочет, он может остаться, а затем, уже четче, промолвила:

— А теперь, пожалуйста, покиньте меня. Я не приказываю как хозяйка, а прошу как женщина. Надеюсь, вы не будете невежей и не откажете мне.

— Конечно, мисс Эвердин, — произнес Габриэль мягко.

Ему показалось удивительным, что Батшеба именно сейчас обратилась к нему с такой прось-

бою: ссора уже угасла, и они стояли на одиноком холме, вдалеке от всякого жилья. Он не двигался с места и глядел ей вслед, покуда она не превратилась в темный силуэт на фоне неба. Тут ему сделалось ясно, чем вызвано нетерпеливое желание избавиться от его присутствия. Словно из-под земли рядом с Батшебой выросла чья-то фигура — несомненно, Троя. Их разговора Оук слышать не желал, даже если бы мог. Он поворотил назад и шагал, не останавливаясь, пока добрые двести ярдов не отделили его от влюбленной пары.

Домой Габриэль шел через кладбище. Поравнявшись со старой колокольней, он вспомнил слова Батшебы о добродетельной привычке сержанта входить в храм никем не замеченным. Подозревая, что дверцей, ведущей на галерею, давно никто не пользовался, Габриэль поднялся к ней по наружной лестнице. Слабого свечения на северо-восточном краю неба было довольно, чтобы разглядеть ветку плюща, которая протянулась по двери более чем на фут, нежно связав ее с каменным обрамлением. Это наглядно доказывало, что отсюда никто не ступал на галерею по меньшей мере с тех пор, когда Трой приехал в Уэзербери.

Глава XXX
Горящие щеки и полные слез глаза

Полчаса спустя Батшеба вошла в свой дом. При зажженных свечах стал виден румянец, так часто вспыхивавший на ее лице в последнее время. Она все еще слышала последние слова Троя, сказанные ей у самого порога. Сержант простился с нею на два дня, которые должен был — так он сказал — провести в Бате с друзьями. Расставанию предшествовал новый поцелуй.

Справедливости ради следует раскрыть обстоятельство, вышедшее на свет лишь многим позднее: то, что Трой встретил Батшебу на пути с прогулки, не было следствием уговора между ними. Он обиняком приглашал ее на свидание, но она ответила отказом и теперь лишь потому велела Оуку уйти, что опасалась их встречи, в случае если сержант все же придет.

Взволнованная и разгоряченная недавними событиями, Батшеба бессильно опустилась в кресло, потом вскочила, как будто на что-то решившись, и взяла со стола письменный прибор.

За три минуты она, ни разу не остановившись и ничего не исправив, написала Болдвуду письмо, в котором вежливо, но твердо сообщила, что тщательно обдумала вопрос, над коим он любезно позволил ей поразмыслить, и ее окончательное решение таково: она не сможет стать его женою. В разговоре с Оуком Батшеба высказала намерение дождаться Болдвуда, чтобы дать ему ответ, однако теперь поняла, что ждать не в силах.

Отправить письмо можно было только назавтра. Желая хотя бы отчасти унять нетерпение, Батшеба решила немедля снести послание кому-нибудь, кого найдет на кухне. В коридоре она остановилась: женщины разговаривали, причем речь шла о ней самой и о Трое.

— Ежели он на ней женится, она бросит заниматься фермой. Жизнь у них пойдет веселая, только как бы им после этой веселости горя не нахлебаться.

— Ах, вот бы мой муж оказался хоть вполовину такой!

Разум велел Батшебе не принимать пересудов служанок всерьез, однако женская несдержанность в речах не позволила ей оставить сказанное ими без ответа.

— О ком вы говорили? — вспыхнула она.

Последовала пауза, после которой Лидди откровенно призналась:

— Мы, мисс, о вас словечко обронили.

— Так я и знала! Мэриэнн, Лидди и Темперанс, я запрещаю рассуждать о таких вещах! Вам известно: до мистера Троя мне никакого дела нет. Может, он кому-то и нравится, но уж точно не мне. Все знают, как я его ненавижу. Да, — с горячностью повторила молодая фермерша. — Ненавижу!

— И мы, мисс. Оно понятно, — ответила Лидди.

— Уж как он мне противен! — подхватила Мэриэнн.

— Ты лгунья, Мэриэнн! Не стыдно тебе говорить такие пакости? — отозвалась Батшеба возбужденно. — Ты же только нынче утром от всего сердца им восхищалась! Да, да, восхищалась!

— Верно, мисс, так и вы тоже. А теперь он этаким негодником сделался! Правильно вы делаете, ежели ненавидите его.

— Никакой он не негодник! Как ты смеешь говорить такое мне в лицо! Ни у меня, ни у вас, ни у кого другого нет причин его ненавидеть. Какое мне дело до сержанта? Вы знаете, что никакого. Я к нему равнодушна. Защищать его доброе имя я не стану. Однако зарубите себе на носу: кто хоть

слово против него скажет, тому я без промедления откажу от места!

Батшеба бросила на стол письмо и стремительно возвратилась в гостиную. Сердце переполняли чувства, в глазах стояли слезы. Добросердечная Лидди последовала за своей госпожой.

— Ах, мисс! — промолвила она, с сочувствием заглядывая Батшебе в лицо. — До чего мне жаль, что мы на ваш счет ошиблись! Я в самом деле думала, будто он вам нравится. Теперь-то вижу, что нет.

— Затвори дверь.

Лидди, затворив дверь, продолжала:

— Каких только глупостей люди не говорят, мисс! Я отныне всем буду повторять: «Такая леди, как наша хозяйка, не может его любить».

— Ах, Лидди, ну можно ли быть такой простушкой? — воскликнула Батшеба, не выдержав. — Неужто ты совсем не понимаешь загадок? Неужто ничего не видишь? Разве сама ты не женщина?

Ясные глаза служанки недоуменно расширились.

— Да, Лидди, ты слепа! — сокрушалась госпожа. — Я люблю его до безумия, до ужаса, до боли! Не пугайся, хотя я, наверное, способна напугать любую невинную девушку. Подойди ко мне —

ближе, ближе! — Батшеба обвила руками шею Лидди. — Я должна излить кому-то чувство, которое меня снедает! Ты ведь близко знаешь меня, а не разглядела, что кроется за моим глупым отрицаньем! Ох, Боже мой, как я солгала! Прости меня, Небо, прости, моя Любовь! Неужто тебе неизвестно, Лидди, что женщина, если любит, не раздумывая даст ложную клятву, лишь бы скрыть свои чувства? Ну ладно. Теперь ступай. Хочу побыть одна.

Лидди направилась к двери.

— Постой, иди сюда. Поклянись мне, как на Библии, что он не повеса. Что это все неправда, что о нем говорят!

— Но мисс, как же я могу поклясться, если он…

— Ах ты, дерзкая девчонка! У тебя жестокое сердце, раз ты повторяешь мне эти сплетни! Бесчувственное ты создание! Отныне я буду следить, чтобы ты не смела больше плохо о нем отзываться. И никто чтобы не смел — ни в деревне, ни в городе!

Батшеба принялась мерить шагами гостиную, расхаживая от камина до двери и обратно. Лидди, напуганная непредвиденной вспышкой хозяйского гнева, пробормотала:

— Нет, мисс, что вы, мисс, я знаю, что все

неправда…

— Ты так для того только говоришь, чтобы мне угодить. Но, Лидди, он не может быть таков, как о нем судачат! Слышишь?

— Да, мисс, да.

— Ты не думаешь, что он дурной человек?

— Я уж и не знаю, как мне быть, — сказала Лидди, начиная плакать. — Говорю «нет» — вы не верите, говорю «да» — бранитесь!

— Скажи, что не думаешь так! Скажи!

— Я не думаю, что он настолько плох, как о нем говорят.

— Он вовсе не плох! О моя жизнь, о мое сердце! Как я слаба! — бесцельно запричитала Батшеба, словно была в комнате одна. — И зачем я только встретила его! Любовь — всегда такое несчастье для нашего пола! Никогда не прощу Богу, что родилась женщиной! Какую цену мне приходится платить за хорошенькое личико! — Батшеба вдруг встрепенулась. — Знай, Лидия Смоллбери: если ты кому-нибудь хоть слово повторишь из того, что слышала от меня за этой закрытой дверью, я не буду больше ни доверять тебе, ни любить тебя. Рассчитаю немедля — в ту же секунду!

— Не хочу я ничего повторять, — возразила Лидди, выказывая женскую гордость миниатюр-

ного сорта, — и служить у вас не хочу. Могу, коли вам угодно, после жатвы уйти, или на неделе, или сегодня даже… Не пойму, чем я так провинилась, чтобы на меня напускались ни за что ни про что! — величественно заключила маленькая женщина.

— Нет, нет, Лидди, останься! — проговорила Батшеба, с внезапностью каприза переходя от угроз к уговорам. — Не обращай внимания на то, какая я теперь стала. Ты мне не служанка, а наперсница… О Боже, Боже! От этой тоски я сама не своя и не ведаю, что творю! Сердце отяжелело и изболелось! Чего мне ждать? Ох, доведет меня любовь до беды! Быть может, мне суждено умереть в работном доме. Одному Господу известно, как я одинока!

— Я ни на что не буду обращать внимания и не оставлю вас! — пролепетала Лидди, рыдая, и порывисто поцеловала Батшебу в губы.

Батшеба поцеловала Лидди в ответ, и мир между ними был восстановлен.

— Я ведь нечасто плачу, верно, Лидд? Но ты заставила меня расплакаться. — Батшеба улыбнулась сквозь слезы. — Постарайся думать о нем хорошо, ладно, милая Лидди?

— Непременно, мисс, постараюсь.

— Он, знаешь ли, вполне постоянный, только на свой собственный необузданный лад. А некоторые, что гораздо хуже, бывают постоянно необузданными. Боюсь, я такая и есть. Обещай хранить мою тайну. Обещай, Лидди! Пусть никто не узнает, что я плакала о нем. Иначе меня ждет сущий ужас, да и ему, бедному, хорошего мало!

— Уж ежели я решила о чем-то молчать, то и под страхом смерти ни словечка не промолвлю! И вашим другом я останусь навсегда! — с чувством произнесла Лидди, уронив еще пару слезинок — не потому, что они уж очень просились на глаза, а скорее из артистического желания быть под стать обстановке, которая влияет на женщин в такие минуты. — Думается мне, Богу угодно, чтобы мы дружили, правда?

— Нисколько не сомневаюсь.

— Только, дорогая мисс, вы ведь не будете больше так на меня напускаться? А то вы вскидываетесь, точно лев, и мне страшно делается! Когда на вас расстройство находит, вы, верно, мужчине в силе не уступите.

— Неужто тебе на самом деле так кажется? — усмехнулась Батшеба, в глубине души всерьез встревоженная тем, что выглядит со стороны амазонкою. — Выходит, я грубая мужеподобная

девица? — спросила она с некоторой тревогой.

— Вовсе нет, мисс, не мужеподобная. Но в вас столько женской силы, и она такая могучая, что иногда бывает похоже на то. Ах, мисс, — промолвила Лидди, сокрушенно вздохнув. — Мне бы не помешало иметь хоть половину этого вашего свойства. Изрядная защита для бедной девушки в наш подлый век!

Глава XXXI
Упреки. Ярость

Следующим вечером, опасаясь, что мистер Болдвуд явится лично ответить на письмо, и потому предпочитая на некоторое время отлучиться из дома, Батшеба стала готовиться к тому, чтобы исполнить обещание, данное Лидди. В знак примирения компаньонка получила от госпожи разрешение поехать на неделю к сестре, вышедшей за преуспевающего изготовителя плетеных изгородей и яслей, который жил в очаровательной ореховой рощице за Йелбери. Обещание же состояло в том, что мисс Эвердин окажет сему лесному мужу честь, погостив у него день или два и ознакомясь с хитроумными новшествами, коими он дополнял свои изделия.

Наказав Габриэлю и Мэриэнн, чтобы хорошенько заперли все на ночь, Батшеба вышла из дома сразу же после короткого ливня: он наполнил воздух утонченным благоуханием и вымыл зеленое пальто земли, придав ему изысканный вид, но сама она осталась суха. Причудливые изгибы холмов и оврагов источали такую свежесть, что

казалось, будто почва дышит, как юная дева. Довольные птички пели гимн этому великолепию. Бреши, зиявшие в облаках, напоминали пещеры, заполненные светом сокрытого солнца: оно повисло над горизонтом, так далеко уйдя на северо-запад, как только позволяла летняя пора.

Батшеба прошла около двух миль, наблюдая угасание дня: на ее глазах время дел тихо сменялось временем размышлений, которому в свой черед надлежало уступить место часу молитв и сна. Вдруг на Йелберийском холме показался тот, с кем Батшеба так старалась не встретиться. Прежде в поступи Болдвуда ощущалась спокойная сдержанная сила, помогавшая ему достигать равновесия в мыслях. Сейчас движения фермера были вялы, словно его оглушили.

Он впервые познал женское свойство отступать даже тогда, когда для кого-то это отступление равносильно гибели всех надежд. Батшеба казалась ему благоразумной молодой дамой, гораздо менее склонной к непоследовательности, нежели другие девушки. Он уповал на то, что эти свойства выведут ее на прямой путь и побудят сказать «да» хотя бы из здравого смысла, если уж она не испытывает к нему, Болдвуду, нерассуждающей любви, которая озарила бы его своими

радужными лучами. Письмо оказалось подобно печальному отсвету разбитого зеркала. Открытие, сделанное Болдвудом, было неожиданно и болезненно, как удар бича.

Фермер шагал, глядя в землю, и не видел Батшебы до тех пор, пока они не подошли друг к другу на расстояние броска камня. Едва Болдвуд поднял глаза, его лицо тотчас выразило глубину и силу чувств, раненных письмом.

— Ах, это вы, мистер Болдвуд? — произнесла Батшеба неверным голосом, чувствуя, как жар вины, пульсируя, прихлынул к лицу.

Тот, кто способен укорять безмолвно, может, вероятно, думать, что молчание действенней слов. Взгляд порой высказывает такое, чего не может высказать язык, а бледные губы сообщают больше, чем способно уловить ухо. Иные чувства не находят выражения в звуке — в этом их величие и их мучительность. Не в силах выдержать взгляд Болдвуда, Батшеба слегка отвернулась. Заметив это, он спросил:

— Вы меня боитесь?

— С чего вы решили?

— У вас напуганный вид. И это странно противоречит тому чувству, которое я к вам питаю.

Овладев собой, Батшеба спокойно устремила

на Болдвуда выжидающий взгляд.

— Мое чувство вам известно, — продолжал он твердо. — Оно сильно, как смерть, и остается таковым, даже если его отвергли торопливым письмом.

— Я сожалею, что вы столь увлечены мною. Вы добры ко мне. Даже более, чем я заслуживаю. И все же сейчас я не хочу об этом слушать.

— Слушать? Так вы полагаете, я должен о чем-то с вами говорить? Нет, в своем письме вы выразились предельно ясно: моей женой вы не будете. Чего ж еще? Слушать меня вам более не придется.

Не в силах сосредоточить свою волю и найти выход из этого отчаянно неловкого положения, Батшеба только смущенно пробормотала «Доброго вам вечера» и зашагала дальше по тропе. Болдвуд, ступая тяжело и уныло, нагнал ее.

— Батшеба, дорогая, вы не перемените своего решения?

— Оно окончательно.

— О Батшеба, сжальтесь надо мною! — воскликнул Болдвуд, словно взорвавшись. — Боже правый, как низко я пал — ниже некуда! Прошу милости у женщины! И эта женщина — вы, вы!

Батшебе удалось сохранить самообладание.

— Ваши слова отнюдь не лестны для меня, — ответила она, но голос ее все же утратил твердость, перейдя на шепот, ибо мужчина, который сделался совершеннейшим флюгером своей страсти, являл собою зрелище столь огорчительное, что врожденная женская придирчивость по части этикета невольно ослабла.

— Я вне себя, рассудок мой мутится. Да, стоик не опустился бы до мольбы, но я молю вас. О, если б вы только знали, какова моя преданность вам!.. Однако вы не ведаете этого чувства. Потому прошу: из простого сострадания к одинокому человеку не гоните меня теперь!

— Я не гоню вас, да и не могу прогнать, ведь вы никогда не были подле меня.

Заявляя с предельною ясностью, что ни дня не любила Болдвуда, Батшеба не вспомнила о необдуманном поступке, который совершила одним февральским вечером.

— Вы сами первая обратились ко мне, когда я о вас и не думал! Это не упрек, ибо, пусть даже мне пришлось изведать такие страдания, я и теперь нахожу, что если бы вы не пробудили меня своей открыткой по случаю Валентинова дня, жизнь моя была бы холодной тьмою. И все же правда остается правдой: прежде я ничего о вас не знал и

не любил вас, а вы меня завлекли. Потому ежели вы скажете, будто не давали мне поощрения, я никак не смогу согласиться с вами.

— То, что вы называете поощрением, было лишь детскою игрою в час праздности. Впоследствии я горько раскаялась — горько и слезно. А вы все продолжаете меня попрекать?

— Я не попрекаю вас, но сожалею о вашем поступке. Тогда я принял всерьез то, что, как вы настаиваете, было шуткой. Теперь же я молю, чтобы вы признали шуткой свой отказ, однако он страшно, нестерпимо серьезен. Вечно мы с вами расходимся. А как бы я хотел, чтобы ваши чувства были более похожи на мои или мои на ваши! Если бы я сразу знал, какую муку сулит мне ваш розыгрыш, мне следовало бы вас проклясть. Сейчас я не могу этого сделать: слишком сильна моя любовь к вам! Однако пора мне прекратить эти беспомощные праздные излияния… Батшеба, из всех женщин в целом мире вы первая, кого я полюбил, и ваш теперешний отказ вдвойне тяжел для меня, оттого что я уже готов был назвать вас своею. Вы ведь почти обещали мне! Я не для того говорю это, чтобы растрогать ваше сердце и пробудить в вас сочувствие. Свою боль я должен терпеть в одиночестве, ибо она не станет меньше,

если вы также станете горевать.

— Но я сочувствую вам — глубоко, всею душою! — искренно произнесла Батшеба.

— Напрасно, напрасно. Ваша любовь была бы мне настолько дороже вашего сострадания, что потеря его вместе с нею не умножает моей скорби, а обретение без нее — не уменьшает. О, как милы вы были со мною у ручья в день купанья овец, и в амбаре в день стрижки, и в тот сладчайший последний вечер у вас в гостиной! Куда же подевались ваши приятные речи, где ваша прежняя надежда на то, что вы сумеете меня полюбить? Где ваша убежденность в том, что я стану вам дорог? Неужто вы все позабыли?

Совладав с волнением, Батшеба спокойно и открыто поглядела Болдвуду в лицо и тихим твердым голосом произнесла:

— Мистер Болдвуд, я ничего вам не обещала. Сказав, что любите меня, вы сделали мне высочайший комплимент, какой мужчина может сделать женщине. Неужто вы при этом думали, будто я каменная? Конечно же, я выказала некоторое чувство, ведь я не вздорная мегера! Однако все любезные слова, какие я вам говорила, были только учтивостью, помогающей скрасить день. Могла ли я знать, что то, чем прочие мужчины

лишь развлекаются, для вас подобно смерти?! Прошу, образумьтесь и не думайте обо мне так дурно!

— Оставим спор. Одно лишь ясно: вы были почти моею, а теперь сделались недоступны. Все переменилось, причем, запомните, по вашей воле. Когда-то ваше имя ничего мне не говорило, и я жил не горюя. Теперь вы снова стали для меня ничем, но до чего же второе ничто отлично от первого! О Боже! Лучше бы вы никогда не привлекали меня, если сделали это только затем, чтобы тотчас бросить!

Батшеба, несмотря на весь свой пыл, начинала ясно ощущать себя «немощнейшим сосудом»[43]. Она из последних сил боролась со своей женской сущностью, благодаря которой поток непрошенных чувств набирал силу. Стоя под градом упреков Болдвуда, Батшеба пыталась себя успокоить, разглядывая то небо, то деревья, то какой-нибудь незначительный предмет, но на сей раз это средство не действовало.

— Я вас к себе не привлекала — даже не думала привлекать! — произнесла она так отважно, как только сумела. — И смените тон! Если мне указы-

---

[43] Примечания: 43
Первое соборное послание апостола Петра, 3:7.

вают на мои ошибки, я терплю это только тогда, когда со мною говорят мягко. Ах, сэр, я прошу вас меня простить и отныне смотреть на все весело!

— Весело?! Может ли мужчина находить повод для веселости, когда в нем злою шуткою разожгли такой огонь? Могу ли я праздновать победу, когда на самом деле потерпел поражение? О небо! До чего вы бессердечны! Если бы я раньше знал, как горек будет для меня этот мед, я бы избегал встреч с вами, не видел бы вас и был бы глух к вашим речам. Впрочем, для чего я вам это говорю? Какое вам до меня дело? Никакого!

Батшеба отвечала на упреки слабыми возражениями, а то и вовсе молчала и лишь отчаянно мотала головой, словно хотела стряхнуть с себя слова, что сыпались на нее из уст охваченного дрожью собеседника — мужчины в расцвете лет, обладателя бронзового римского профиля и атлетической фигуры.

— Дражайшая, дражайшая моя Батшеба! Даже теперь я колеблюсь между двух крайностей: то хочу не раздумывая отречься от вас, то готов опять смиренно добиваться вашей благосклонности. Забудьте о вашем отказе, пусть все станет как прежде! Скажите, что давешнее ваше письмо было шуткой! Прошу вас, скажите так!

— Это будет неправдой и причинит боль нам обоим. Вы переоцениваете мою способность любить. Во мне нет и половины той душевной теплоты, которую вы надеетесь найти. Беззащитное детство в холодном мире выбило из меня всю нежность.

Внезапно в голосе Болдвуда усилились ноты негодования:

— Даже если ваши детские годы и впрямь были несчастливыми, это не оправдание, мисс Эвердин! Вы не та бесчувственная женщина, за которую себя выдаете. Нет, нет! Вы не любите меня не потому, что не способны любить. Разумеется, вы хотите, чтобы я так думал. Прячете от меня сердце, горящее так же, как мое. Вы способны к любви, однако она направлена в другое русло, и я даже знаю, в какое.

Быстрая музыка ее сердца сменилась шумом бешеного биения. Выходит, Болдвуд знал о произошедшем между нею и Троем. Действительно, в следующую секунду с губ фермера слетело имя соперника.

— Видно, Трой не мог не посягнуть на мое сокровище! — гневно воскликнул Болдвуд. — Я ничего дурного ему не сделал. Так зачем же он навязал вам свое присутствие? До того как он вас сму-

тил, вы были расположены ко мне: возвратясь, я пришел бы к вам за ответом и услышал бы «да». Можете ли вы это отрицать, спрашиваю я вас?

Батшеба помедлила, но честность все же вынудила ее ответить.

— Не могу, — прошептала она.

— Знаю, что не можете. Он подкрался к вам в мое отсутствие и ограбил меня. Отчего он не пытался завоевать вас прежде, когда это никому не причинило бы горя и не вызвало бы пересудов? Теперь все провожают меня ухмылкой. Даже небо и холмы словно смеются надо мною, и я краснею, стыдясь своего безумства. Я утратил уважение людей, доброе имя, репутацию — утратил безвозвратно. Так выходите же замуж за своего возлюбленного, я вас не держу.

— Ах, сэр, мистер Болдвуд…

— Не беспокойтесь, я вам более не помешаю. Мне следует уйти куда-нибудь и, скрывшись от всех, молиться. Однажды я любил женщину. Теперь меня гложет стыд. Когда я умру, обо мне скажут: «Он был несчастный человек, погубленный любовью». О Боже, Боже! Если бы меня обманули тайно, и никто не узнал бы о моем бесчестии, я мог бы сохранить прежнее свое положение! Однако положение утрачено, как

и женщина, которую я любил. Во всем виноват он! Он!

Испуганная неразумной злобой Болдвуда, Батшеба отстранилась от него едва заметным скользящим движением.

— Я всего лишь девушка, — промолвила она. — Не говорите со мною так!

— Все это время вы знали, вы отлично знали, что ваша новая причуда заставит меня страдать. Быть ослепленной алым мундиром — вот уж поистине женское безрассудство!

Батшеба тотчас воспламенилась.

— Вы слишком много себе позволяете! — гневно выпалила она. — Все, все на меня напустились! Не пристало мужчине так набрасываться на женщину! В целом мире нет у меня защитников, кроме меня самой! Хоть бы кто проявил ко мне милосердие! Все глядят на меня с ухмылкой, все меня судят! Довольно! Не желаю этого терпеть!

— Конечно же, вы с Троем станете болтать обо мне. Так скажите ему: «Болдвуд готов был умереть за меня». Да, вы дали ему волю, зная, что он вам не пара. Он поцеловал вас, как будто имел на то право. Слышите? Он поцеловал вас! Отрицайте, если можете!

Женщина всегда страшится мужского отчая-

ния, даже если ее собственное столь же сильно. Болдвуд, пылающий негодованием, был для Батшебы почти что отражением ее самой, однако она задрожала и судорожно глотнула воздух.

— Оставьте меня, сэр, оставьте! Я вам никто, позвольте же мне уйти!

— Скажите, что он не целовал вас!

— Не могу.

— Значит, целовал! — хрипло вымолвил Болдвуд.

— Да. Я не стыжусь говорить правду, — ответила Батшеба медленно и дерзко, невзирая на свой страх.

— Тогда будь он проклят! Будь он проклят! — произнес фермер яростным шепотом. — Я все готов был отдать, чтобы коснуться вашей руки, а вы позволяете повесе без всяких церемоний целовать вас! Всемилостивые небеса! Целовать!.. Настанет день, когда он раскается! Пожалеет о той боли, которую причинил другому мужчине! Он сам будет стонать, и молить, и проклинать, и томиться — как я сейчас!

— О нет, не призывайте несчастий на его голову! — горестно вскричала Батшеба. — Что угодно, только не это. Ах, сэр, будьте к нему добры, ведь я в самом деле его люблю.

Разгоряченные мысли Болдвуда дошли до того состояния, при котором внешняя связность и внутренняя последовательность бывают полностью утрачены. Его глаза словно вобрали в себя всю тьму наступающей ночи. Он уже совсем не слышал Батшебы.

— Я накажу его — клянусь своею душою, что накажу! Будь он хоть солдат, хоть нет, я разыщу этого щенка и отстегаю хлыстом за бессовестную кражу моего счастья. Пускай он даже силен, как сто человек, я отхлещу его… — Голос Болдвуда понизился с неестественною внезапностью. — Батшеба, милая заблудшая кокетка, простите меня! Я обвинял вас, угрожал вам, вел себя с вами как грубиян, а виноваты не вы. Это на нем лежит великий грех. Это он своей беззастенчивой ложью похитил ваше дражайшее сердце! Его счастье, что он вернулся в полк и находится далеко отсюда! Стану молиться, чтобы он не попался мне на глаза, иначе я могу с собою не совладать. О, Батшеба, держите его от меня подальше, не подпускайте его ко мне!

Несколько мгновений Болдвуд был так безжизненно неподвижен, что казалось, будто его душа вылетела вместе с этими страстными словами. Наконец он пошел прочь, и вскоре сумерки

поглотили его силуэт, а шаги потонули в приглушенном шорохе листвы.

Батшеба, стоявшая как статуя, порывисто поднесла руки к лицу в отчаянной попытке постичь смысл разыгравшейся сцены. Она была поражена и испугана тем, сколь мощные родники страсти таила в себе душа такого с виду спокойного человека, как мистер Болдвуд. Сила его угроз заключалась в том, что они затрагивали обстоятельства, в настоящее время известные одной Батшебе: через день или два ее возлюбленный должен был возвратиться в Уэзербери. Он не вернулся в свои далекие казармы, как полагали все, не исключая и Болдвуда, а лишь поехал в Бат повидать друзей. До окончания его отпуска оставалось не менее недели.

Батшеба ощущала горестную уверенность в том, что, если сержант захочет снова ее повидать и встретит Болдвуда, разразится ужасная ссора. Трой может быть ранен. При мысли об этом Батшеба задышала тяжело и часто. Малейшая искра зажжет легко воспламеняемую ярость и ревность Болдвуда. Он утратит власть над собою, как случилось теперь. Веселость Троя может, приняв воинственную форму, перерасти в насмешливость. Тогда злость Болдвуда перерастет

в жажду мщения.

Испытывая почти болезненную боязнь прослыть экзальтированной девицей, эта бесхитростная женщина обыкновенно носила маску беспечности, тщательно скрывая от мира теплую глубину своих чувств. Но сейчас она себя не сдерживала. Вместо того чтобы пойти дальше, Батшеба шагала взад и вперед, царапала воздух ногтями, хмурила лоб и сокрушенно всхлипывала, будто жалуясь сама себе. Затем она опустилась на груду камней и долго просидела, размышляя. Над темной кромкой земли нависли неровные края медных облаков, за которыми бесконечно простиралась прозрачная зелень неба. Неугомонный мир, вращаясь, влек Батшебу с запада, где еще не погасли пунцовые отсветы солнца, на восток, где уже загорелись первые робко мигавшие звезды. Она глядела на их безмолвную борьбу с необъятной тьмой, но ничего не понимала. Ее смятенная душа витала далеко — подле Троя.

Глава XXXII
Ночь. Топот копыт

В деревушке Уэзербери было тихо, точно на кладбище. Живые спали почти так же крепко, как мертвые. Церковные часы пробили одиннадцать. В воздухе, пустоту которого не нарушал ни один другой звук, сперва послышалось жужжание шестеренок, затем, после боя, отчетливо прозвучал щелчок. Сами удары, неодушевленно тупые, распространились волнами среди рассеянных облаков и сквозь зазоры между ними унеслись в неизведанные просторы Вселенной.

В потрескавшихся и заплесневелых стенах дома Батшебы в тот вечер хозяйничала одна Мэриэнн, поскольку Лидди, как уже говорилось, гостила у сестры, и Батшеба тоже отправилась к ней. Через несколько минут после боя часов Мэриэнн встревоженно повернулась в своей постели, не понимая, что именно нарушило ее сон. Она опять было задремала, но вскоре окончательно проснулась — с таким чувством, будто случилось неладное. Встав, Мэриэнн подошла к окну. К той части дома, где находилась ее комната, примы-

кал загон для скота. В серой мгле можно было с трудом различить фигуру, которая приблизилась к лошади, щипавшей траву, схватила животное за челку и увела в дальний угол луга. Там виднелся какой-то предмет — повозка; по прошествии нескольких минут, потраченных, по всей вероятности, на запрягание, послышался стук копыт по дороге, смешанный с шумом легких колес.

Из всех разновидностей человеческих существ только две способны проскользнуть в загон для скота незаметно, как тень: женщина и цыган. О том, чтобы женщина занималась таким ремеслом в такой час, не было и речи. Непрошеный гость мог оказаться лишь вором, который, по-видимому, знал, что хозяйка на ночь отлучилась из усадьбы, и решил осуществить свой дерзкий замысел. В Уэзерберийской низине как раз стоял цыганский табор, и этот факт способствовал скорейшему переходу подозрения в обвинение.

Когда преступник скрылся из виду, Мэриэнн, боявшаяся кричать в его присутствии, тотчас осмелела: быстро оделась, выбежала по нечиненой скрипучей лестнице из хозяйского дома и, ворвавшись в ближайшее к нему жилище — коттедж Коггенов, — устроила переполох. Когген позвал Габриэля, который теперь снова жил у

него, как в самом начале, после пожара на риге. Все трое вошли в загон. Вне всякого сомнения, лошадь пропала.

— Чу! — произнес Оук.

Мэриэнн и Когген прислушались: в неподвижном воздухе отчетливо различался стук копыт лошади, рысившей по Долгопрудной улице, неподалеку от которой цыгане разбили свой лагерь.

— Наша Красотка, — сказал Джен. — Ее поступь я всегда узнаю.

— Боже правый! Ох, и заругает нас хозяйка, когда вернется! — простонала Мэриэнн. — Надо же было этому не вчера случиться, а именно теперь, когда мы за все в ответе!

— Вора нужно догнать, — произнес Габриэль решительно. — Ответственность перед мисс Эвердин я принимаю на себя. Едем.

— Не на чем ехать, ей-богу! — возразил Когген. — Все наши лошади тяжелы для погони. Кроме разве что Крошки. Но и на ней мы вдвоем далеко не ускачем. Соседская пара сейчас бы нам здорово пригодилась.

— Какая еще пара?

— Болдвудовы Молл и Тайди.

— Ждите, я сейчас, — сказал Оук и бросился бежать вниз по склону холма.

— Фермера Болдвуда нет дома! — заметила Мэриэнн.

— Тем лучше, — ответил Джен. — Пастух ведь не за ним пошел.

Менее чем через пять минут Габриэль вернулся — все так же бегом, с двумя недоуздками в руках.

— Где ты их взял? — спросил Когген и, не дождавшись ответа, перемахнул через изгородь.

— Под стрехой. Я знаю, где они висят, — сказал Оук, следуя его примеру. — Когген, ты умеешь ездить без седла? А то искать седла некогда.

— Умею, да еще как лихо! — ответил Джен.

— Ты, Мэриэнн, ступай спать, — крикнул Габриэль, все еще сидя верхом на изгороди, а затем спрыгнул на луг Болдвуда.

Спрятав поводья в карманы, Оук и Когген подошли к лошадям. Те, думая, будто люди пришли безоружными, послушно позволили ухватить себя за гривы, после чего недоуздки были проворно накинуты на морды. Вместо удил в лошадиные рты сунули по куску веревки, которую завязали сзади петлей. Габриэль легко запрыгнул на спину одной лошади, Джен вскарабкался на другую, использовав насыпь как приступку. Оба выехали из ворот и галопом припустили туда, куда вор увел кобылу Батшебы. Кому принадлежала по-

возка, в которую впрягли лошадь, оставалось не вполне ясным.

Доскакав до Уэзерберийской низины за три или четыре минуты, преследователи оглядели погруженный во тьму зеленый пустырь у дороги. Цыган не было.

— Мерзавцы! — воскликнул Габриэль. — Куда же они подевались?

— Прямо поехали — к гадалке не ходи! — ответил Джен.

— Прекрасно. Верхами, налегке мы сумеем их нагнать. Давай-ка во весь опор!

Впереди не было слышно ни стука копыт, ни дребезжания повозки. От дождя усыпанная щебнем дорога размягчилась и приобрела некоторую податливость, хотя и не превратилась в жижу.

На перекрестке Когген внезапно остановил Молл и соскочил на землю.

— Ты чего? — спросил Габриэль.

— Коли мы их не слышим, то попытаемся отыскать следы, — ответил Джен, ощупывая карманы.

При свете зажженной спички стало видно, что дождь в этом месте лил сильнее. Полустертые отпечатки копыт, оставленные до грозы, превратились в лужицы и отражали пламя, подобно

множеству горящих глаз. Среди них можно было различить одну дорожку свежих лошадиных следов, не заполненных водой, и одну пару колесных борозд, не превратившихся, как остальные, в маленькие канальцы. Отпечатки копыт многое сообщали о поступи животного: они располагались ровными парами с промежутком в три или четыре фута, причем в каждой паре правый след располагался строго против левого.

— Так бывает, если лошадь карьером гнали, — подметил Джен. — Немудрено, что мы их уже не слышим. А вот и следы повозки. Ба! Да кобылка-то точно наша!

— Почем ты знаешь?

— Старый Джимми Харрис только на прошлой неделе ее подковал, а его подкову я из десяти тысяч узнаю.

— Должно быть, остальные цыгане или раньше снялись, или в другую сторону поехали, — предположил Габриэль. — Других следов не видно?

— Нет, не видать.

Оук и Когген молча двинулись дальше и ехали томительно долго. Когда Джен достал старые томпаковые часы с репетицией, перешедшие к нему по наследству от какого-то славного предка, они пробили один раз. Он снова зажег спичку и

склонился над дорогой.

— Здесь пошел легкий галоп. При таком беге повозку шибко мотает и трясет. Лошаденку с самого начала перетрудили, и она, видать, уже подустала. Скоро мы их нагоним.

Продолжив путь, Габриэль и Джен въехали в Блэкморскую долину. Семейная реликвия Коггена снова пробила час. Отпечатки копыт теперь располагались наподобие уличных фонарей: если бы их соединить, вышел бы зигзаг.

— Я знаю: это рысь, — определил Оук.

— Верно, на рысь перешла. Догоним, того и гляди, — сказал Когген.

Они быстро проскакали еще две или три мили, после чего Джен опять остановился.

— Погоди-ка. Нам не мешает поглядеть, как она взобралась на холм.

Снова спичка чиркнула о гетры, и снова огонек был поднесен к лошадиным следам.

— Ура! — возликовал Когген. — Пошла шагом — оно и понятно! Готов поспорить на пять шиллингов: догоним через две мили.

Проехав три, Джен и Габриэль прислушались. Единственный слышимый звук был хриплым журчанием реки, пробивавшейся сквозь мельничную плотину. Казалось, вода мрачно предо-

стерегала путника, который мог утонуть, съехав с дороги. На повороте Оук сошел. Теперь следы украденной кобылки служили преследователям единственной путеводной нитью, и потому было особенно важно не перепутать ее следы с какими-нибудь другими.

— Что бы это значило? — спросил Габриэль, водя спичкой над дорогой. — Хотя я, кажется, понял.

Когген, запыхавшийся не меньше лошадей, тоже изучил загадочные знаки: на сей раз форму подковы имели только три отпечатка из четырех, а каждый четвертый был просто маленькою вмятиной.

— Фью-ю-ють! — протянул он, скривив лицо.

— Охромела?

— Да, — подтвердил Джен, продолжая разглядывать следы, — охромела наша Красотка на левую переднюю ногу.

— Вперед, — сказал Габриэль, вновь садясь на вспотевшего скакуна.

На протяжении большей части пути дорога не уступала столбовой, однако по назначению своему она была всего лишь проселком. После поворота Оук и Когген выехали на тракт, ведущий в Бат.

— Сейчас мы их и сцапаем! — воскликнул Джен, собрав оставшиеся силы.

— Где?

— На Шертонской заставе. Тамошний смотритель, Дэн Рэндалл его зовут, такой соня, какого больше не сыщешь отсюда до самого Лондона. Я давно его знаю, он раньше в Кестербридже служил. Хромота, да еще ворота… Почитай, дело сделано.

Теперь путники ехали с большою осторожностью, не нарушая молчания до тех пор, пока не увидали впереди пять поперечных полос, белевших на фоне темной листвы.

— Тс-с-с! Мы почти на месте! — прошептал Габриэль.

— Съезжай на траву, — сказал Когген.

Перед заставою виднелась какая-то темная фигура. Тишину нарушил возглас:

— Эй! Отворяй ворота!

По всей вероятности, этому призыву предшествовал другой, оставшийся незамеченным. Подобравшись ближе, Оук и Когген увидели, что дверь будки наконец-то отворилась, и из нее вышел полуодетый смотритель со свечой в руке. Ее пламя озарило всех действующих лиц.

— Не открывай ему! — крикнул Габриэль. — Он

украл лошадь!

— Кто?

Приблизясь к повозке, Оук увидел на облучке женщину — Батшебу, свою госпожу. Услыхав его голос, она отворотилась от света, но Когген успел ее узнать и изумленно воскликнул:

— Вот те на! Это ж наша хозяйка! Чтоб мне провалиться!

Красоткой, вне всякого сомнения, действительно правила Батшеба, сумевшая сделать то, что уже не раз делала при других критических обстоятельствах, не касавшихся любви: она спрятала удивление под маскою холодности.

— Ну, Габриэль, — невозмутимо сказала она, — куда же вы направляетесь?

— Мы подумали…

— Я еду в Бат, — произнесла Батшеба, призывая себе на помощь решимость, которой не хватило Габриэлю. — Одно безотлагательное дело вынудило меня немедля уехать, вместо того чтобы гостить у Лидди. Так зачем же вы следовали за мною?

— Мы подумали, лошадь украли.

— Еще чего не хватало! Неужели трудно было догадаться, что и ее, и двуколку взяла я? Добрых десять минут стучала я в окно Мэриэнн, но не

смогла ни ее добудиться, ни в дом войти. По счастью, мне удалось достать ключи от каретника, и я решила никого больше не беспокоить. Неужто вы не подумали, что это была я?

— Нет, мисс, с чего бы?

— Боже правый! Так это же лошади фермера Болдвуда? Вы что — неприятности на меня навлечь хотите? Подумать только! Леди и шагу из дома не может ступить, чтобы за нею не гнались, как за вором!

— Однако ж, мисс, вы нам не говорили, что собираетесь в Бат, — произнес Когген увещевательным тоном. — Да и не принято, чтобы леди в такой час на лошадях разъезжали.

— Я оставила вам записку, которую вы прочли бы утром. Написала мелом на двери каретного сарая, что приходила взять лошадь с двуколкой и тотчас уехала, что никого не смогла разбудить и что скоро вернусь.

— Посудите сами, мэм: в темноте мы вашу записку разглядеть не могли.

— Верно, — согласилась Батшеба. Поначалу она была раздражена, но здравый смысл все же вынудил ее признать, что нельзя долго и всерьез распекать слуг за преданность — явление столь же ценное, сколь и редкое. Потому она милости-

во прибавила: — Как бы то ни было, я от души благодарю вас за ваши старания. Только я бы предпочла, чтобы вы позаимствовали лошадей не у мистера Болдвуда, а у кого угодно другого.

— Красотка охромела, мисс. Ехать-то сможете? — спросил Когген.

— Ей просто камешек в подкову попал. Я вытащила его ярдов за сто от этого места. Я прекрасно справлюсь, спасибо. К утру буду в Бате. А вы, пожалуйста, езжайте домой.

Батшеба повернула голову, и ее быстрые ясные глаза блеснули, поймав луч от свечи смотрителя. Двуколка проехала в ворота и вскоре была поглощена таинственной тьмою летнего леса. Джен и Габриэль поворотили лошадей и, овеваемые бархатистым воздухом июльской ночи, двинулись в обратный путь.

— Чудит наша хозяйка. Правда, Оук? — с любопытством произнес Когген.

— Да.

— Не доехать ей к утру до Бата.

— Когген, сдается мне, про наше ночное приключение не нужно никому рассказывать.

— И я думаю точно так же.

— Вот и хорошо. Дома будем около трех.

Несколькими часами ранее, предаваясь тре-

вожным размышлениям у обочины дороги, Батшеба заключила, что есть два способа улучшить положение, казавшееся ей отчаянным: не допускать возвращения своего возлюбленного в Уэзербери, покуда негодование его соперника не остынет, или же, вняв просьбам Оука и упрекам Болдвуда, вовсе прекратить знакомство с сержантом. Могла ли она отречься от новой любви — отвратить Троя от себя, сказав, будто он ей не мил? Могла ли избегать разговоров с ним? Могла ли просить его ради ее блага остаться в Бате до конца отпуска и больше не видеться с ней?

Эта перспектива приводила Батшебу в глубокое уныние, и все же она всерьез задумалась, не поступить ли именно так. Однако, выбирая между чувством и долгом, она, как свойственно ее полу и возрасту, позволила себе представить, до чего было бы прекрасно, если бы одно не противоречило другому, и до чего счастливая жизнь ее бы ждала, если бы Трой был Болдвудом. Мысль о том, что сержант может полюбить другую, причиняла ей бесплодные страдания. Батшеба достаточно изучила натуру Троя, чтобы понять его наклонности, но, увы, не любила его меньше оттого, что он мог вскоре ее позабыть. Напротив, любовь как будто становилась только сильнее.

Батшеба вскочила. Она немедленно с ним увидится и устно попросит помощи в решении этой дилеммы. Предостерегающее письмо может запоздать. Или придет вовремя, но Трой ему не внемлет. Быть может, Батшеба в ослеплении не понимала, что если женщина намерена расстаться с предметом своей любви, ей вряд ли следует искать поддержки у него самого? Или она проявила софистическое благоразумие, решив избрать такой способ расставания, который позволил бы ей свидеться с сержантом по крайней мере еще раз?

Стемнело. Осуществить задуманное Батшеба могла только одним путем. Ей следовало, позабыв об уговоре с Лидди, возвратиться на ферму, запрячь лошадь в бричку и сразу же ехать в Бат. Поначалу план казался несбыточным: даже существенно недооценивая расстояние, Батшеба понимала, что животному, хотя бы и сильному, нелегко будет вынести такое путешествие. И только очень храбрая женщина могла отправиться в путь ночью одна. Быть может, Батшебе стоило пойти к Лидди, предоставив событиям течь своим чередом? Нет, нет, только не это! Волнение, переполнявшее девушку, требовало действий, заглушая слабый голос осмотритель-

ности.

Она зашагала обратно к дому. Поступь ее была неспешна: не следовало появляться в Уэзербери до тех пор, пока все жители, а в особенности Болдвуд, не улягутся спать. Замысел Батшебы был таков: доехать за ночь до Бата, утром, пока сержант Трой не отправился в Уэзербери, увидеться с ним и навсегда проститься. После этого дать лошади отдохнуть (а себе самой выплакаться), чтобы на рассвете следующего дня тронуться в обратный путь. К вечеру Красотка легкой рысцой привезла бы свою хозяйку к Лидди, а потом госпожа и служанка вместе вернулись бы домой, прогостив в Йелбери столько, сколько бы им захотелось. О путешествии в Бат никто бы даже не узнал.

В этом и заключался придуманный Батшебою план. Однако, будучи новым человеком в Уэзербери, молодая фермерша плохо знала местную географию и мысленно преуменьшила расстояние до Бата едва ли не вдвое. Как бы то ни было, она приступила к осуществлению замысла. Насколько успешным оказалось начало пути, читателю уже известно.

Глава XXXIII
На солнце. Вестник

Прошла неделя, а от Батшебы все не было новостей. Не было и объяснений ее бегству — стремительному, как пресловутый галоп Джона Гильпина[44]. Наконец Мэриэнн получила от госпожи записку, где сообщалось, что дело, по которому та прибыла в Бат, задержит ее еще на несколько дней.

Следующая неделя минула, как и предыдущая. Все вышли убирать овес. Небо было по-августовски ровным, словно его выкрасили синей краской, знойный воздух дрожал, приближавшийся полдень укорачивал тени. В комнатах царила тишина, нарушаемая только жужжанием мух, а в поле слышался лязг железа да шорох косматых янтарно-желтых колосьев, тяжело падающих при каждом взмахе серпа. Все кругом пересохло: влага (в виде сидра) была лишь в бу-

---

[44] Примечания: 44

«Занимательная история Джона Гильпина» *(«The Diverting History of John Gilpin»)* — комическая баллада Уильяма Купера (1731–1800). Заглавный герой, лондонский торговец, едет праздновать годовщину свадьбы, но, не справившись с управлением лошадью, проезжает на десять миль дальше таверны, где его ждут жена и дети.

тылях и флягах, да еще струилась (в виде пота) со лбов и щек жнецов.

Когда все решили, что пора удалиться для краткого отдыха под благодатную тень дерева, стоящего у ограды, Когген увидал быстро приближавшуюся фигуру в голубой куртке с медными пуговицами.

— Кого это к нам принесло? — подивился он.

— Может, от хозяйки гонец? Только бы с нею беды не вышло! — сказала Мэриэнн, вместе с другими женщинами увязывавшая овес в снопы, как было заведено на ферме. — А то нынче утром я, когда дверь отпирала, уронила ключик, а он упал на каменный пол да и раскололся надвое. Дурной знак! Уж скорей бы хозяйка воротилась!

— Это Каин Болл, — произнес Оук, оторвав взгляд от серпа, который точил.

Условия найма не обязывали пастуха работать в поле, но время жатвы — тревожная пора для фермера, а фермером была Батшеба. Посему Габриэль вызвался помочь.

— Разоделся парень как на праздник, — подметил Мэтью Мун. — Уже несколько дней гуляет: гнойник у него на пальце. Работать, говорит, не могу.

— Славное времечко для него настало! — произ-

нес Джозеф Пурграсс, потягиваясь. В эту знойную пору он, как и некоторые его товарищи, использовал всякий мало-мальски удобный случай, чтобы только отвлечься от работы. Иные поводы бывали таковы, что явление Каина Болла в воскресной одежде среди недели казалось в сравнении с ними событием весьма значительным. — Помню, как-то раз у меня нога разболелась, так я Бенья-нов «Путь паломника» прочел, а Марк Кларк в «Четыре очка» играть выучился, когда у него ноготь врос.

— Эх, да у меня папаша в свое время плечо вывихнул, чтобы за девушкой приударить, — гордо произнес Джен Когген, отирая лицо рукавом и сдвигая шапку на затылок.

Кайни между тем был уже совсем недалеко, и жнецы могли разглядеть, что одна рука у него перевязана, а во второй он держит большой ломоть хлеба с ветчиной, который кусает прямо на бегу. Приблизясь к односельчанам, паренек раскрыл рот колокольчиком и неистово закашлялся.

— Кайни! — сурово окликнул его Габриэль. — Сколько раз я тебе говорил, чтоб не носился сломя голову, когда ешь! Или ты подавиться хочешь, Каин Болл?

— Кхе-кхе-кхе! Крошка не в то горло попала!

Кхе-кхе! Вот какое дело, мистер Оук! А я в Бат ездил, потому как у меня палец разбарабанило. Да. И там я видел… Экхе-кхе!

Стоило Каину упомянуть Бат, все, побросав серпы и вилы, тотчас собрались вокруг него. К несчастью, своевольная крошка отнюдь не добавила ему красноречия. К кашлю присовокупилось неистовое чиханье: парнишка так сотрясался, что внушительного размера часы вывалились у него из кармана и раскачивались на цепочке, будто маятник.

— Так вот, — продолжил Кайни, вновь обращая и мысли, и взгляд в сторону Бата. — Наконец-то я мир повидал. Да. И хозяйку нашу видел… Кхе-кхе-кхе!

— Беда с тобой! — посетовал Габриэль. — Вечно тебе в горло что-нибудь попадает, когда нужно говорить!

— Кхе! Ну вот. Прошу прощенья, мистер Оук. Просто комар в меня залетел, и потому я опять закашлялся.

— То-то и оно! Вечно у тебя рот разинут, негодник ты этакий!

— Бедный мальчуган! — покачал головой Мэтью Мун. — Это скверно, когда комар в глотку залетит!

— Итак, — напомнил Габриэль, — в Бате ты видел…

— В Бате я видел нашу хозяйку. С солдатом она прогуливалась. Они все ближе и ближе друг к дружке подходили, и потом гляжу — солдат уж и под руку ее держит, совсем как ейный ухажер… Кхе-кхе! Как ухажер ейный… Кхе-кхе-кхе! — Вместе с легкостью дыханья утратив и нить своего рассказа, подпасок принялся оглядывать поле, будто ища подсказки. — Стало быть, видел я нашу госпожу с солдатом… А-а-апчхи!

— Чертов мальчишка! — вспылил Габриэль.

— Вы уж простите, мистер Оук, но такая моя манера, — укоризненно ответил Кайни, поглядев на него увлажнившимися глазами.

— На вот, сидром полечись, — сказал Джен Когген, беря бутыль, вынимая пробку и поднося горлышко ко рту подпаска.

Джозеф Пурграсс тем временем предался мрачным размышлениям о том, что будет, если Кайни Болл, кашляя, задохнется, и повесть о его путешествии в Бат умрет вместе с ним.

— Сам я, за какое дело ни возьмусь, завсегда сначала говорю: «Господи, спаси и сохрани!» — произнес Джозеф смиренно. — Вот и ты так говорить должен, Каин Болл. Не то когда-нибудь

насмерть закашляешься.

Джен Когген лил сидр, не жалея: половина стекала по горлу бутыли, а из того, что попадало в рот Каину, еще половина шла не туда, куда надобно, и, возвращаясь наружу при кашле и чихании, обдавала собравшихся жнецов хмельными брызгами, которые образовывали в знойном воздухе нечто наподобие тумана.

— Эк расчихался! Воспитанье у тебя и впрямь хромает! — заметил Когген, отнимая бутыль.

— Мне сидр в нос ударил! — вскричал Кайни, как только смог говорить. — А оттуда на ворот вылился, и на мой больной палец, и на лучшую одежу, и на красивые пуговицы!

— Кашель — сущая напасть для парня, — произнес Мэтью Мун. — Уж давно мучается… Похлопай-ка его по спине, пастух.

— Мамаша всегда говорила, — жалобно подтвердил Каин, — что ежели меня разволновать, я жутко нервенный становлюсь.

— Верно, верно, — кивнул Джозеф Пурграсс. — Все Боллы нервенные. Я знал деда парнишки, так тот застенчивый был и чувствительный — галантерейная, можно сказать, натура. Все краснел и краснел, почти как я, хотя это, по моему разумению, не такой уж изъян!

— Что ты, мастер Пурграсс! — откликнулся Когген. — Твоя разгарчивость — очень даже благородное свойство.

— Хе-хе! Не то чтоб я любил напоказ себя выставлять — совсем даже напротив того, — смущенно пробормотал Джозеф, — но природа, как говорится, она природа и есть. И коли уж она возвышенная, то ничего не попишешь. Может, Создатель, когда я родился, и не пожалел для меня всяческих даров, но я — такое у меня странное свойство, соседи, — все под спудом держать предпочитаю. Потому как похвал не люблю. Однако ж, Господь наш Нагорную проповедь перечислением блаженных начал, и кроткие люди в ней помянуты.

— Дед Кайни умную голову имел, — сказал Мэтью Мун. — Сам яблоню придумал, которую по сей день его именем называют. «Эрли Болл» — слыхал про такую, Джен? Получается, если к девонской сидровой привить красную скороспелку, а потом еще «Рейт-Райп» — другой скороспелый сорт… Так Болл, правда, живал на постоялом дворе с одною кралей, которая ему не супруга была, а вообще-то умом его Бог не обидел…

— Ну же, Каин, — нетерпеливо произнес Габри-

эль, — что ты увидал?

— Видел я, как наша хозяйка гуляла в этаком саду, где были скамейки, кусты и цветы, а солдат держал ее под руку, — продолжил подпасок уверенным голосом, смутно понимая по волнению Габриэля, что сообщает нечто важное. — Он, тот солдат, был, верно, сержантом Троем. Они больше получаса сидели рядышком, говорили всякие нежности, а она так даже расплакалась в три ручья. А когда они уходили, то глаза у ней сияли, и вся она была белая, точно лилия. И так ласково они с солдатом глядели друг на дружку, как только могут мужчина с женщиной друг на друга глядеть.

Лицо Габриэля словно истончилось.

— Что же еще ты видел? — спросил он.

— Ох, кучу всего!

— Белая, как лилия, говоришь, была? А точно ты не обознался?

— Точно!

— Ну так что ж еще?

— Еще там лавки с огромными окнами, тучи большущие висят, а кругом города деревья старые растут.

— Дубина ты! Полно вздор нести! — воскликнул Когген.

— Оставь паренька в покое, — вмешался Джозеф Пурграсс. — Он сказать хочет, что в Бате и небо, и земля почти такие, как у нас. Про чужие края узнать оно всегда полезно. Стало быть, пускай говорит.

— А огонь в Бате разводят только по праздникам, — продолжал Кайни, — потому что вода из земли уже сразу горячая прет.

— Истинная правда, — подтвердил Мэтью Мун. — Мне и другие путешественники про то сказывали.

— Одну эту воду там только и пьют. Так ее хлещут, что, видно, очень она всем нравится.

— Для нас это, как говорится, варварский обычай, а для тамошнего населения дело привычное.

— Может, у них не только вода, но еще и еда сама из земли выскакивает? — произнес Когген лукаво.

— Чего нет, того нет — врать не стану. Едой их Господь не снабдил. Я и сам огорчился.

— Да уж, занятное место — нельзя не признать, — заключил Мун. — И народ там, должно быть, занятный.

— Так мисс Эвердин, говоришь, прогуливалась с солдатом? — снова спросил Габриэль: он

вернулся было к своим делам, но теперь опять подошел к подпаску и его слушателям.

— Да. На ней было красивое золотое шелковое платье с черными кружевами. Так торчало, что и ног не надо, чтобы в нем стоять. И волосы она причесала по-особенному. Когда солнце на нее падало, вся она прямо сверкала. И его красный мундир тоже. Такая парочка — глаз не отвести! С другого конца улицы было их видать.

— Ну а дальше что? — пробормотал Габриэль.

— Дальше я пошел к Гриффину, чтобы он мне башмаки подбил, потом в пекарню Риггса. Взял лежалых остатков на пенни. Они уже заплесневели, но не совсем. Я жевал их и дальше шел. Увидал часы величиною с таз, в котором тесто месят…

— До хозяйки-то это никакого отношения не имеет!

— Погодите же, мистер Оук, все в свой черед расскажу, коли мешать не будете! — вознегодовал Кайни. — А станете меня волновать, я опять раскашляться могу и тогда вовсе говорить не сумею.

— Да уж, пускай себе говорит, как хочет, — согласился Когген.

Габриэль принял позу терпеливого отчаяния, а Кайни продолжал:

— Дома там пребольшущие, а народу в обычные дни больше, чем у нас во вторник после Троицы, когда крестный ход устраивают. Был я в церквях и часовнях, глядел, как там служат. Священник станет на колени, руки возденет, а кольца золотые у него на пальцах так и сверкают, аж слепят! Должно быть, очень усердно молиться нужно, чтобы такие заработать! Эх, вот бы мне самому в Бате жить!

— Да, у нашего пастора Тердли на золото денег нету, — задумчиво произнес Мэтью Мун. — Человек такой — лучше и не сыщешь, а думается мне, что перстней у него, бедняги, вовсе никаких — ни жестяных даже, ни медных. Хотя они бы ему не помешали. Все бы понарядней выглядел, когда вечернюю службу ведет при восковых свечках! Но где ему денег взять?! Все в мире неровно, как я погляжу…

— Может, он просто не из того теста сделан, чтобы перстни носить, — предположил Габриэль угрюмо. — Ну, довольно об этом. Давай, Кайни, дальше рассказывай, да поживее.

— А еще, — продолжал славный путешественник, — тамошние священники носят усы и длинные бороды. Совсем как Моисей и Аарон. А нам, тем, кто в церкви собрался, кажется, будто

мы сыны Израиля.

— Правильное чувство, даже очень, — сказал Джозеф Пурграсс.

— А вообще нынче есть две религии: кто-то в высокую церковь ходит, а кто-то в молельню[45]. Я, по-моему, справедливо рассудил: утреннюю службу в церкви отбыл, а вечернюю — в молельне.

— Ты благочестивый вьюнош, — похвалил Джозеф Пурграсс.

— В высокой церкви поют, и все разукрашено, точно радуга. Ну а в молельне без музыки служат, словами. И стены такие унылые — побелка и больше ничего. А мисс Эвердин я больше не видел.

— Отчего ж ты сразу не сказал?! — воскликнул Оук, не скрывая разочарования.

— Эх, — произнес Мэтью Мун, — несладко ей придется, ежели она тому солдату лишнего позволила.

— Ничего лишнего она ему не позволяла! — вознегодовал Габриэль.

---

[45] Примечания: 45

Речь идет о противостоянии двух основных течений англиканства: «высокой» и «низкой» церкви. Если вторая последовательно придерживается протестантских ценностей, то первая сохраняет более тесную связь с католицизмом, что наглядно проявляется в облачении священников, церковном убранстве и других формальных аспектах.

— Не такова наша хозяйка, — согласился Когген. — В ейной черноволосой головке слишком много ума, чтобы глупости творить.

— А он-то, к слову сказать, не грубиян и не невежда какой. Хорошее воспитание получил, — нерешительно промолвил Мэтью Мун. — Однако в солдаты его по необузданности нрава занесло, а женский пол таких греховодников любит.

— Отвечай, Каин Болл, — произнес встревоженный Габриэль, — можешь ли ты мне дать самую страшную клятву, что та женщина, которую ты видел, была мисс Эвердин?

— Каин Болл, ты уже не младенец, — сказал Джозеф торжественно-мрачным тоном, какого требовали обстоятельства, — и должен понимать: клятва есть такое свидетельство, которое ты своею кровию скрепляешь. Сей камень всякого раздавит, на кого падет, — так нас учит апостол Матфей[46]. А теперь скажи перед всем собравшимся рабочим людом: можешь ли ты поклясться, как просит тебя пастух?

— Нет, мистер Оук, помилуйте, не надо! — проговорил Кайни. Проникнутый духовною значимостью момента, он тревожно переводил

---

[46] Примечания: 46
Евангелие от Матфея, 21:44.

взгляд с Оука на Пурграсса и обратно. — Я правду сказал и хоть сейчас повторить могу, но коли вы хотите, чтобы я прибавил: «Черт меня побери!» — так этого я не хочу!

— Каин, Каин, как тебе не совестно! Тебя благочестиво поклясться просят, а ты клянешься, как Семей, сын Геры, который «шел и злословил»[47]. Стыдись, молодой человек!

— Нет! Я ничего дурного не сделал! Это вы хотите меня, бедного, до греха довести! — воскликнул Каин, принимаясь плакать. — Ежели по-обычному, так я могу сказать, что в самом деле видел мисс Эвердин с сержантом Троем, а ежели вы хотите, чтобы я божился, так, может, это и не они были. А больше я ничего не говорил!

— Видно, до правды нам не докопаться, — заключил Габриэль, возвращаясь к работе.

— Обнищаешь до куска хлеба[48], Каин Болл! — проворчал Джозеф Пурграсс.

И снова засверкали на солнце серпы, снова зашумели колосья. Габриэль не притворялся веселым, но и печали своей нарочно не выказывал. Все же Когген понял, что у него на сердце, и когда

---

[47] Примечания: 47
Вторая книга Царств, 16:5.

[48] Примечания: 48
Книга Притчей Соломоновых, 6:26.

они двое оказались в некотором отдалении от других, промолвил:

— Не думай ты о ней, Габриэль. Не все ли равно, чья она, коли не может быть твоею?

— Вот и я так себе говорю, — ответил Оук.

Глава XXXIV
Снова дома. Обманщик

Вечером, в сумерках, Габриэль стоял, прислонясь к садовой калитке Коггена, и внимательно все оглядывал, прежде чем отправиться отдыхать. По травянистой обочине дороги с мягким шорохом полз экипаж, из которого доносились голоса двух женщин, говоривших свободно, без стеснения. Оук мгновенно узнал Батшебу и Лидди.

Коляска поравнялась с ним и проехала мимо. Да, то была двуколка мисс Эвердин! Хозяйка и служанка сидели вдвоем. Последняя спрашивала о Бате, а первая безучастно отвечала. Фермерша выглядела усталой, как и ее лошадь.

Ни с чем не сравнимая радость от того, что Батшеба вернулась целой и невредимой, оказалась сильнее тревожных мыслей, и Габриэль всей душою возрадовался, позабыв все дурные пророчества.

Он все стоял и стоял у калитки, пока западный край неба, погрузившись во мглу, не слился с восточным, а боязливые зайцы не осмелели и не

начали скакать с бугорка на бугорок. Прошло, вероятно, с полчаса. Вдруг Оук заметил, что к нему медленно приближается темная фигура.

— Доброй ночи, Габриэль, — сказал идущий.

Это был Болдвуд.

— Доброй ночи, сэр.

Вскоре после того как фермер исчез во тьме, Оук вернулся в коттедж Коггена и лег спать. Болдвуд тем временем подошел к дому мисс Эвердин. Приблизясь к парадному крыльцу, он увидел в гостиной свет. Окно было не зашторено. Батшеба сидела к нему спиною, просматривая какие-то бумаги. Болдвуд подошел к двери, постучал и стал ждать. Каждый его мускул напрягся, голова болела.

Со дня встречи с Батшебой на дороге, ведущей в Йелбери, и до сего часа фермер не покидал своих владений. Одинокий и безмолвный, он предавался печальным размышлениям о женской натуре, принимая за неотъемлемые свойства всего пола огорчительные качества той единственной представительницы, которую ему довелось узнать. Постепенно им овладело более милостивое расположение духа, что и побудило его совершить эту вечернюю прогулку. Устыдившись недавней вспышки гнева, он решил просить прощения и

поспешил с исполнением своего намерения, едва узнал о приезде Батшебы — из Йелбери, как он полагал (слух о ее путешествии в Бат не достиг его ушей).

Болдвуду отворили, и он сказал, что желал бы говорить с мисс Эвердин. Лидди пошла о нем доложить, оставив его самого стоять на пороге. Не обратив внимания на странное поведение служанки, Болдвуд стал ждать. В гостиной, где сидела Батшеба, опустилась штора. Это был недобрый знак.

— Хозяйка не может принять вас, сэр, — сказала Лидди.

Фермер немедля зашагал прочь. Его не простили — в этом все дело! Он видел ту, что приносила ему и радость, и страдания: она сидела в той самой зале, куда он всего лишь несколькими неделями ранее был приглашен как почетный гость. Теперь его даже не впустили.

Домой Болдвуд не спешил. Было никак не менее десяти часов, когда он, медленно расхаживая по нижней части Уэзербери, услыхал шум рессорной повозки, доставлявшей жителей деревни в ближайший город, расположенный севернее, и обратно. Возница, которому она принадлежала, остановил ее перед своими воротами. Первым,

кто сошел на мостовую, был обладатель алого мундира с золотым позументом, сверкнувшим в свете подвесного фонаря. «Вот он! — мысленно воскликнул Болдвуд. — Снова явился к ней!»

Трой скрылся в доме возчика, где жил в дни последнего своего приезда в родную деревню. Болдвудом овладела внезапная решимость. Он поспешил к себе и через десять минут вернулся с намерением посетить Троя в комнате, которую тот нанял. Не успел фермер приблизиться, как дверь отворилась, и кто-то, прощаясь с хозяевами, произнес: «Доброй ночи». Голос принадлежал Трою. То, что сержант сразу же по приезде собрался уходить, было странно. Ускорив шаг, Болдвуд разглядел в его руках портплед, с которым он вышел из экипажа. По видимости, этой же ночью Трой намеревался снова покинуть Уэзербери.

Он заспешил было туда, где темнел холм, но Болдвуд его остановил:

— Сержант Трой?

— Да, я сержант Трой.

— Вы, я полагаю, только что прибыли издалека?

— Я приехал из Бата.

— Меня зовут Уильямом Болдвудом.

— Неужели?

Тон, каким это было сказано, явился для Болдвуда последней каплей, переполнившей чашу его терпения.

— Мне необходимо с вами переговорить.

— О чем же?

— О той женщине, что живет здесь неподалеку, и той, которую вы обманули.

— Ваша дерзость удивляет, — ответил Трой, делая шаг вперед.

Болдвуд преградил ему путь.

— Удивляйтесь сколько угодно, но говорить со мною вам придется.

Трой уловил грозную решимость, звучавшую в голосе фермера, смерил взглядом его могучую фигуру, увидел толстую дубинку, которую он сжимал в руке, и вспомнил, что час уже поздний. Пожалуй, в вышеозначенных обстоятельствах следовало проявить некоторую учтивость.

— Извольте. Я охотно выслушаю вас, — сказал Трой, опуская саквояж на землю. — Только говорите тише: нас могут услыхать на ближайшей ферме.

— Я знаю о привязанности, которую питает к вам Фэнни Робин. Полагаю, что, кроме меня и Габриэля Оука, никому в деревне об этом неизвестно. Вы должны на ней жениться.

— Должен и даже хотел бы, но не могу.

— Почему?

Трой хотел что-то сказать, но, спохватившись, переменил свой ответ:

— Я слишком беден.

До сих пор он говорил вызывающе, теперь же его тон был тоном ловкого мошенника. Однако Болдвуд находился не в том расположении духа, чтобы подмечать нюансы.

— Выражусь прямо. Рассуждать с вами о добре и зле, о женской чести и стыдливости я не стану. Не стану выражать своего мнения о вашем поступке. Я предлагаю вам сделку.

— Понимаю. Присядем здесь.

У ближайшей изгороди лежал толстый ствол поваленного дерева. Болдвуд и Трой сели.

— Я был помолвлен с мисс Эвердин, — произнес фермер. — Но явились вы, и…

— Вы не были помолвлены, — возразил Трой.

— Почти что были.

— Вы только могли бы обручиться, если бы не явился я.

— Еще как, черт подери, могли бы!

— «Бы», «бы» и снова «бы»!

— Если бы не вы, она к этому времени наверняка уже согласилась бы стать моею женой! А

вы, если бы ее не увидели, то, вероятно, были бы женаты на Фэнни. Ваше положение слишком отлично от положения мисс Эвердин, чтобы флирт мог завершиться женитьбой. Посему я прошу: оставьте ее в покое и женитесь на Фэнни. Я сделаю так, что вы окажитесь не в проигрыше.

— Каким же образом?

— Заплачу вам сразу, а позднее и ей. Позабочусь о том, чтобы в будущем вы не страдали от бедности. Скажу без обиняков: Батшеба только играет вами. Как я уже говорил, вы для нее слишком бедны. Потому не тратьте время на попытки сделать блестящую партию, которая для вас невозможна, и довольствуйтесь умеренной выгодой, женившись на той, на ком обязаны жениться. Возьмите ваш саквояж и немедленно, этой же ночью, покиньте Уэзербери. С собою вы увезете пятьдесят фунтов. Фэнни получит еще пятьдесят на подготовку к свадьбе, когда вы сообщите мне, где она живет. А в сам день бракосочетания я выплачу ей еще пять сотен.

В продолжение этого монолога голос фермера слишком явно выказывал, что он сознает слабость своей позиции, неверность цели и средств. Прежний Болдвуд — твердый, исполненный достоинства — говорил иначе. Теперь он затеял

такое предприятие, какое несколько месяцев назад назвал бы детскою глупостью. Влюбленный мужчина обретает силу, которой он не ощущал в себе, будучи свободным, однако свободный наделен недоступной влюбленному широтою взгляда. Склоняясь в ту или иную сторону, мы неизбежно сужаем поле своего зрения, ибо любовь есть прибавление чувств, но вычитание ума. Болдвуд явил собою ярчайшее доказательство этой истины. Он не знал, где Фэнни Робин и каковы ее обстоятельства, не знал возможностей Троя, однако произнес вышеприведенные слова.

— Фэнни нравится мне больше, — ответствовал Трой. — И если мисс Эвердин, как вы говорите, для меня недоступна, я только выиграю, приняв ваши деньги и женившись на Фэн. Но она всего лишь служанка!

— Пусть это вас не смущает. Так вы принимаете мое предложение?

— Принимаю.

— О! — произнес Болдвуд более мягким голосом. — Если Фэнни нравится вам больше, то зачем же, Трой, вы пришли сюда и сломали мое счастье?

— Теперь я в самом деле предпочитаю ее. Но Батш… Но мисс Эвердин воспламенила меня, на

время заместив Фэнни. С этим уже покончено.

— Так скоро? Тогда зачем вы явились сюда вновь?

— На то есть веские причины. Итак, пятьдесят фунтов разом?

— Верно. Вот, получите пятьдесят соверенов.

И Болдвуд передал Трою мешочек с золотыми монетами.

— У вас все наготове. Вижу, вы рассчитывали на то, что я их возьму, — сказал сержант, принимая деньги.

— Это представлялось мне весьма вероятным.

— Выходит, вы получаете одно лишь мое слово, а я в любом случае получаю пятьдесят фунтов.

— Я подумал об этом и решил, что, если я не могу полагаться на вашу честь, то могу положиться на вашу… назовем это рассудительностью. Вы, верно, не пожелаете упустить еще пятьсот фунтов и приобрести злейшего врага в лице человека, который может быть вам полезным.

— Тише! — прошептал Трой. Невдалеке послышался шум легких шагов. — Боже! Это она. Я должен с нею увидеться.

— Кто — «она»?

— Батшеба.

— Батшеба? Одна на улице в такой час? — про-

говорил Болдвуд, как громом пораженный. — К чему вам с нею встречаться?

— Она ждала меня сегодня. Я должен поговорить с нею. Проститься, раз вы этого желаете.

— Не вижу необходимости вам с нею разговаривать.

— Вреда не будет. Если я не выйду, она станет бродить по деревне, разыскивая меня. Вы услышите все, что я ей скажу. Это поможет вам в ваших ухаживаниях.

— Вы насмехаетесь.

— Ничуть. Поймите: если я просто не приду, она решит, будто со мною случилась беда, и ее мнение обо мне останется лучшим, чем если я прямо ей скажу, что между нами все кончено.

— Вы не будете говорить ничего кроме этого? Я в самом деле услышу ваше объяснение?

— Каждое слово. Теперь сидите здесь, не двигаясь. Держите мой саквояж. И внимайте.

Легкие шаги приближались, временами замирая, будто идущая к чему-то прислушивалась. Трой дважды издал мягкий посвист, напоминавший звук флейты.

— Так вот до чего меж вами дело дошло! — с тревогой пробормотал Болдвуд.

— Вы обещали молчать.

— И сдержу обещанье.

Трой вышел на дорогу.

— Фрэнк, любимый, это ты? — произнес знакомый женский голос.

— О Боже! — тихо воскликнул Болдвуд.

— Да, — сказал сержант, отвечая Батшебе.

— Как ты запоздал! — нежно проговорила она. — Приехал с возницей? Я ждала, когда подъедет экипаж, и услыхала шум колес, но с тех пор прошло немало времени. Я уж боялась, что ты вовсе не придешь, Фрэнк.

— Я не мог не прийти. Ты ведь знала, верно?

— Я надеялась, — игриво сказала она. — Фрэнк, нам так повезло! Ночью в доме не будет ни души. Я всех спровадила, и никто не узнает, что ты посетил опочивальню госпожи. Лидди захотелось навестить дедушку, рассказать ему, как она гостила у сестры. Я сказала: «Оставайся у него до завтра». А к утру ты уже уйдешь.

— Отлично! Только — ах, как досадно! — мне придется вернуться за портпледом: там мои домашние туфли, щетка и гребень. Ты пока беги домой, а я за ним схожу и буду у тебя в гостиной совсем скоро — четверти часа не пройдет.

— Хорошо, — согласилась Батшеба и, поворотив назад, проворно взошла на холм.

В продолжение этого разговора плотно сжатые губы Болдвуда нервически подергивались, по лицу струился липкий пот. Теперь фермер встал и направился к Трою. Тот повернулся к нему, взял саквояж и насмешливо спросил:

— Ну, так как? Прикажете пойти и объявить, что я на ней не женюсь?

— Нет, нет, постойте… — произнес Болдвуд хриплым шепотом. — Мне нужно еще сказать вам…

Трой прервал его:

— Теперь вы видите, в чем моя дилемма. Пожалуй, я дурной человек, жертва собственных порывов, которые вынуждают меня делать то, чего делать не должно. Как бы то ни было, жениться на обеих я не могу. Выбираю Фэнни по двум причинам: во-первых, она мне больше нравится, а во-вторых — вы устроили так, что теперь это для меня выгодней.

Стоило сержанту произнести эти слова, Болдвуд кинулся к нему и схватил его за горло. Для Троя такой поворот явился полной неожиданностью.

— Погодите! — прохрипел он, чувствуя, как рука фермера медленно сжимается. — Вы причините страдания той, кого любите!

— Что вы хотите этим сказать?

— Дайте глотнуть воздуха.

Болдвуд ослабил хватку.

— Клянусь небом, я вас убью! — произнес он.

— И заодно погубите ее.

— Нет, спасу.

— Разве можно будет ее спасти, если я на ней не женюсь?

— Дьявол вас подослал меня мучить! — прорычал Болдвуд и, неохотно отпустив сержанта, с силой его толкнул.

Тот ударился об изгородь, отскочил от нее, как мяч, и хотел было броситься на фермера, но, удержавшись, небрежно проговорил:

— Не думаю, чтобы мне стоило мериться с вами силой. Драка — варварский способ разрешения разногласий. Из-за этого своего убеждения я вскоре покидаю армию. Теперь вам известно, как обстоят дела с Батшебой, и потому вы должны согласиться, что убить меня было бы ошибкой.

— Убить вас было бы ошибкой, — повторил Болдвуд, уронив голову.

— Убейте лучше себя.

— Да, так будет гораздо лучше.

— Рад слышать.

— Трой, женитесь на ней. Забудьте, что я вам давеча говорил. Как это ни ужасно, берите Бат-

шебу! Я отрекаюсь от нее! До чего же сильно она вас любит, если без оглядки отдалась вам и душою, и телом! Несчастная женщина! Обманутая женщина!

— А как же Фэнни?

— Батшеба не бедна, — продолжал Болдвуд возбужденно. — И станет хорошей супругой, посему, Трой, спешите жениться на ней — она того стоит!

— Ну, у нее есть характер, если не сказать норов, при ней я буду рабом. А с бедняжкой Фэнни Робин сам смогу творить что пожелаю.

— Трой! — простонал Болдвуд. — Я все для вас сделаю, только не покидайте ее! Умоляю, не покидайте ее, Трой!

— Кого? Бедную Фэнни?

— Нет, Батшебу Эвердин! Любите ее всей душою, любите нежно! Неужто вы не видите, в каком выигрыше окажетесь, получив ее?

— Говоря по правде, я уже ее получил.

Болдвуд снова сделал судорожное движение, порываясь схватить Троя, но обуздал свой гнев и сник всем телом, словно пронзенный болью. Сержант продолжал:

— Вскоре я куплю себе увольнительную грамоту и тогда…

— Поторопитесь! Так будет лучше для вас обоих! Вы любите друг друга и должны позволить мне вам помочь.

— Как?

— Те пятьсот фунтов, которые я обещал для Фэнни, я дам Батшебе — только женитесь на ней немедля! Нет, от меня она денег не примет. Я выплачу их вам в день свадьбы.

Несколько секунд Трой молчал, втайне изумляясь силе той страсти, что владела Болдвудом. Затем он беспечным тоном спросил:

— А получу ли я что-нибудь сейчас?

— Да, коли хотите. Денег при мне осталось не много, я такого не ожидал. Однако все, что есть, ваше.

Болдвуд достал и обшарил холщовый мешок, который использовал вместо бумажника. При этом движения его скорее напоминали шевеление сомнамбулы, нежели действия разумного бодрствующего человека.

— Вот, — сказал он. — Двадцать один фунт. Две банкноты и соверен. Прежде чем я вас оставлю, мне нужно, чтобы вы письменно…

— Заплатите, и мы сейчас же пойдем в дом. Там я подпишу любую бумагу, чтобы вы не сомневались в моем намерении исполнить обещанное.

Только Батшеба ничего не должна знать о деньгах.

— Ничего, ничего, — торопливо пробормотал Болдвуд. — Вот двадцать два фунта. Теперь идемте ко мне, и я дам вам письменное обязательство уплатить оставшуюся часть суммы. Условия также обозначим.

— Сперва заглянем к Батшебе.

— Зачем? Пойдемте теперь же ко мне, а завтра — к наместнику епископа за брачной лицензией.

— Но я должен спросить у будущей жены согласия. Или по крайней мере поставить ее в известность.

— Хорошо, если вам угодно.

Поднявшись на холм, они приблизились к дому Батшебы. На крыльце Трой сказал:

— Побудьте здесь.

Он скользнул внутрь, оставив дверь приотворенной. Болдвуд стал ждать. Через две минуты в конце коридора показался свет, и фермер увидел, что дверь закрыта на цепочку. Трой вернулся со свечою из тех, какие ставят в спальнях.

— Вы опасались, что я ворвусь в дом? — презрительно проговорил фермер.

— Ах нет, просто я во всем привык соблюдать

предосторожность. Не соблаговолите ли вы прочесть вот это? Я вам посвечу. — Передав Болдвуду газету, сержант приблизил подсвечник к щели между дверью и косяком. — Вот здесь. — Он указал пальцем строку.

Болдвуд прочел:

> «17-го числа сего месяца в церкви св. Амвросия г. Бата преп. Дж. Минсинг, бакалавр, сочетал браком Фрэнсиса Троя из Уэзербери, сержанта Драгунского гвардейского полка, единственного сына покойного Эдварда Троя, эск., доктора медицины, с девицею Батшебой из Кестербриджа, единственной выжившей дочерью мистера Джона Эвердина».

— Вот это я называю «заставой[49] по острию»! А вы что скажете, мистер Болдвуд? — произнес Трой, сопроводив свои слова приглушенным бульканьем злорадного смеха. Болдвуд выронил газету. Сержант продолжал: — Пятьдесят фунтов за то, чтобы жениться на Фэнни — хорошо. Еще двадцать один фунт за то, чтобы жениться не на

---

[49] Примечания: 49

Застава — часть клинка, примыкающая к рукоятке. Является его «сильной» частью, в отличие от острия.

ней, а на Батшебе — отлично. Наконец апофеоз: я уже супруг Батшебы! А вы, мистер Болдвуд, смешны, как смешны все, кто встревают между мужем и женою! И вот что скажу вам на прощанье: я дурен, и все ж я не такой мерзавец, чтобы делать судьбу женщины предметом торга. Фэнни давно меня покинула. Я не знаю, где она, хотя везде ее искал. И последнее: вы говорите, будто любите Батшебу, но при этом вам хватило малейшего повода, чтобы признать ее бесчестной. Грош цена такой любви! Теперь, когда я преподал вам урок, заберите свои деньги!

— Я не возьму их! — проговорил Болдвуд, шипя.

— А я и подавно! — ответил Трой с пренебрежением.

Завернув мешочек с золотом в банкноты, он швырнул все вместе на дорогу. Болдвуд поднял трясущийся кулак.

— Чертов паяц! Сатанинский пес! Я с тобою поквитаюсь! Помяни мое слово: ты мне за все ответишь!

Последовал новый взрыв хохота, после чего Трой закрыл дверь и заперся изнутри. Всю оставшуюся ночь в окрестностях Уэзербери можно было видеть темную фигуру Болдвуда, бродивше-

го по холмам и долинам подобно скорбной тени на берегу Ахерона.

Глава XXXV
Окно верхнего этажа

Было раннее утро — пора солнца и росы. Целительный воздух наполнялся первыми робкими песнями многочисленных птиц. Бледную голубизну неба местами застилала тончайшая паутина бестелесных облаков, не затмевавших теплого света. Ветви растений, оплетавших старый помещичий дом, клонились под тяжестью капель, которые отражали предметы, подобно линзам с большой увеличительной силой.

Перед тем как часы пробили пять, Габриэль Оук и Джен Когген миновали перекресток деревенских дорог и направились к полям. Едва вдали стал виден дом госпожи, Оуку показалось, что отворилась створка одного из окон верхнего этажа. Он сам и его спутник были скрыты в тот момент за кустом бузины, уже усыпанным гроздьями зреющих черных плодов, и помедлили, прежде чем выйти из тени.

Из окна лениво выглянул красивый мужчина и посмотрел направо и налево, как делают только что проснувшиеся люди. Это был сержант Трой.

Небрежно набросив на плечи алый китель, он держался с расслабленной непринужденностью солдата в отпуску.

Когген, устремив взгляд на окно, заговорил первым:

— Она вышла за него замуж.

Габриэль ничего не ответил. Когген продолжал:

— Так и знал, что сегодня не обойдется без новостей. Вчера, едва стемнело, я слышал, как кто-то подъехал. Тебя тогда дома не было. Боже праведный! — воскликнул Джен, заглянув Габриэлю в лицо. — Оук, да ты весь белый, точно покойник!

— Неужто? — отозвался Габриэль со слабой улыбкой.

— Обопрись о калитку. Передохни. Я тебя подожду.

— Ладно.

Они постояли еще немного. Габриэль безучастно глядел в землю, уносясь мыслями в будущее, и видел, как беспечность первых лет супружества сменяется горьким сожалением о поспешно принятом решении. Батшеба и Трой поженились — это он понял мгновенно. Но почему тайно? Все знали о ее злополучном путешествии в Бат: неверно рассчитав расстояние, она загнала ло-

шадь и вместо одной ночи провела в пути более двух суток. Делать что-либо тайком было не в правилах Батшебы, при всех своих недостатках она была сама прямота. Уж не попалась ли она в ловушку? Заключенный ею союз не только причинил Габриэлю горе, но и явился для него неожиданностью, хотя всю предшествующую неделю он терзался подозрениями, для чего Трою понадобилось встречаться с Батшебой вдали от дома. Увидев, что хозяйка возвратилась домой вдвоем с Лидди, Габриэль несколько успокоился. Иные движения, с виду почти неотличимые от неподвижности, по свойствам своим противоположны ей. Точно так же и чувство, владевшее Габриэлем до сих пор, с виду казалось отчаянием, однако по сути было надеждой.

Через несколько минут Оук и Когген снова зашагали к дому. Увидев их, сержант, по-прежнему стоявший у окна, весело прокричал:

— С добрым утром, приятели!

Когген ответил. Габриэль промолчал.

— Поздоровайся и ты, — прошептал ему Джен. — Возьми да скажи: «Доброе утро!» Смысла в этом не будет и на полпенни, зато никто на тебя обиды не затаит.

Габриэль и сам решил, что ради блага той, кото-

рую он любит, следует постараться придать делу наилучший вид, коль скоро оно уже сделано.

— Доброе утро, сержант Трой, — произнес он угрюмо.

— До чего этот дом мрачный и неудобный! — улыбнулся драгун.

— Может, ее тут нет, и они не женаты вовсе? — тихо предположил Когген.

Габриэль покачал головой. Сержант чуть повернулся к востоку, и его китель будто вспыхнул, залитый оранжевым светом.

— Зато старинный и красивый, — произнес Габриэль, отвечая на замечание Троя относительно дома.

— Да, наверное. Но я чувствую себя здесь как молодое вино в старой бутылке. По-моему, нужно поставить подъемные окна, а обшивку стен осветлить. Или вовсе снять дубовые панели и наклеить обои.

— Мне было бы жаль.

— А мне нисколько. Один философ сказал однажды в моем присутствии, что в прежние времена, когда искусство еще было простым живым делом, строители не щадили творений своих предшественников: все рушили и переделывали по своему усмотрению. Почему бы и нам

не поступать так же? «Сохранение и созидание препятствуют друг другу, — сказал тот человек. — Антиквары, будь их даже миллион, не породят нового стиля». Я с ним полностью согласен и хотел бы все здесь обставить во вкусе нашего времени. Чтобы, пока мы можем быть счастливыми, ничто не омрачало нашего счастья.

Сержант отвернулся от окна и принялся оглядывать внутреннее убранство комнаты, решая, как лучше претворить свои идеи в жизнь. Габриэль и Джен собрались было продолжить путь, но Трой вдруг спросил, будто осененный каким-то воспоминанием:

— Скажи-ка, Когген, нет ли у Болдвудов в роду сумасшедших?

Подумав немного, Джен ответил:

— Про дядю его поговаривали, что он с придурью, только правда ли — не знаю.

— Да это и не важно! — произнес Трой беспечно. — До свидания, братцы! Как-нибудь на неделе я выйду поработать с вами в поле, а сейчас у меня есть кое-какие дела. Мы, разумеется, останемся с вами на дружеской ноге. Я человек не высокомерный. Никто еще не называл сержанта Троя гордецом. Однако порядок есть порядок. Вот вам полкроны: выпейте за мое здоровье.

Драгун ловко бросил монету через ограду, прямо в руки Габриэлю. Тот отшатнулся, его лицо побагровело. Когген, подмигнув, наклонился и подхватил монету, когда она отскочила от земли.

— Превосходно! Оставь себе, — сказал Габриэль презрительно и почти свирепо. — А мне не нужны от него подачки!

— На твоем месте я бы этого особенно не выказывал, — задумчиво ответил Когген. — Попомни мое слово: коли он на ней женился, то откупится от армейской службы и станет тут нами командовать. Потому, пускай на самом деле тебе от него одно огорченье, ты лучше зови его другом.

— Пожалуй, ты прав, но самое большее, к чему я могу себя принудить, — молчание. Льстить я не стану. Если, чтобы сохранить место, мне придется ему угождать, то я недолго здесь пробуду.

В продолжение всей этой беседы Оук и Когген видели впереди себя всадника, который теперь приблизился к ним.

— Это мистер Болдвуд, — сказал Габриэль. — С чего, хотел бы я знать, Трой сделал про него такой вопрос?

Почтительно кивнув, товарищи замедлили шаг, думая, что фермер, быть может, о чем-то их

спросит, но он ничего не сказал, и тогда они лишь посторонились, пропуская его.

Мертвенная бледность чеканного лица, резкие линии около рта и вены, вздувшиеся на лбу и висках, были свидетельством страшной боли, которая терзала Болдвуда всю ночь. Лошадь несла его вперед, и казалось, будто даже поступь животного выражает безысходное отчаяние. Видя страдания фермера, Оук на минуту возвысился над собственным горем. Болдвуд словно окаменел, расправив широкие плечи, глядя прямо перед собою и опустив согнутые в локтях руки. Поля шляпы, не колеблемые ни малейшим движением головы, скользили вперед, словно по ровной поверхности. Габриэль провожал всадника взглядом до тех пор, пока резко очерченный силуэт не исчез за холмом. Всякий, кому известно горе Болдвуда, не удивился бы, если бы тот утратил самообладание, но был бы поражен теперешней его внешней невозмутимостью. От такого несоответствия между видимостью и истинным положением вещей щемило сердце. Как смех порою производит более гнетущее впечатление, нежели слезы, так и неподвижность этого человека, охваченного нестерпимой душевной болью, была красноречивее крика.

Глава XXXVI
Богатство в опасности. Праздник

Однажды ночью, в конце августа, когда замужняя жизнь была еще нова для Батшебы, а погода стояла по-прежнему сухая и теплая, на зерновой двор фермы вышел человек и, застыв на месте, устремил взгляд на луну. Ночной пейзаж казался ему зловещим. Знойный южный бриз медленно шевелил верхушки деревьев. Другой ветер быстро гнал рваные облака: они плыли рядами, образуя несколько слоев. Сквозь них просвечивала луна, в чьем металлическом блеске виделось что-то недоброе. Ее мутное сияние окрасило поля землистой охрою. Все вокруг сделалось одноцветным, как при разглядывании через витражное стекло. Вечером овцы, возвращаясь в загоны, шли вереницей, странно вели себя грачи, да и лошади шагали боязливо.

Надвигалась гроза. По некоторым признакам можно было заключить, что последует продолжительный ливень, каким обыкновенно завершается лето, и через полсуток от сухой погоды страдной поры останутся одни воспоминания.

Габриэль с тревогой поглядел на восемь больших ненакрытых скирд (половина обильного урожая фермы) и направился к амбару. Той ночью сержант Трой, перенявший у Батшебы бразды правления, устраивал веселый пир по случаю окончания жатвы. Чем ближе Габриэль подходил, тем громче слышались скрипки, бубны и топот ног, отплясывавших джигу.

Остановившись перед приоткрытой створкой тяжелой двери, Оук заглянул внутрь: срединную часть и нишу в дальнем конце расчистили для праздника, а оставшуюся треть амбара до потолка набили овсом и завесили полотнищем. Стены, балки и принесенные отовсюду подсвечники были украшены пучками и гирляндами зелени. Прямо перед собой Оук увидел возвышение, на котором стояли стол и стулья. Здесь сидели три скрипача, а над их головами яростно тряс бубном человек со вздыбленными волосами и потным лицом. Танец закончился, но пары тут же снова выстроились в ряд на черном дубовом полу.

— Не в обиду всем остальным спрошу у хозяйки, чего еще она желает послушать? — проговорила первая скрипка.

— Мне, право, все равно, — ответил ясный голос Батшебы.

Она наблюдала пляску, стоя за обильным столом. Трой непринужденно расселся рядом.

— Коли так, — сказала скрипка, — то мы, с вашего соизволения, сыграем «Солдатскую радость» в честь бравого сержанта — мужа хозяйки. Что скажете вы, ребята, и вы, почтенные господа?

— Давай «Солдатскую радость»! — грянули все хором.

— Благодарю за комплимент, — весело произнес Трой и, взяв Батшебу за руку, стал с нею впереди других пар. — Недавно я уволился от службы в Одиннадцатом драгунском гвардейском полку Ее Всемилостивейшего Величества ради исполнения новых обязанностей, ожидавших меня здесь, однако сердцем я до последнего вздоха останусь солдатом.

Музыка заиграла. Достоинства пьесы, известной под названием «Солдатская радость», не подлежат и никогда не подлежали никакому сомнению. В музыкальных кругах Уэзербери и окрестностей единогласно признано, что под эту мелодию даже после часа громоподобного топанья ноги сами собою пускаются в пляс почище, чем под любую другую песню, исполняемую в начале вечера. Особая прелесть «Солдатской радости» заключена, помимо всего прочего, в

том, как славно она приспособлена для бубна — инструмента отнюдь не малозначительного в руках того, кто умеет продемонстрировать совершенство его звучания, не забывая сопровождать игру необходимыми спазмами, конвульсиями и яростными гримасами, в совокупности весьма напоминающими пляску святого Витта.

Музыкальный шедевр завершился звучным, как грохот канонады, ре контроктавы в исполнении ножной виолы, и Габриэль, решив более не медлить, вошел. Избегая Батшебы, он стал проталкиваться к краю стола, где теперь снова сидел Трой, попивавший бренди с водой, меж тем как все остальные пили сидр и эль. Подобраться так близко, чтобы можно было говорить, Габриэлю не удалось, и он, воспользовавшись посредничеством одного из работников, попросил сержанта на минутку выйти. Сержант счел это невозможным.

— Тогда передай ему, — сказал Оук своему посыльному, — что скоро начнется сильный дождь — только потому я и пришел. Нужно скирды спасать.

— Мистер Трой говорит, дождя не будет, — ответил посредник, возвратившись, — и ему сейчас некогда толковать с тобой о скирдах.

В сравнении с ликующим сержантом Оук казался тусклой свечою возле газового фонаря. Отнюдь не расположенный участвовать во всеобщем веселье, он решил идти домой. Голос Троя заставил его на секунду задержаться в дверях.

— Друзья! — воскликнул сержант. — Сегодня у нас не только праздник урожая, но и свадебный пир. Недавно мне выпало счастье стоять у алтаря рядом с вашею хозяйкой, однако до сих пор мы не имели возможности отпраздновать это событие с жителями Уэзербери. Так наверстаем же упущенное! Чтобы каждый из присутствующих мужчин лег в постель довольным, я распорядился подать сюда несколько бутылок бренди и чайников кипятку. Осушим круговую чашу!

Бледная Батшеба, поглядев на мужа снизу вверх, положила руку ему на плечо и умоляюще произнесла:

— Не нужно, Фрэнк, прошу тебя! Им это только повредит. Они ведь уже довольно выпили.

— И правда! Благодарствуем, нам всего хватило!

— Тю! — презрительно присвистнул сержант. Впрочем, тут же его озарила новая идея. — Друзья! А отошлем-ка мы женщин по домам! Им уже пора спать. А мы, петухи, покутим без них в

свое удовольствие! Ежели кто из мужчин смалодушничает, то пускай ищет себе на зиму другую работу!

Батшеба в негодовании покинула амбар. За нею последовали остальные женщины и дети. Музыканты, не сочтя себя подходящей для хозяина «компанией», тоже тихонько удалились и стали запрягать лошадь в свой фургон. Пиршественный зал остался в полном распоряжении Троя и работников мужеского пола. Оук, чтобы не выказать неучтивости, задержался ненадолго, а потом поднялся и молча вышел, сопровождаемый шутливой бранью Троя, требовавшего, чтобы он остался на второй круг грога.

Перед дверью дома Габриэль почувствовал, как носок его башмака наткнулся на что-то мягкое и кожистое, раздутое, как боксерская перчатка. Это была большая жаба, робко пересекавшая тропинку. Оук подумал, что лучше бы сразу убить бедную тварь, чтобы не мучилась, однако при ближайшем рассмотрении она оказалась невредимой, и он опустил ее в траву.

Ему было известно, как нужно понимать это послание Великой Матери. Скоро последовал и другой знак. Войдя к себе и чиркнув спичкой, он увидел на столе тонкую блестящую полоску

— как будто по доскам легко провели кистью, обмакнутой в лак. Это был след огромного коричневого слизня, который по каким-то ему одному ведомым причинам решил пожаловать в дом. Так Природа во второй раз подсказала Габриэлю, что следует готовиться к ненастью.

Около часа Оук просидел, погруженный в раздумья. Пока он размышлял, два паука из тех, какие обыкновенно водятся в домах с соломенной кровлей, прогуливались по потолку и упали на пол. Заметив это, Габриэль сказал себе, что если и есть животные, чье поведение он истолковывает совершенно безошибочно, так это овцы. Выбежав из дома, он быстро пересек два или три поля, перемахнул через ограду загона и оглядел своих подопечных.

Они сбились в кучу возле кустов дрока. Если в другой день, едва завидев голову Оука по ту сторону изгороди, трусливые создания заволновались бы и бросились в рассыпную, то теперь им приходилось бояться чего-то гораздо более грозного, нежели человек. Однако самое удивительное было не это, а то, что все овцы без единого исключения стояли, повернувшись хвостами в ту сторону, откуда надвигалась гроза. Животные обступили заросли дрока несколькими расхо-

дящимися кольцами, причем внутреннее было совсем плотным, а каждое последующее более свободным. Издалека этот рисунок напоминал кружевной воротник с портрета работы Ван Дейка.

Увиденное вполне утвердило Габриэля в его первоначальном мнении. Он был прав, а Трой заблуждался. Все в природе предвещало перемену погоды. Очевидно, следовало ожидать грома и молний, а затем и продолжительного холодного ливня. Однако голоса предвестников звучали не в унисон: ползучие твари, по-видимому, предчувствовали дождь, но не знали о грозе, меж тем как овцы, напротив, ждали грозы, но не дождя.

Столь резкое наступление ненастной поры не было для этих мест привычным делом и оттого представляло собой еще большую опасность. Оук вернулся на двор, где царила полная тишина. Острые верхушки скирд, темнея, стремились в небо. Пшеничных было пять, ячменных — три. Из каждой скирды могло выйти около тридцати восьмибушелевых мешков пшеницы или по меньшей мере сорок мешков ячменя. Их стоимость для Батшебы (да и для кого-либо другого) Оук определил путем несложных умственных вычислений:

5 × 30 = 150 мешков = 500 фунтов
3 × 40 = 120 мешков = 250 фунтов
Итого: 750 фунтов

Семь с половиной сотен фунтов в той благороднейшей форме, какую только могут принимать деньги, — в форме хлеба насущного для людей и животных. «Можно ли допустить, чтобы женское легкомыслие погубило больше половины такого богатства? Нет, если я могу этому помешать!» — такое сказал себе сам Габриэль. Однако даже внутренно всякий человек есть пергамент, на котором можно написать одно поверх другого, и за рачительной заботой Оука об урожае скрывались, вероятно, следующие слова: «Я сделаю все, что в моих силах, ради женщины, столь горячо мною любимой».

Габриэль вернулся в амбар, надеясь найти кого-нибудь, кто поможет ему немедля накрыть скирды. Внутри было тихо, и он бы подумал, что пировавшие уже разошлись, если бы сквозь отверстие от сучка не сочился слабый шафранно-желтый свет, так непохожий на зеленоватую белизну, которую источала луна.

Оук вошел, и его взору представилась необычайная картина. Свечи, украшенные ветками

вечнозеленых растений, догорели до самого основания, кое-где опалив листву. Те из них, что еще не совсем погасли, чадили, испуская тяжелый запах. На доски капало растопленное сало. Под столом и между стульев, во всех мыслимых позах, исключая прямое сидение, располагались жалкие персоны работников, чьи головы в силу близости к полу нетрудно было принять за метлы и тряпки. Среди нагромождения тел выделялся сверкающий красный мундир сержанта Троя, откинувшегося на спинку стула. Когген, лежа навзничь с открытым ртом, храпел, как и многие другие. Совокупное дыхание распростершейся компании напоминало гул, возвещающий путешественнику о близости Лондона. Джозеф Пурграсс свернулся клубком на манер ежа, очевидно, из стремления уберечь как можно большую часть себя от соприкосновения с воздухом. За ним едва виднелась бренная оболочка Уильяма Смоллбери. На столе все еще стояли стаканы и кружки, кувшин с водой был опрокинут. Струйка, вытекавшая из него, с поразительною точностью пересекала поверхность ровно посередине. Монотонно падавшие капли, из каких в пещере вырастают сталагмиты, орошали шею беспамятного Марка Кларка.

Габриэль печально оглядел поверженных: здесь собрались все работники фермы, за исключением одного или двух. Значит, если скирды следовало спасти ночью или даже утром, то ему предстояло справиться с этой задачей в одиночку.

Из-под жилета Коггена послышалось приглушенное «тинг-тинг»: часы пробили два. Отыскав тело Мэтью Муна, в чьи обязанности входило укрывание скирд соломой, Габриэль встряхнул его. Ответа не последовало. Тогда Оук прокричал прямо в ухо спящему:

— Где у тебя молоток, шесты и колья?

— Под стоговищами, — ответил Мун, как медиум, не выходя из глубокого сна.

Габриэль выпустил из рук его голову, и она глухо ударилась о доски.

— Где ключ от житницы? — спросил Оук, склонившись над Лейбеном Толлом.

Тот не ответил — ни в первый раз, ни во второй. Очевидно, муж Сьюзен Толл, в отличие от Мэтью Муна, привык, чтобы ночью на него кричали. Бросив Лейбена валяться в углу, Габриэль с досадой отвернулся.

Говоря по справедливости, работники не были главными виновниками столь бесславного за-

вершения праздника. Сержант Трой, размахивая полным бокалом, так настойчиво призывал их скрепить дружбу грогом, что даже те, кто желал бы отказаться, побоялись проявить неучтивость. С юности они не пили ничего крепче сидра и мягкого эля, а потому стоило ли удивляться, если через час питья все, как один, повалились с ног?

Габриэль был подавлен. Эта попойка грозила обернуться несчастьем для своенравной красавицы, которой он до сих пор был предан и которая казалась ему воплощением всего самого милого, светлого и недосягаемого, что есть на земле.

Погасив, пока не начался пожар, догорающие свечи, Оук закрыл двери амбара, где непробудно спали его товарищи, и один вышел в ночь. С юга его обдувал знойный бриз, похожий на дыхание дракона, норовящего поглотить земной шар, а прямо навстречу этому ветру плыла угрюмая бесформенная туча. Она возникла с такою противоестественною внезапностью, что можно было подумать, будто ее подняли с земли при помощи какого-то механизма. Маленькие легкие облачка пятились в юго-восточный угол неба, словно страшась этой громады, как щенки страшатся глядящей на них огромной псины.

Приблизясь к жилищу Лейбена Толла, Габри-

эль кинул в окно спальни камешек, ожидая, что Сьюзен выглянет, однако из дома не донеслось ни звука. Тогда Оук вошел через заднюю дверь, которую хозяйка оставила открытой для мужа, и, остановившись перед лестницей, громко произнес:

— Миссис Толл, мне нужен ключ от житницы, чтобы взять покровы для скирд.

— Это ты? — спросила миссис Сьюзен Толл полусонно.

— Да, — ответил Габриэль.

— Так ложись в постель поживее, паршивец! Совести у тебя нету — будить жену среди ночи!

— Это не Лейбен, это Габриэль Оук. Я пришел за ключом от житницы.

— Габриэль? Какого лешего ты прикидываешься моим мужем?

— Я не прикидывался. Я думал…

— Еще как прикидывался! Чего надо?

— Ключ от житницы.

— Так возьми! Он на гвозде висит. Тех, кто под окнами шатается и тревожит женщин в такой час, надобно…

Габриэль взял ключ и удалился, не дожидаясь окончания тирады. Десятью минутами позже вошедший на зерновой двор фермы увидал

бы его одинокую фигуру, волокущую за собой четыре непромокаемых полотнища. Ими он надежно укутал две груды пшеничного богатства, сохранив таким образом две сотни фунтов. Но оставалось еще три скирды пшеницы, а покровов больше не было. Отыскав под стоговищем вилы, Оук взобрался на третью гору и стал наклонно укладывать снопы один на другой, заполняя промежутки неувязанными пучками колосьев. При не слишком ветреной погоде это наспех придуманное ухищрение могло сохранить добро Батшебы на неделю или даже две.

Покончив с пшеницей, Оук занялся ячменем, который можно было спасти, только как следует укрыв соломой. Время шло: луна, подобно послу, отозванному перед войною, скрылась и больше не появлялась. Все вокруг казалось изможденным, болезненным. Наконец небо медленно выдохнуло полной грудью, словно прощаясь с жизнью. На дворе было тихо. Безмолвие нарушалось только глухим стуком молотка, вгонявшего в землю шесты, да шуршанием соломы между ударами.

Глава XXXVII
Гроза. Двое

Двор озарила вспышка, подобная сверканию крыл огромной птицы, пронесшейся по небу. Затем воздух наполнился раскатами грома. Гроза сделала первый шаг, за которым последовал второй — не менее шумный, однако предваряемый лишь слабым проблеском молнии. Габриэль увидел, как в спальне Батшебы зажегся свет, за шторой показалась подвижная тень.

Гром ударил в третий раз. На небесных просторах производились исключительно большие маневры. Молния приобрела цвет серебра, и ее вспышки напоминали сверкание воинских доспехов. Грохот сделался чаще и отрывистее. Со своей возвышенной позиции Габриэль мог обозревать по меньшей мере полдюжины миль впереди себя. Изгороди, кусты, деревья — все было очерчено четко, как на гравюре. По загону в крайнем смятении носились телки: их хвосты и копыта задних ног ежесекундно вскидывались, а головы, напротив, едва не упирались в землю. Ствол ближайшего тополя казался чернильным

штрихом на блестящем олове. Внезапно вся эта картина утонула в такой густой тьме, что Габриэлю пришлось работать ощупью.

Чтобы стога не распадались, он вонзил в скирду длинный металлический стержень, до блеска отполированный руками (в Уэзербери это орудие именовалось кинжалом). Голубой огонь, загоревшийся под самым куполом неба, метнулся вниз и по счастливой случайности погас совсем близко от верхнего конца стержня. То была четвертая сильная вспышка. Через мгновение раздался щелчок — громкий и резкий. Ощутив, насколько опасно его положение, Оук решил спуститься.

До сих пор на землю не упало ни единой капли. Габриэль устало отер лоб и оглядел чернеющие громады незащищенных скирд. Стоило ли ему дорожить своей жизнью? Разве в будущем его ждало что-нибудь такое, ради чего следовало бы отказаться от выполнения важного и неотложного дела? Оук продолжил работу, приняв, однако, меры предосторожности: под стоговищем хранилась длинная цепь, которою привязывали норовистых лошадей. Он внес ее наверх по лестнице и одним концом прикрепил к металлическому стержню, а второй сбросил вниз и вбил в землю. Сей импровизированный громоотвод поз-

волил ему почувствовать себя в относительной безопасности.

Не успел Оук снова взяться за инструменты, как на небе мелькнула пятая вспышка, быстрая, словно бросок змеи. Последовал адский грохот. Что открыл Габриэлю этот всполох изумрудного света? Поглядев вниз через край скирды, Оук увидел темную фигуру, по всей вероятности женскую. Уж не она ли это была — Батшеба, единственная отважная женщина в целом приходе? Фигура приблизилась, но в этот момент все опять поглотила тьма.

— Это вы, мэм? — спросил Оук.

— Кто здесь? — произнес голос Батшебы.

— Габриэль. Я на скирде, укрываю ее соломой.

— О, Габриэль! В самом деле? А я как раз потому и пришла. Меня разбудил гром, и я забеспокоилась о зерне. Какое огорчение! Можно ли еще как-нибудь спасти урожай? И где мой муж? Не могу его найти… Он здесь, с вами?

— Нет.

— А где же он? Вы не знаете?

— В амбаре. Спит.

— Он обещал мне позаботиться о скирдах, но теперь я вижу, что они не укрыты! Могу я чем-то помочь? Лидди забоялась выходить… Вот уж не

думала встретить вас здесь в этот час! Так я чем-нибудь вам помогу?

— Если не страшитесь в темноте подниматься по лестнице, мэм, то вы могли бы подавать мне одну за другой вязанки соломы, — сказал Габриэль. — Так мы сбережем время, ведь для нас теперь каждая секунда на вес золота. Да и не очень уж тут темно.

— Я сделаю все, что необходимо! — решительно промолвила фермерша и, быстро взвалив к себе на плечо одну вязанку, вскарабкалась с ней наверх, положила ее у ног Габриэля и спустилась за следующей.

Когда Батшеба взобралась по лестнице в третий раз, все озарилось дерзким светом, как щедро глазурованная майолика. Сделался виден каждый узелок на каждой соломинке. На склоне холма показались две гагатово-черные человеческие фигуры. Затем скирда погасла, фигуры исчезли. Габриэль поглядел назад, на восток, породивший эту вспышку, шестую по счету. Темные очертания на холме были не чем иным, как тенями — Батшебы и самого Оука. Грянул гром. С трудом верилось, что эти адские звуки вызваны к жизни тем небесным светом, который еще секунду назад озарял все вокруг.

— Как страшно! — вскричала Батшеба, ухватив Габриэля за рукав.

Оук обернулся и поддержал ее, чтобы она не упала. В ту же секунду, при новом всполохе, он увидел на стене амбара точную копию черного тополя, росшего на склоне. Это была тень, словно убегавшая от другой молнии, посланной с запада.

Следующая вспышка застала Батшебу внизу. На сей раз даже не вздрогнув, хозяйка фермы взяла новую вязанку и опять полезла с нею на скирду. Когда гром отгремел, на четыре или пять минут небо затихло. Вновь стало слышно, как трещат колья, которые Габриэль поспешно вгонял в землю. Едва он подумал, что теперь гроза пойдет на убыль, последовал новый взрыв света.

— Осторожней! — крикнул Оук и, принимая у своей госпожи груз, опять схватил ее за руку.

Поистине, небеса разверзлись. Эта вспышка была так ослепительна, что Габриэль и Батшеба не сразу осознали ее невыразимую опасность, пораженные величественной красотой увиденного. Молнии сверкали на востоке и западе, севере и юге. То была подлинная пляска смерти: цепочки голубых огней образовывали беснующиеся скелеты, которые носились по небу, создавая ни с чем

не сравнимый хаос. С ними сплетались клубящиеся зеленые змеи, а позади широко разлился менее яркий свет. Со всех концов грохочущего неба одновременно донеслось нечто скорее похожее на вопль, нежели на любой другой земной звук, хотя никакое живое существо не способно так кричать. В это же время одна из ужасных светящихся фигур коснулась металлического штыря, вонзенного в скирду, и невидимая искра сбежала по цепи в землю. Габриэль, почти ослепленный, ощутил, как теплая рука Батшебы задрожала в его руке. Это чувство будоражило своей новизною, однако и любовь, и жизнь человеческая казались пустяком перед лицом разъяренной вселенной.

Не успел Оук придать своему ощущению форму мысли, красное перо на шляпе Батшебы странно сверкнуло, и в следующую секунду высокое дерево на холме вспыхнуло белым пламенем. Новый ужасающий небесный голос зазвучал одновременно с последним аккордом прежнего хора. Лишенный вибрирующего эха, которое придает более отдаленным раскатам грома сходство с барабанной дробью, этот беспощадный треск оглушил Батшебу и Габриэля подобно сильному удару в ухо. При свете, источаемом небесным куполом и отражаемом всею землею, Оук увидел,

что с высокого стройного тополя срезана длинная лента коры. На уцелевшей части ствола сверху донизу белела полоса оголенной древесины. Запахло серой. Все стихло. Сделалось темно, как в адской пещере.

— Еще чуть-чуть, и нам бы не поздоровилось! — торопливо проговорил Габриэль. — Лучше спуститься.

Батшеба не ответила, но Оук отчетливо услышал ее учащенное дыхание и шорох соломы, отозвавшейся на испуганный трепет тела. Хозяйка спустилась со скирды. Работник, подумав, последовал за нею. Воцарившаяся тьма была непроницаема даже для самого острого зрения. Батшеба и Габриэль неподвижно стояли бок о бок. Она, казалось, думала только о погоде. Он — только о ней.

— Похоже, гроза прошла, — промолвил Оук наконец.

— Хотя небо по-прежнему так и сверкает. Поглядите!

Ежесекундные всполохи зарниц слились в непрерывный свет, подобно тому, как последовательные удары гонга наполняют воздух слитным гулом.

— Это уже не страшно, — сказал Габриэль. —

Только не пойму, почему не начинается дождь. Как бы то ни было, нам же лучше. Хвала небесам! Полезу-ка я, пожалуй, обратно.

— Габриэль, вы проявляете ко мне такую доброту, какой я не заслуживаю. Я останусь и вам помогу. Ах, отчего же не идут остальные?

— Пришли бы, если бы могли, — ответил Оук, поколебавшись.

— Да, я знаю. Знаю, — проговорила Батшеба и, помолчав, прибавила: — Они спят в амбаре пьяным сном, и мой муж с ними. Ведь так и есть, верно? Не думайте, будто я настолько труслива, что не смогу этого перенести.

— Точно не скажу, — ответил Габриэль. — Пойду посмотрю.

Оставив Батшебу возле скирды, Оук подошел к амбару и заглянул в щелку. В темноте он ничего не смог различить, однако услышал громкий многоголосый храп. Вдруг по его щеке скользнуло нечто наподобие зефира. Он обернулся: Батшеба стояла у него за спиной и смотрела в ту же щель. Желая отогнать болезненную мысль, посетившую их обоих, Габриэль мягко произнес:

— Идемте отсюда, мисс… То есть, мэм. Ежели подадите мне еще несколько вязанок, это сбережет для нас время.

Он снова взобрался на скирду. Батшеба последовала за ним, однако соломы не взяла.

— Габриэль… — промолвила она странно проникновенным голосом.

Оук обернулся. После того как они отошли от амбара, она заговорила впервые. Свечение умирающей грозы в противоположной части небосвода придало ее лицу мраморную белизну, и оно отчетливо выделилось на черном фоне. Батшеба сидела почти на самой верхушке скирды, поджав ноги и опершись о лестницу.

— Да, хозяйка?

— Вы, верно, подумали, что той ночью я ускакала в Бат, чтобы выйти замуж?

— Поначалу нет. Потом да, — ответил Габриэль, несколько удивленный тем, что Батшеба столь внезапно заговорила о таком предмете.

— И другие того же мнения?

— Да.

— И вы меня осуждаете?

— Немного.

— Так я и знала. Поскольку мне не совсем безразлично, как я выгляжу в ваших глазах, я хочу вам кое-что объяснить. Хочу с тех самых пор, как я возвратилась, и вы стали так угрюмо на меня глядеть. Будет ужасно, если я умру (а я могу уме-

реть скоро), и ваше суждение обо мне навсегда останется неверным. Потому слушайте. — Габриэль прервал работу. Батшеба продолжала: — Той ночью я отправилась в Бат в твердом намерении прекратить знакомство с мистером Троем. Только в силу обстоятельств, возникших в то время, пока я там была, мы… мы поженились. Теперь дело представляется вам в ином свете?

— Да. Отчасти.

— Пожалуй, мне следует сказать еще кое-что, раз уж я начала. Вреда от этого, вероятно, не сделается, ведь вы, конечно же, не думаете, будто я когда-либо вас любила, и не решите, что я имею в виду какой-то иной предмет, кроме того, о котором упомянула. Так вот. Я оказалась одна в чужом городе, лошадь моя охромела. И я не знала, как мне быть. Приехав к нему тайно, одна, я дала повод для пересудов, но поняла это слишком поздно. Как бы то ни было, я хотела уже покинуть сержанта, когда он вдруг сказал, что недавно увидал женщину, превосходящую меня красотой, и что если мне дорого его постоянство, я должна немедленно… Я так огорчилась, так растревожилась… — Батшеба откашлялась и немного помолчала, будто ждала, когда успокоится дыхание. — Ревность и растерянность побудили

меня выйти за него замуж! — прошептала она разгоряченным шепотом, в котором слышалось отчаяние. Габриэль не ответил. — Его винить не в чем. Это истинная правда, что он увидал другую, — прибавила Батшеба поспешно. — А теперь я не хочу слышать от вас ни единого замечания об этом деле. Более того, я даже запрещаю вам его касаться. Просто я хотела, чтобы вы узнали ту часть моей истории, которую неверно истолковывали, пока не настало время, когда устранить это недоразумение будет уже невозможно. Нужна ли вам еще солома?

Батшеба сошла вниз, и работа продолжилась. Через некоторое время Габриэль уловил усталость в движениях своей госпожи, взбиравшейся на скирду и спускавшейся с нее.

— Думаю, вам лучше воротиться домой, — проговорил он с материнскою нежностью. — Я могу закончить один. Успею до дождя, ежели ветер не переменится.

— Раз я бесполезна, то и вправду пойду, — отозвалась Батшеба ослабевшим голосом. — Только не дай Бог, если с вами что-нибудь случится!

— Вы полезны, но я не хочу долее вас утруждать. Вы и так хорошо потрудились.

— А вы еще лучше! — благодарно промолвила

Батшеба. — Тысячу раз спасибо вам за вашу преданность, Габриэль! Доброй ночи! Я спокойна: вы сделаете все, что сможете.

Ее фигурка постепенно уменьшилась и наконец совсем растаяла во мгле. Вскоре лязгнул засов на воротах: она вошла в сад. Теперь Оук работал рассеянно, не переставая думать о странном замужестве своей госпожи и о том, сколько противоречий таит в себе ее женское сердце: этой ночью она говорила с ним, своим работником, так тепло, как не говорила еще никогда, хотя прежнее положение отнюдь ей этого не воспрещало.

Звук, донесшийся с крыши каретного сарая, вывел Габриэля из задумчивости. Это был скрежет флюгера. Перемена ветра предвещала скорое начало губительного дождя.

Глава XXXVIII
Дождь. Одинокий встречает одинокого

Было пять часов утра. Забрезжил тусклый пепельно-серый рассвет. Остывший воздух пришел в движение, и вокруг Оука закрутились прохладные водовороты. Ветер, еще немного изменив направление, усилился. Менее чем через четверть часа все небо было охвачено воздушным брожением. Солома, покрывавшая пшеницу, местами растрепалась: пришлось переложить ее и пригрузить рейками, лежавшими рядом. Сделав это, Оук поплелся обратно к ячменной скирде. На лицо ему упала огромная капля. Со всех сторон раздавался рык ветра, стволы деревьев клонились до земли, ветви, сопротивляясь натиску, стучали друг о друга. Один за одним вгоняя в скирду шесты (уже без определенной системы — лишь бы почаще), Габриэль все надежнее и надежнее укрывал сотни фунтов стерлингов, воплощенные в хлебе. Дождь разошелся, и Оук уже чувствовал на своей липкой от пота спине холодные ручейки. Вскоре он весь превратился

в мокрую губку. Краски, придававшие цвет его одежде, стекали вместе с водою в лужицу у основания лестницы. Жидкие стрелы, сыпавшиеся из облаков, косо пересекали глухое небо и разили Габриэля, не встречая на всем своем пути никаких препятствий.

Оуку вдруг вспомнилось, что восемью месяцами ранее он боролся с огнем на том же самом месте, которое теперь отчаянно пытался защитить от воды. И все это из безответной любви к одной женщине. А она… Будучи предан ей и великодушен, Габриэль отогнал от себя эту мысль.

Около семи часов темного свинцового утра Оук спустился с последней из скирд и благодарно воскликнул: «Готово!» Он был мокр, устал и печален, хотя мокрота и усталость по силе своей превосходили печаль: ее умеряло приятное сознание того, что важное дело доведено до успешного конца.

Услыхав слабые звуки, доносившиеся из амбара, Габриэль обернулся: из дверей поодиночке и попарно появлялись фигуры вчерашних гуляк. Все они шли неловкой пристыженной поступью, за исключением того, кто возглавлял их колонну. Он, обладатель красного кителя, невозмутимо насвистывал, держа руки в карманах. Вся процессия напоминала гравюру Флаксмана «Меркурий

вводит женихов в преисподнюю»[50]. Работники, виновато горбясь, проследовали в деревню. Их предводитель вошел в господский дом. Ни одно лицо не обратилось в сторону скирд, состояние коих, по видимости, никого не заботило.

Оук вскоре тоже направился к себе, избрав не ту дорогу, по которой плелись остальные. На блестящей, словно глазурь, деревенской тропе Габриэль увидал человека под зонтом, шедшего еще медленнее, чем он сам. Услыхав позади себя шаги, путник вздрогнул и обернулся. Это был Болдвуд.

— Как поживаете, сэр? — произнес Оук.

— Да, дождливый выдался день… Что? У меня все хорошо, спасибо. Очень хорошо.

— Рад это слышать, сэр.

Казалось, Болдвуд постепенно пробуждался ото сна.

— Вид у вас усталый и больной, — сказал он, рассеянно оглядывая Габриэля.

— Я и впрямь утомился. А вы, сэр, странно переменились в последнее время.

— Я? Нисколько! Чувствую себя превосходно. И с чего вы взяли?

---

[50] Примечания: 50

Упомянутая работа Джона Флаксмана (1755–1826) представляет собой иллюстрацию к 24-й песне «Одиссеи» Гомера.

— Мне показалось, что вы стали держаться не так горделиво, как прежде, — только и всего.

— Вы, право, ошиблись, — отрезал Болдвуд. — Я ни на что не жалуюсь, здоровье у меня железное.

— А я вот всю ночь скирды укрывал, едва управился до дождя. Никогда еще мне не приходилось работать в такой спешке. Ваши-то, наверное, давно укрыты?

— Да, — механически ответил фермер и, помолчав, переспросил: — Что вы сказали, Габриэль?

— Я говорю, скирды ваши, наверное, давно укрыты?

— Нет.

— Хотя бы те, большие, на каменных стоговищах?

— Нет.

— А те, что у изгороди?

— Нет. Я не сказал кровельщику, чтобы соорудил над ними навес.

— Но маленький-то стог вы укрыли? Тот, который у перелаза?

— И маленького не укрыл. Нынче я совсем позабыл о зерне.

— Если так, то девять десятых вашего урожая пропало, сэр.

— Вероятно.

«Позабыл о зерне...» — медленно повторил Оук про себя. Трудно описать, как глубоко поразили его эти слова. Ночью он думал, будто исправляет неслыханное упущение — единственный во всей округе пример вопиющего земледельческого небрежения. Каково же ему было узнать, что в том же самом приходе брошен безо всякого присмотра еще более обильный урожай! И фермер говорит об этом так спокойно!.. Болдвуд позабыл о зерне! Всего лишь несколькими месяцами ранее это казалось не меньшей нелепостью, чем если бы моряк забыл, что плывет по морю. Как ни тяжко Оук переживал замужество Батшебы, был, по видимости, человек, страдавший еще сильнее. Едва Габриэль об этом подумал, Болдвуд заговорил переменившимся голосом — голосом того, кто жаждет облегчить сердце признанием:

— Оук, вы сами не хуже моего видите, что все у меня пошло прахом. Нет смысла отрицать. Хотел я, как это называют, устроить свою жизнь, но ничего путного не получилось.

— Я думал, моя хозяйка выйдет за вас, — сказал Габриэль. Если бы ему было известно, сколь глубоки чувства Болдвуда к Батшебе, он не коснулся бы их, как не коснулся своих собственных. — Однако порой ничто не складывается по нашему

желанию, — прибавил Оук спокойно — как человек, раненный, но не подавленный неудачей.

— Должно быть, теперь я сделался предметом шуток для всего прихода, — произнес фермер.

Очевидно, это так тревожило его, что молчать он не мог, однако попытался скрыть боль, придав голосу фальшивое безразличие.

— О нет, навряд ли.

— По правде говоря, она ведь меня не обманывала, хотя многие думают, что обманула. Люди говорят неправду: мы с мисс Эвердин не были помолвлены. Она никогда ничего мне не обещала! — Болдвуд теперь стоял неподвижно и взирал на Оука расширенными, как у безумца, глазами. — О Габриэль! Я глуп и слаб! Не знаю, что такое со мной стало! Я не в силах преодолеть горе! Прежде, пока я не потерял эту женщину, во мне теплилась слабая вера в милосердие Божие. Произрастил Он надо мною древо, дабы над головой моей была тень, и я, как пророк, радовался и благодарил Его. Но на другой день устроил Бог так, что червь подточил растение, и оно засохло. Теперь лучше мне умереть, нежели жить[51].

Последовало молчание. Порыв откровенности,

---

[51] Примечания: 51
Книга пророка Ионы, 4:6–8.

овладевший Болдвудом, миновал, и он, взяв себя в руки, зашагал дальше.

— Нет, Габриэль, — произнес несчастный с деланой непринужденностью, похожей на улыбку мертвой головы. — Молва, право же, все преувеличила. Временами, конечно, на меня находит некоторое огорчение, и все же ни одной женщине до сих пор не удалось надолго забрать надо мною власть. Доброго вам дня. Разумеется, я полагаюсь на вас в том, что все, о чем мы сейчас говорили, останется между нами.

Глава XXXIX
Возвращение домой. Крик

Между Уэзербери и Кестербриджем, примерно в трех милях от последнего, стоит Йелберийский холм — одна из тех возвышенностей, которым дороги в этой части Южного Уэссекса обязаны своей волнообразной формой. Возвращаясь с ярмарки, фермеры и мелкие помещики обыкновенно сходят с двуколок у подножья и идут в гору пешком.

Однажды в октябре, субботним вечером, коляска Батшебы терпеливо ползла вверх по склону указанного холма, а сама она безучастно сидела на одном из двух мест, меж тем как хорошо сложенный молодой человек, обращавший на себя внимание прямизною осанки и непривычной франтоватостью фермерского выходного костюма, шагал рядом. Хотя он шел пешком, в руках его были поводья и хлыстик, которым он от скуки то и дело слегка ударял по лошадиному уху. Всякий мог узнать бывшего сержанта Троя — мужа Батшебы. Откупившись ее деньгами от армейской службы, он теперь постепенно превращался в фермера новейшего образца. Люди невосприим-

чивые к переменам при встрече по-прежнему именовали его сержантом — отчасти потому, что он сохранил щеголеватые гвардейские усы и неизменную военную выправку.

— Да, любовь моя, — промолвил Трой. — Две сотни, как пить дать, были бы у меня в кармане, если бы не проклятый дождь. Он-то все и испортил. Помнится, в одной книге, которую я прочел, говорилось: «Ненастье для наших краев — главный сюжет, а погожие дни — лишь эпизоды». Разве не верно?

— Но сейчас такое время года, когда погода переменчива.

— Конечно. Это ясно. И все же нынешние осенние бега — несчастье для всех. Денек выдался такой, какого я отродясь не видывал! Только представь себе: пустынное открытое место близ Бадмута, серое море катит волны прямо на нас, словно неминучая беда приняла форму воды. Ветер, дождь, мгла! Боже правый! Да прежде, чем кончился последний забег, сделалось так темно, что хоть глаз выколи! В пять часов самих лошадей едва можно было разглядеть, не говоря уж об их масти. Земля отяжелела, как свинец. К чему тут опыт? К чему суждение? Коней, наездников, публику — всех обдувало, будто корабли на

море. Три шатра совсем опрокинуло, и бедняги, что были внутри, повыползли оттуда на четвереньках, а по соседнему полю ветер носил целую дюжину шляп. После первых шестидесяти ярдов Первоцвет шел отлично, но вдруг я увидел, как Политика его нагоняет! Поверишь ли, любовь моя? Сердце у меня так и забилось о ребра!

— Ты хочешь сказать, Фрэнк, — грустно произнесла Батшеба, и тотчас сделалось заметно, как ослаб и потускнел ее голос с тех пор, как миновало лето, — что в этом месяце ты потерял на своих ужасных скачках более ста фунтов? О, Фрэнк, глупо с твоей стороны так расточать мои деньги! В конце концов нам придется оставить ферму!

— Чушь! Опять ты за свое? Снова плачешь?

— Обещай мне больше не ездить в Бадмут! — умоляюще проговорила Батшеба.

Ей и в самом деле хотелось расплакаться, однако она сумела сдержать слезы.

— А отчего бы мне туда не поехать? Если погода выдастся хорошая, так я бы и тебя с собою взял.

— Ни за что! Ни за что! Я за сто миль в другую сторону уеду! Само слово «скачки» мне противно!

— Поедем мы или нет — дела не меняет. Уж поверь, ставки принимаются заблаговременно,

и в следующий понедельник мне либо повезет, либо не повезет, независимо от того, будем ли мы смотреть бега.

— Ты ведь не имеешь в виду, что снова поставил?! — воскликнула Батшеба с болью в голосе.

— Ах, зачем же ты спешишь, глупышка? В свое время я бы сам все тебе рассказал… И куда только подевался твой прежний задор? Догадайся я, что ты в глубине души такая трусиха, я бы никогда… Уж я знаю, чего бы я сделал.

Услыхав такой ответ, Батшеба решительно устремила взгляд вперед, и в ее темных глазах мелькнул огонек негодования. Супруги продолжили путь в тишине, нарушаемой лишь шорохом первых увядших листьев, которые падали с деревьев, чьи кроны образовывали свод над дорогою.

На гребне холма показалась женская фигура. Подъем был так крут, что муж и жена не видели ее, пока не подъехали совсем близко. Трой занес ногу над приступкой, чтобы сесть в двуколку, и в это мгновение женщина подошла к нему сзади. Даже в тени деревьев, сгустившейся в преддверии вечера, Батшеба сумела разглядеть, как бедно одеяние и как печально лицо путницы.

— Не скажете ли, сэр, в котором часу запираются двери кестербриджского работного

дома? — спросила женщина у Троя, стоявшего к ней спиною.

При звуке этого голоса он заметно вздрогнул, однако, по видимости, овладел собою настолько, чтобы подавить инстинктивное желание обернуться.

— Не знаю.

Женщина быстро подняла глаза и, заглянув сбоку ему в лицо, тотчас узнала под маской йомена солдата. Радость, смешанная со страданием, изменила ее черты. Истерически вскричав, она упала.

— Бедняжка! — воскликнула Батшеба, намереваясь сойти.

— Сиди, где сидишь, и пригляди за лошадью, — властно сказал Трой, бросая жене поводья и хлыстик. — Поднимись на вершину холма и жди меня там, а я позабочусь об этой женщине.

— Но я…

— Ты меня слышала? Крошка, пошла!

Лошадь, двуколка и Батшеба двинулись с места.

— Как только тебя угораздило здесь оказаться?! Я думал, ты далеко, а то и вовсе умерла! Отчего ты мне не написала? — произнес Трой странно ласковым, хотя и торопливым голосом, поднимая

упавшую.

— Я побоялась.

— Есть у тебя хотя бы какие-то деньги?

— Нет, нисколько.

— Господи! Я бы охотно дал тебе больше, но вот беда! Этот пустяк — все, что у меня есть. Я располагаю лишь тем, что дает мне жена, и сейчас, знаешь ли, не могу попросить у нее крупной суммы.

Женщина не ответила.

— Впрочем, времени у меня тоже нет. Так что слушай, — продолжал Трой. — Куда ты собиралась идти? В кестербриджский работный дом?

— Да.

— Ты туда не пойдешь. Хотя… Постой-ка… Разве что на одну ночь. Вот ведь невезенье! Сейчас мне совсем нечем выручить тебя. Переночуй там и пережди завтрашний день. А в понедельник я наконец-то буду свободен. Жди меня ровно в десять на сером мосту прямо на выезде из города. Я принесу все деньги, какие смогу достать. Нуждаться, Фэнни, ты не будешь — уж я об этом позабочусь. Скоро сниму тебе какое-нибудь жилье. А пока прощай. Я чудовище, и все же прощай!

Поднявшись на вершину холма, Батшеба оглянулась: женщина уже поднялась на ноги, отошла

прочь от Троя и, нетвердой поступью зашагав вниз по склону холма, поравнялась с камнем, обозначавшим третью милю от Кестербриджа. Трой возвратился к жене, сел в двуколку и, взяв поводья, погнал лошадь рысью. Казалось, он был чем-то взволнован. Внимательно изучая его лицо, Батшеба спросила:

— Ты знаешь, кто эта женщина?

— Знаю, — отрезал он, отвечая ей нахальным взглядом в упор.

— Я заметила, — обиженно и надменно произнесла Батшеба, не отводя глаз.

По-видимому, Трой вдруг решил, что его откровенность не будет на пользу ни одной из женщин.

— Ни тебе, ни мне не может быть до нее дела. Прежде я видел лицо этой девицы — только и всего.

— Как ее зовут?

— Откуда мне знать?

— Я почему-то думаю, что ты все-таки знаешь.

— Думай, что хочешь, и будь…

Хлыст резко щелкнул по ребрам Крошки, заглушив окончание фразы. Животное из всех сих помчалось вперед. Муж и жена более ничего не сказали друг другу.

Глава XL
На Кестербриджской дороге

Путь оказался долгим. Шагая все с большим трудом, женщина напряженно глядела на голую дорогу, теперь едва различимую в вечерней мгле. Наконец, совсем ослабев, путница вошла в ворота, за которыми стоял стог сена. Опустившись на землю подле него, она уснула, а проснувшись, увидела, что над нею сгустилась безлунная и беззвездная ночь. Плотный слой тяжелых облаков закрыл собой небо, не оставив ни клочка. Под черным сводом виднелся далекий свет кестербриджских огней, казавшийся ярче в окружении беспросветной тьмы. Обратив взгляд к этому слабому мягкому свечению, женщина произнесла: «Ах, только бы мне туда добраться! Послезавтра он станет ждать меня там. Боже, помоги мне! Быть может, тогда я буду уже в могиле!»

Из темноты донесся приглушенный звук: в господском доме пробило час. (После полуночи бой часов обыкновенно делается короче и слабее, полнозвучность дневных ударов сменяется чахлым фальцетом.) Затем вдалеке возник огонек.

Вернее, два огонька, и они росли. По дороге, миновав ворота, проехала коляска. Те, кто сидел в ней, вероятно, возвращались домой после позднего ужина. Свет одного из фонарей на мгновение озарил скорченную фигуру женщины. В этот миг можно было увидеть, что лицо ее молодо в общем, но старо в деталях: овал по-детски округл и мягок, однако отдельные черточки уже начали заостряться.

Путница встала и, по-видимому вновь исполнившись решимости, осмотрелась по сторонам. Тщательно изучив взглядом живую изгородь, она медленно зашагала по дороге, которая, казалось, была ей знакома. Через некоторое время стали видны смутные очертания белого предмета — придорожного камня. Ощупью разобрав надпись на нем, женщина вздохнула: «Еще две мили!»

Прислонясь к камню, она немного передохнула, а затем вновь заставила себя подняться и продолжить путь, но, мужественно преодолев небольшое расстояние, опять сникла. На сей раз поблизости оказалась рощица. Холмики белых стружек, набросанных поверх опавших листьев, указывали на то, что днем лесники собирали хворост и плели изгороди. Теперь же все здесь стихло: ни шороха, ни дуновения. Даже ветви

своим шелестом не скрашивали одиночества путницы. Заглянув в ворота, она открыла их и вошла.

Изнутри к ограде прислонены были хворостины, отдельные и связанные в пучки, а также колья всевозможных размеров. Несколько секунд женщина простояла в напряженном оцепенении, какое обыкновенно свидетельствует не о конце пути, но лишь о временной остановке. Очевидно, она прислушивалась — то ли к звукам внешнего мира, то ли к течению собственной мысли. Пристальный наблюдатель склонился бы к последнему. Более того, вскоре стало ясно, что путница упражняется в решении задачи, подобной той, которую избрал для себя Жаке-Дро[52] — изобретатель механических замен человеческим членам. При свете далеких кестербриджских огней, подобных северному сиянию, женщина на ощупь выбрала из множества палок две: они имели форму буквы «Y», достигая трех или четырех футов длиною нераздвоенной части.

Сев на землю, путница обломала верхние ветки, после чего вышла на дорогу с тем, что осталось.

---

[52] Примечания: 52

Пьер Жаке-Дро (1721–1790) — швейцарский часовой мастер, создатель уникальных движущихся кукол-автоматонов.

Подставив рогатины себе под руки, как костыли, она боязливо оперлась на них всем своим весом, который был отнюдь не велик, и сделала первое движение вперед.

Нехитрое приспособление облегчило женщине путь. Она пошла дальше, сопровождаемая лишь шумом собственных шагов да стуком палок. Еще один придорожный камень остался довольно далеко позади, и теперь женщина с тоскою глядела вперед, словно вычисляя, скоро ли появится следующий. Костыли, хотя и оказались весьма полезными, не сотворили чуда, ибо, совершая за нас часть тяжелой работы, механическое приспособление не может вовсе освободить нас от усилий. Усталость, успевшая овладеть женщиной, не исчезла, а лишь перешла с ног на руки и плечи. Несчастная путница была истощена, и каждый новый рывок вперед давался ей все тяжелее. Наконец она качнулась вбок и упала.

Неясные очертания ее тела неподвижно темнели около четверти часа. Когда низины наполнились монотонным гулом утреннего ветра, всколыхнувшего мертвые листья, женщина отчаянным усилием заставила себя сперва подняться на колени, а затем встать. Удерживая равновесие при помощи одной из своих палок, она сделала

шаг, потом другой и третий. Теперь она опасалась опираться на рогатины как на костыли и использовала их только как трости.

За Меллстокским холмом показался новый придорожный камень. Вскоре вдоль дороги потянулась железная ограда. Наткнувшись на первый столбик, женщина схватилась за него и поглядела вокруг. Огни Кестербриджа теперь не сливались воедино, а горели отдельными точками. Близилось утро, и, вероятно, уже можно было ждать появления первых повозок. Женщина прислушалась. Ухо не улавливало никакого шума жизни, если не считать самого унылого из всех возможных звуков — лая лисицы, повторившегося троекратно через минутные промежутки, как звон похоронного колокола.

«Меньше мили, — пробормотала путница, затем, помолчав, прибавила: — Нет, больше. Миля — это до ратуши, а работный дом на другом конце. Осталось пройти чуть больше мили, и я на месте!» Через некоторое время она снова заговорила: «На один ярд приходится шагов пять или шесть. Пожалуй, шесть. Нужно пройти семнадцать сотен ярдов. Шесть помножить на сто — шестьсот. Да еще помножить на семнадцать. О, смилуйся надо мною, Господи!»

Женщина поочередно бралась за перила то одной, то другой рукой, налегая на них всем телом и с трудом волоча ноги. Прежде она не имела привычки разговаривать сама с собою, но избыток тяжелого чувства размывает характер слабого человека в той же мере, в какой характер сильного проявляется сильнее. Итак, путница, не меняя выражения, произнесла: «Стану говорить себе, что до конца осталось пять столбиков. Может, так будет легче». Эта затея явилась выражением принципа, согласно которому ложная вера все же лучше ее отсутствия. Женщина миновала четыре столбика и, ухватившись за пятый, проговорила: «Пройду следующие пять, как будто они последние. Я смогу».

Несколько раз повторив этот самообман, она увидала вдали мост через реку Фрум и поползла к нему, вновь сказав себе: «Там конец моего пути». Ей было так тяжко, что каждый вздох вырывался из груди как последний. «А теперь правду, — произнесла она, садясь. — Мне осталось меньше полумили». Те полмили от последнего придорожного камня, которые были уже пройдены, оказались бы не под силу женщине, если бы она не дробила расстояние на короткие отрезки и не подбадривала себя заведомо ложной надеж-

дой. Каким-то непостижимым чутьем путница угадала парадоксальную истину: слепота порою действенней прозорливости, близорукий способен на большее, чем дальнозоркий, а силу, чтобы идти вперед, придает отнюдь не всеобъемлемость, но ограничение.

Оставшиеся полмили представлялись ослабевшей больной женщине безжалостным чудовищем, требующим от нее невозможных жертв. Кем-то вроде индусского божества — владыки мира. Этот участок дороги пролегал через Дарноверскую пустошь. Женщина окинула взглядом открытую местность, затем поглядела на огни, на себя самое и, вздохнув, легла у заградительной тумбы моста.

Немногим приходится использовать собственную изобретательность с таким болезненным напряжением, как это делала обессилевшая путница. Ее мозг перебрал и отверг за неприменимостью множество тактик, приемов, приспособлений и механизмов, которые могли бы помочь ей преодолеть оставшееся расстояние — злополучные восемьсот ярдов. Она подумала о палках и о колесах, о том, чтобы ползти, и даже о том, чтобы катиться. Однако передвижение последними двумя способами, пожалуй, требо-

вало еще больших усилий, нежели хождение. Находчивость истощилась, и пришло отчаяние. «Больше не могу», — прошептала женщина, закрывая глаза.

Нечто похожее на клочок тени, отделившийся от темной полоски на противоположной стороне моста, бесшумно заскользило по белесой дороге, приближаясь к упавшей женщине. Она пришла в сознание от прикосновения чего-то мягкого и теплого к ее руке, а когда открыла глаза, ощутила ту же субстанцию кожей лица: это собака лизнула ей щеку.

Огромное, тяжеловесное, но притом тихое существо заслоняло собою низкий горизонт, по меньшей мере на два фута возвышаясь над глазами женщины в теперешнем ее положении. Едва ли кто-нибудь смог бы определить породу собаки. Животное казалось слишком странным и таинственным, чтобы быть ньюфаундлендом, мастиффом или бладхаундом. Между тем оно превосходно олицетворяло собою универсальное собачье величье, в той или иной мере присущее всем представителям вида. В фигуре пса словно воплотилась ночь — не жестокая и коварная ее сторона, а добрая, печальная и торжественная. Даже измученная женщина не могла этого не

заметить, ибо темнота наделяет простых слабых людей поэтическим даром.

Полусидя, путница поглядела на собаку снизу вверх, как глядела на мужчину, когда стояла на ногах. Едва она пошевелилась, пес, тоже не имевший крыши над головой, уважительно попятился и, лишь увидев, что не вызывает у женщины отвращения, снова лизнул ей руку.

Путницу поразила новая мысль: «Быть может, с его помощью я все-таки доползу!» Она указала рукой в сторону Кестербриджа, и пес, неверно истолковав жест, затрусил вперед, но, поняв, что женщина не может за ним следовать, вернулся и заскулил. Тогда она осуществила последний и наиболее печальный из своих замыслов: учащенно дыша, поднялась на ноги, оперлась обеими маленькими руками о пса и пробормотала побудительные слова. Сердце ее болело, однако голос прозвучал воодушевляюще. Как ни удивительно, беспросветное уныние способно порождать бодрость, а сильному может потребоваться ободрение от слабого. Четвероногий друг путницы медленно двигался вперед, и женщина мелкими шажками шла рядом, опираясь половиной своего веса на его спину. Иногда она падала, как падала прежде — когда шагала сперва сама, затем на

костылях, затем держась за ограждение. В таких случаях пес, теперь прекрасно понимающий замысел женщины и видящий ее немощность, ужасно огорчался. Тянул знакомку за платье и отбегал вперед. Та подзывала его к себе. Теперь она прислушивалась к человеческим звукам только затем, чтобы их избегать. Очевидно, ей хотелось сохранить ото всех в тайне и свое плачевное положение, и самое присутствие на дороге.

Движение вперед было очень медленным. Наконец женщина и собака приблизились к городу: он лежал перед ними в свете фонарей, похожих на упавшие с неба Плеяды. Не желая идти центральными улицами, путница направила своего провожатого влево — в густую тень пустынной аллеи, обсаженной вязами — и, обогнув Кестербридж, достигла желанной цели.

На окраине города стояло живописное строение, призванное служить лишь чем-то наподобие коробки для хранения людей. Четырехстенная скорлупа, напрочь лишенная каких-либо прибавлений или украшений, была так тонка, а внутри было так тесно, что в самом облике здания ощущалась мрачность протекавшей в нем жизни, как под саваном угадываются очертания тела.

Природа, которую столь унылое зрелище

словно бы оскорбляло, отчасти улучшила его. Плющ, густо оплетя стены, сделал дом похожим на аббатство, а вид на кестербриджские трубы, открывавшийся из окон, был признан одним из красивейших в графстве. Лорд, владевший соседними землями, как-то раз сказал, что отдал бы свой годовой доход за то, чтобы видеть из собственного дворца то же, чем могли любоваться обитатели этого скромного строения. Они, в свою очередь, наверняка охотно согласились бы на такой обмен.

Каменное здание состояло из центральной части и двух боковых крыльев. Из их крыш торчали, как часовые, несколько тонких труб, в которых горестно булькал сонный ветер. У ворот в ограде висел колокольчик с проволокою вместо шнурка. Приподнявшись на коленях так высоко, как только смогла, женщина с трудом дотянулась до ручки и тут же обмякла, уронив голову на грудь.

Было уже около шести часов, и из здания, казавшегося измученной душе вожделенной гаванью, доносился шум. Возле большой двери в ограде открылась другая, поменьше. На ее пороге появился мужчина. Угадав человека под грудой одежды, колеблемой частым дыханием, он вернулся в дом, вышел со свечой, потом вошел опять

и, позвав двух женщин, привел их к калитке. Они подняли упавшую и ввели в ограду. Мужчина затворил за ними.

— Как она сюда добралась? — спросила одна из женщин.

— Бог ее знает, — ответила вторая.

Изнуренная путница пробормотала:

— Здесь был пес. Куда он делся? Он помог мне…

— Я прогнал его камнем.

И маленькая процессия двинулась вперед: первым шел мужчина со свечой, за ним две худые женщины, поддерживавшие бессильно обмякшую маленькую фигурку третьей. Так они вошли в дом и скрылись за его дверью.

Глава XLI
Подозрение. Посылают за Фэнни

Батшеба была весьма немногословна со своим мужем в тот вечер, когда они возвратились с ярмарки, да и он казался нерасположенным к беседе: состояние его духа представляло собою неприятное сочетание беспокойства и молчаливости. Следующий день, воскресенье, не сделал супругов разговорчивее. Батшеба дважды ходила в церковь: на утреннее и на вечернее богослужение. На понедельник были назначены очередные бадмутские бега. В конце дня Трой неожиданно сказал:

— Батшеба, не дашь ли ты мне двадцать фунтов?

— Двадцать фунтов? — переспросила фермерша, тотчас помрачнев.

— Видишь ли, мне очень нужно.

На лице Троя весьма отчетливо выразилась тревога, прежде ему несвойственная, однако нараставшая на протяжении всего дня.

— Ах, это, верно, для скачек?!

Трой ответил не сразу. Заблуждение Батшебы

сулило ему некоторые преимущества как человеку, не желавшему раскрывать то, чем заняты его помыслы.

— А хоть бы и для скачек, — сказал он наконец.

— О, Фрэнк! — произнесла Батшеба с горячей мольбою в голосе. — Каких-нибудь несколько недель назад ты говорил мне, будто я тебе милее всех прочих удовольствий, вместе взятых, и ты готов ими пожертвовать ради меня. Так почему же ты не откажешься от этого развлечения, приносящего больше расстройства, чем радости? Ну же, Фрэнк! Позволь мне очаровать тебя ласковыми словами, взглядами и всем, о чем только можно подумать! Останься дома! Скажи «да» своей жене! Скажи «да»!

Самые нежные и мягкие стороны натуры Батшебы порывисто выступили вперед, ни во что не рядясь и не пытаясь себя защитить. Немного нашлось бы мужчин, способных не внять мольбе, выражаемой этим прекрасным, исполненным достоинства лицом. Голова Батшебы была откинута чуть назад и вбок — положение, способное говорить гораздо красноречивее слов и будто специально предназначенное для подобных моментов. Не будь эта женщина его женой, Трой сию

же минуту поддался бы ее очарованию. Но они были супругами, и он решил более не лгать ей.

— Деньги нужны мне вовсе не для оплаты долгов, сделанных на скачках.

— Тогда для чего же? Твоя таинственность меня пугает, Фрэнк.

Трой заколебался. Любовь к Батшебе уже не была в нем сильна, однако учтивость следовало соблюсти.

— Твое недоверие меня обижает. Не рано ли ты собралась надеть на мужа смирительную рубаху?

— Полагаю, я имею право немного поворчать, раз уж мне приходится за тебя платить, — сказала Батшеба полушутливо-полусердито.

— Поворчала — и будет. Все хорошо в меру, Батшеба. Не заходи слишком далеко, не то, вероятно, тебе придется кое о чем пожалеть.

— Я уже кое о чем жалею, — быстро ответила она, покраснев.

— О чем же?

— О том, что кончился наш роман.

— Романы всегда кончаются там, где начинается супружество.

— Грустно слышать такое. Ты глубоко ранишь меня, упражняясь в остроумии за мой счет.

— А мне печально оттого, что ты сделалась такой скучной. Похоже, ты меня ненавидишь.

— Я ненавижу не тебя, а твои пагубные привычки.

— Лучше бы ты попыталась меня от них излечить. Давай уладим дело при помощи двадцати фунтов и будем друзьями.

Батшеба вздохнула.

— У меня отложено примерно столько на домашние расходы. Если тебе нужно, возьми.

— Очень хорошо. Спасибо. Полагаю, утром, еще до завтрака, я уеду.

— В самом деле? Ах, Фрэнк, не так давно чужим людям нелегко было оторвать тебя от меня. Ты называл меня любимой. А теперь и знать не желаешь, как проходят мои дни.

— Я должен поехать, и чувства здесь ни при чем.

Руководствуясь, по-видимому, принципом противоположности, Трой поглядел на часы и открыл заднюю крышку, под которой лежала аккуратно свернутая маленькая прядка волос. Как раз в это мгновение подняв глаза, Батшеба увидала локон. От нежданной боли ее лицо залилось краской, и, не успев подумать о том, дальновидно ли поступает, она воскликнула:

— Женские волосы?! Чьи они, Фрэнк?

Трой немедля захлопнул крышку часов и ответил с беспечностью человека, желающего спрятать чувство, потревоженное сторонним взглядом:

— Твои, конечно, чьи же еще? Я и позабыл, что положил их сюда.

— Какая нелепая выдумка!

— Говорю же тебе: я забыл! — громко произнес он.

— Дело не в том. Волосы светлые!

— Вздор!

— Ты меня оскорбляешь! Я видела: они светлые. Так чьи они? Я хочу знать.

— Хорошо, я скажу тебе, только прекрати шуметь. Это локон девушки, на которой я собирался жениться, прежде чем встретил тебя.

— Назови ее имя.

— Не могу.

— Она замужем?

— Нет.

— Она жива?

— Да.

— Хороша собой?

— Да.

— Ума не приложу, как она, бедняжка, может

быть миловидной при таком-то уродстве!

— Каком еще уродстве? — удивился Трой.

— Разве не уродлив цвет ее волос?

— Ого! — усмехнулся он, преодолев растерянность. — Вот так новость! Да этими волосами все восхищались, кто видел их распущенными. Бедная девушка! Люди оборачивались, чтобы полюбоваться ее локонами.

— Фи! Подумаешь! — воскликнула уязвленная Батшеба. — Хотя, если бы я так же дорожила твоею любовью, как прежде, я бы сказала, что и на мои волосы оглядывались прохожие.

— Держи себя в руках, Батшеба, и не будь ревнивой. Ты знала, какова супружеская жизнь; не следовало вступать в нее, если такие мелочи тебя пугают.

Последние слова мужа обострили обиду жены до предела: сердце ее колотилось, в горле стоял ком, глаза наполнились слезами боли. Стыдясь выказывать свои чувства, она все же не сдержалась и воскликнула:

— Так вот, значит, моя награда за то, что я так тебя любила! О, когда я выходила за тебя замуж, твоя жизнь была мне дороже моей собственной! Я согласилась бы за тебя умереть! А теперь ты смеешься над моей глупостью, которая заставила

меня стать твоей женой! Ах, как великодушно — попрекать женщину ее ошибкой! Как бы дурно ты ни думал о моем уме, ты мог бы не высказывать своего мнения так безжалостно теперь, когда я в твоей власти.

— Разве я виноват, что у меня это вырвалось? — произнес Трой. — Нет, женщины сведут меня с ума!

— Не надо хранить чужие волосы. Сожги их, Фрэнк! Ты ведь сожжешь их?

Фрэнк сделал вид, будто не слыхал этой просьбы.

— У меня есть обязательства, которые даже важнее обязательств перед тобой. Связи, о которых тебе ничего не известно. Я должен исправить свою ошибку. Не ты одна жалеешь о том, что мы стали мужем и женой.

Батшеба, дрожа, положила ладонь на его руку и проговорила тоном, в котором отчаяние смешивалось с мольбой:

— Я жалею лишь о том, что ты не любишь меня больше всех других женщин на свете! И ни о чем ином, Фрэнк. Но ты ведь не потому раскаиваешься, что кто-то тебе милее, чем я?

— Не знаю. С чего ты решила об этом спросить?

— Значит, ты не сожжешь локон. Ты влюблен в женщину, которой принадлежат эти красивые волосы. Да, красивые! Куда краше моей черной гривы! Впрочем, если я нехороша собою, этого уже не исправишь. Можешь предпочесть мне другую — воля твоя.

— За несколько месяцев я ни разу не взглянул на этот завиток. Только сегодня он случайно попался мне на глаза — готов тебе поклясться.

— Но ты сказал «связи»... Да еще та женщина, которую мы повстречали вчера...

— Именно она и напомнила мне о локоне.

— Так это ее волосы?

— Да. Теперь ты вытянула из меня признание и, надеюсь, довольна.

— О каких связях ты говорил?

— Ни о каких. Я пошутил.

— Пошутил? — воскликнула Батшеба в скорбном изумлении. — Как можешь ты шутить тем, что для меня так серьезно? Скажи мне правду, Фрэнк. Я, знаешь ли, не глупа, хоть я женщина и не чужда некоторых женских слабостей. Прошу тебя, будь со мною честен! — Она открыто и бесстрашно взглянула ему в лицо. — Я ведь не о многом прошу. Только скажи мне правду! Ох, когда-то я думала, что муж, которого я изберу,

будет меня боготворить и меньшим я не удовольствуюсь! Теперь же мне остается радоваться, если ты со мною не совсем жесток. Вот до чего дошла смелая и независимая Батшеба!

— Ради всего святого! К чему впадать в такое отчаяние?! — проговорил Трой с раздражением и, поднявшись, вышел из комнаты.

Оставшись одна, его жена тотчас разразилась сухими рыданиями: не смягченные слезами, они рвались из груди с болью. Но все же Батшеба не хотела плакать, чтобы на лице не осталось лишних свидетельств тех чувств, которые ею владели. Она была побеждена, однако ничто не заставило бы ее это признать. Точно леопард, запертый в клетку, она в бессильном гневе ходила из угла в угол, чувствуя себя униженной и запятнанной тем, что стала женой человека, чья натура оказалось не столь чистой, как ее собственная. Душа жаждала борьбы, лицо горело от прилива крови. До встречи с Троем Батшеба гордилась собой как женщиной, чьих губ не касался ни один мужчина на свете, чьей талии никогда не обвивала рука возлюбленного. Теперь она сделалась себе ненавистна. Прежде она питала тайное презрение к девушкам, готовым стать рабами первого молодого человека приятной

наружности, какой обратит на них внимание. Сама мысль о замужестве никогда не влекла ее, как влекла многих знакомых ей женщин. Пылкая влюбленность побудила Батшебу принять предложение Троя, однако день, который должен был стать для нее счастливейшим, стал скорее днем самопожертвования, чем успеха. Почти ничего не зная о Диане, Батшеба безотчетно почитала божественную охотницу. Теперь жена отставного сержанта Троя с горечью вспоминала о том, что прежде ни взглядом, ни словом, ни знаком не побуждала мужчину к себе приблизиться, что была независима и ни в ком не нуждалась, что ее юное сердце не желало отказываться от простой девической жизни ради того, чтобы стать слабой половиной супружеского целого. Зачем она поддалась безумному, хотя и законному порыву, зачем не выказала в Бате той твердости, какую выказала на Норкомбском холме! Тогда ни Трой, ни другой мужчина не посмел бы осквернить своим прикосновением ни единого волоса на ее голове.

Следующим утром Батшеба поднялась раньше обычного и велела оседлать лошадь для ежедневного объезда фермы. Возвратившись к половине девятого, когда супруги обыкновенно садились

за стол, она узнала, что мистер Трой уже встал, позавтракал, запряг Крошку в двуколку и уехал в Кестербридж.

После завтрака Батшеба, как когда-то прежде, держалась спокойно и холодно. Она неспешно направилась к воротам, намереваясь посетить тот уголок своих владений, где еще не успела побывать. Насколько ей позволяли обязанности хозяйки дома, она продолжала лично надзирать за работами на ферме, причем часто обнаруживала, что задуманное ею уже выполнено Габриэлем Оуком, к которому она начала питать глубокие дружеские чувства, как сестра к брату. Конечно, порой Батшеба вспоминала о его старой любви к ней, и в ее сознании мелькали картины той жизни, какою она могла бы жить, если бы вышла за него замуж. Думала она и том, каково было бы стать женою Болдвуда. Однако, не лишенная способности чувствовать, Батшеба все же не имела склонности к бесплодному мечтанию. Потому такие мысли посещали ее ненадолго и лишь тогда, когда Трой огорчал ее своим небрежением больше обыкновенного.

По дороге шел человек, похожий на мистера Болдвуда. Это он и был. Сердце Батшебы болезненно сжалось. Она покраснела. Будучи еще

довольно далеко от нее, фермер остановился и взмахом руки приветствовал Габриэля Оука, шагавшего по тропинке через луг. Мужчины приблизились друг к другу и, по видимости, заговорили о чем-то серьезном.

Разговор длился долго. Показалась телега Джозефа Пурграсса, который вез яблоки в гору, к дому Батшебы. Болдвуд и Габриэль подозвали его и несколько минут что-то ему втолковывали, после чего все трое разошлись. Джозеф со своей телегой поднялся на холм. Батшеба, наблюдавшая эту сцену с некоторым удивлением, облегченно вздохнула, когда Болдвуд зашагал прочь.

— Тебе сообщили какое-то известие, Джозеф? — спросила она.

Пурграсс опустил тачку и, приняв благородный вид, приличествующий тому, кто беседует с леди, ответствовал из-за ворот:

— Фэнни Робин, мэм, вы больше не увидите.

— Почему же?

— Померла она. В работном доме.

— Быть этого не может! Фэнни Робин мертва?!

— Да, мэм.

— Отчего она умерла?

— Доподлинно не знаю, но думается мне, что от общей слабости телосложения. Девица была

тщедушная и даже в ту пору, когда я ее знавал, никаких тягот переносить не могла. Сгорела, говорят, как свечка. Утром заболела и, потому как была совсем чахлая, вечером отдала Богу душу. Приписана покойница к нашему приходу, и нынче к трем часам пополудни мистер Болдвуд пошлет в город повозку, чтобы забрать тело и у нас погрести.

— Не допущу я, чтобы это делал мистер Болдвуд! Фэнни служила моему дяде, да и я сама знала ее несколько дней. Значит, мне ее и хоронить. Как, однако, печально, что Фэнни очутилась в работном доме! — Батшеба, отчасти уже познавшая, что такое страдание, произнесла последние слова с неподдельным чувством. — Пошлите кого-нибудь к мистеру Болдвуду и передайте ему: «Миссис Трой сама позаботится о погребении девушки, служившей ее семье». Негоже вести несчастную в телеге. Нужно достать катафалк.

— А успеем ли, мэм?

— Может, и нет, — раздумчиво ответила Батшеба. — Когда, говоришь, нужно подъехать к работному дому?

— Сегодня в три часа, мэм.

— Хорошо. Ты и поезжай. А красивая повозка, пожалуй, даже лучше уродливого катафалка.

Джозеф, возьми мою новую, рессорную, голубую с красными колесами, и хорошенько помой. И еще, Джозеф…

— Да, мэм?

— Нарви зеленых веток и цветов ей на гроб. Побольше, чтобы она в них утопала. Хорошо бы калины лавролистной, пестрого самшита, тиса и полыни. Да, и хризантем. И пускай везет ее старый Миляга.

— Все будет сделано, мэм. Еще позвольте вам сказать, что попечительский совет пришлет четверых мужчин на наше кладбище, чтобы произвести погребение по уставу.

— Боже мой! Кестербриджский работный дом! Как Фэнни могла до такого дойти? — проговорила Батшеба, углубляясь в размышления. — Жаль, я раньше не знала, где она… А долго ли пробыла Фэнни в работном доме?

— Всего-то день или два.

— Так она не все это время там жила?

— Нет. Сперва она поехала в один городок при гарнизоне, потом несколько месяцев жила в Мелчестере, в доме почтенной вдовы, которая нанимает портних. Зарабатывала шитьем. А в работный дом, сдается мне, попала только в воскресенье к утру. Говорят, всю дорогу от самого

Мелчестера прошла пешком. Еле ноги волочила. Почему она оставила прежнее место, сказать не могу, потому как не знаю, а врать не привык. Вот так-то, мэм.

— Ах… — протяжно выдохнула Батшеба, и цвет ее лица переменился быстрее, чем меняется цвет бриллианта, играющего на солнце то розовыми, то белыми лучами. С внезапным беспокойством она спросила: — А не шла ли Фэнни по нашей столбовой дороге?

— Шла, должно быть… Может, Лидди позвать? А то я вижу, что вам, мэм, нехорошо. Побледнели вы, точно лилия, и вот-вот упадете!

— Нет-нет, ничего, звать Лидди не нужно. А когда Фэнни проходила мимо Уэзербери?

— Субботним вечером.

— Спасибо, Джозеф, ступай.

— Иду, мэм.

— Джозеф, подойди-ка еще на минутку. Какого цвета были волосы у Фэнни Робин?

— Ох, хозяйка! Теперича, когда вы меня этак спрашиваете, будто на суде, так я — верите ли? — как назло и не припомню!

— Не бери в голову. Ступай и сделай то, что я тебе велела. Постой!.. Хотя нет, иди.

Батшеба отворотилась от своего работника,

чтобы он не мог более видеть беспокойства, столь явно ей овладевшего. Чувствуя дурноту, она вернулась в дом. В висках стучало. Спустя час снаружи послышался шум повозки. Батшеба вышла, по-прежнему болезненно сознавая, сколь очевидны ее тревога и растерянность. Джозеф, одетый в лучший костюм, запрягал лошадь. Цветы и вечнозеленые ветви были навалены горой, как и велела Батшеба, но она их едва видела.

— Кто, ты говоришь, был ее любезный?

— Не знаю, мэм.

— Ты уверен?

— Да, мэм.

— А в чем ты уверен?

— В том, что ничего не знаю, кроме того, что утром она пришла в работный дом, а вечером взяла да и померла без лишних разговоров. Больше Оук с мистером Болдвудом ничего мне не сказали. «Умерла малышка Фэнни Робин», — говорит Габриэль и глядит мне в лицо этак спокойно, по своему обыкновению. Я страсть как огорчился. «Ах! — говорю. — А от какой же напасти она умерла?» «Случилось это в кестербриджском работном доме, — отвечает он, — а отчего да как, может, и неважно. В воскресенье рано утром она пришла в работный дом, а к вечеру ее уж не было в живых

— в этом сомневаться не приходится». Тогда я спросил, как жила она и что делала. Тут мистер Болдвуд перестал тыкать тростью в чертополох, повернулся ко мне и рассказал про Мелчестер и портняжную работу — точь-в-точь как я вам пересказывал. Оттуда она ушла в конце прошлой недели и в субботу, в сумерках, миновала нашу деревню. Мистер Болдвуд и Оук присоветовали мне, чтобы я про ее кончину вам намекнул, ну и пошли по своим делам. По моему мнению, мэм, Фэнни оттого умерла, что бродила ночью на ветру. Люди давно ей смерть от чахотки предрекали. Зимой она вечно кашляла. Теперь, однако, чего уж?

— А не слышал ли ты, чтобы люди еще что-нибудь говорили? — спросила Батшеба, поглядев на Джозефа так пристально, что тот испуганно заморгал.

— Ни слова больше не слыхал, ей-богу, хозяйка! Да в приходе почти никто и не знает об этом деле.

— Почему же Габриэль сам не сообщил мне о смерти Фэнни? Обычно он по любому пустяку ко мне является… — пробормотала Батшеба еле слышно, глядя в землю.

— Может, мэм, дела у него были неотложные? —

предположил Пурграсс. — Иной раз Габриэля как будто мысли какие-то мучат. Видно, вспоминает те времена, когда жилось ему лучше, чем теперь. Человек он немного чудной, но пастух очень даже понимающий и много книг прочел.

— А когда он говорил с тобою о Фэнни, не заметил ли ты, чтобы что-нибудь особенное было у него на душе?

— Как не заметить, мэм! Огорчился он ужасно. Да и фермер Болдвуд тоже.

— Спасибо, Джозеф. Довольно. Теперь езжай, не то опоздаешь.

Батшеба, встревоженная и печальная, вернулась в комнаты. После обеда она спросила у Лидди, знавшей о случившемся:

— Какого цвета были волосы у бедной Фэнни Робин? Я что-то не припомню, ведь она служила мне всего лишь день или два.

— Светлые, мэм. Довольно короткие. Она все время прятала их под чепец, из-под которого они едва выглядывали. Но однажды я видела, как она распускает волосы перед тем, как лечь спать. Тогда они были очень красивые. Прямо золотые.

— А ухажер ее был солдат?

— Да. Служил в одном полку с мистером Троем. Мистер Трой говорит, что хорошо его знает.

— Что? Мистер Трой так сказал? Как меж вами зашла об этом речь?

— Как-то раз я спросила, не знаком ли он с женихом Фэнни, а он ответил: «О да, я знал его как себя самого, и никто в целом полку не был мне так люб, как он».

— Ах! Неужели так и сказал?

— Точно так. И еще сказал, что они с тем парнем очень похожи: случалось, их даже путали…

— Прекрати же, Лидди! — воскликнула Батшеба с раздражением, каким часто сопровождается тревожная догадка.

Глава XLII
Джозеф и его поклажа

Земля, принадлежавшая кестербриджскому работному дому, обнесена была стеной, прерываемой будкой с высоким фронтоном, который, как и фасад здания, густо увивал плющ. У этого фронтона не было ни окон, ни трубы, ни каких-либо украшений. Из моря темно-зеленой листвы выглядывала лишь маленькая дверь, расположение коей казалось странным: порог находился на расстоянии трех или четырех футов от земли. В первую секунду трудно было найти этому объяснение, однако колесные борозды внизу подсказывали, что дверь предназначалась исключительно для тех людей и предметов, которые попадали во двор работного дома с воза или со двора на воз. Сама по себе она весьма напоминала уменьшенную копию Ворот изменников[53]. Судя по пучкам травы, пробивавшейся сквозь щели в пороге, пользовались этой дверью нечасто.

Когда часы на доме призрения в конце Южной

---

[53] Примечания: 53

Ворота изменников — водные решетчатые ворота, через которые в лондонский Тауэр ввозили узников.

улицы показали без пяти минут три, к зданию приблизилась голубая рессорная повозка с красной отделкой, груженная цветами и зелеными ветками. Как только расстроенные куранты, заикаясь, исполнили некое подобие «Мальбрука», Джозеф Пурграсс позвонил в колокольчик и получил предписание подъехать прямо к вышеописанной будке с высоким фронтоном. Дверь отворилась, и двое или трое мужчин в бумазейных куртках медленно просунули через нее простой деревянный гроб, так что он лег на середину телеги. Один из рабочих вышел, достал из кармана кусок мела и крупными буквами небрежно написал на крышке имя и еще несколько слов. (Будем надеяться, что в наши дни сия операция проделывается с большей учтивостью и что для этого дается табличка.) Накрыв гроб обветшалой, но целой и чистой черной материей, рабочий поднял задок телеги. Второй мужчина протянул Джозефу свидетельство о смерти. Затем оба работника скрылись за дверью и заперли ее за собой. На этом их отношения с Фэнни, бывшие весьма непродолжительными, прекратились навеки.

Пурграсс, как велела ему хозяйка, разложил на гробе цветы, а вокруг цветов — ветки вечнозеле-

ных растений, так что стало трудно различить, какая в телеге поклажа. Джозеф щелкнул хлыстом, и нарядный импровизированный катафалк, спустившись с холма, неспешно двинулся по дороге в Уэзербери.

Быстро сгущались сумерки. Шагая рядом с лошадью, Пурграсс поглядел направо, в сторону моря, и увидел над грядой холмов причудливые облака и завитки тумана. Тучнея и множась, они лениво ползли над долинами, берегами реки и чахлыми, похожими на клочки бумаги зарослями вереска, а затем сливались в одно сырое и рыхлое целое. Казалось, из моря стремительно вырастают воздушные грибы. Когда человек, лошадь и гроб достигли Большого йелберийского леса, невидимая рука уже окутала их первым туманом осени, в котором ничего нельзя было разглядеть. Повозка с поклажей, до сих пор катившаяся по узкой полоске прозрачного воздуха, теперь оказалась полностью погруженной в упругую монотонно-бледную массу. Ни малейшее дуновение не колыхало ветви буков, берез и елей, обступавших тропу, ни одна капля дождя не упала с неба. Деревья томились, напряженно ожидая, что налетит ветер и станет их качать. Но пока кругом царила пугающая тишина, нарушаемая

лишь потрескиваньем хвороста под колесами повозки и другими легкими шумами, которые теперь звучали отчетливо, хотя обыкновенно в дневное время не были различимы.

Джозеф посмотрел на свой скорбный груз, едва видневшийся из-под цветущих ветвей вечнозеленой калины, затем окинул взглядом лес, утопавший в бездонной мгле. Размытые серые стволы высоких деревьев, не отбрасывающие теней, напоминали привидения. Охваченный отнюдь не веселым чувством, возница пожелал, чтобы рядом с ним оказался хотя бы кто-нибудь — пусть даже ребенок или собака. Он остановил лошадь и прислушался, однако не уловил ни скрипа колеса, ни человеческих шагов. Единственным шумом в этой мертвой тишине был стук чего-то, упавшего с дерева на гроб бедняжки Фэнни: крона, уже перенасыщенная влагой тумана, обронила первую каплю воды. Гулкое эхо, подхватившее этот звук, болезненно напомнило Пурграссу о всевластии Великого Уравнителя.

За одной каплей последовала другая, потом еще две или три. Теперь вода непрестанно барабанила по мертвым листьям, по дороге и путникам. Туман сделал нижние ветви деревьев серебристыми, как седины старца, а на тех листьях, что

уже порыжели, вода сверкала, подобно бриллиантам среди каштановых волос.

Прямо за лесом, в придорожной деревушке под названием Рой-Таун, был постоялый двор «Голова оленя», от которого до Уэзербери оставалось еще около полутора миль. Раньше, когда по кестербриджской дороге сновали дилижансы, многие возницы держали здесь сменных лошадей. Старые конюшни не уцелели, но гостиница по-прежнему поджидала постояльцев, и, поскольку располагалась она не у самого проезжего пути, о ее существовании громогласно возвещала табличка, свисавшая с ветви придорожного вяза. Путешественники (среди которых еще не вполне отчетливо выделялись те, кого мы теперь именуем туристами) порой говорили, что часто видели такие вывески на картинах художников, однако в действительности — до сих пор ни разу. Именно под этим деревом стоял фургон, в котором некогда уснул Габриэль Оук, шедший с кестербриджской ярмарки. Тогда было темно, и вывески он не заметил.

Нравы, царившие на постоялом дворе, не менялись на протяжении многих десятилетий. Посетители неукоснительно придерживались старинных правил, подобных следующим: «Хо-

чешь, чтобы налили еще, — стукни кружкой по столу. Нужно табачку — кричи. Служанку подзывай возгласом: «Эй, девушка!», а хозяйку — «Эй, старушка!»

Как только Джозеф увидал знакомую табличку, на сердце у него сделалось веселее. Оставив лошадь под деревом, он приступил к осуществлению замысла, который давно лелеял. Дух Пургграсса нуждался в подкреплении, и он, повернув коня головой к зеленой насыпи, вошел на постоялый двор, чтобы глотнуть эля. Коридор гостиницы находился на ступень ниже порога, а харчевня — на ступень ниже коридора. Спустившись, Джозеф, к немалой своей радости, увидал два диска цвета меди, то есть лица мистера Джена Коггена и мистера Марка Кларка — обладателей двух глоток, на редкость хорошо приспособленных для питья (в целой округе не нашлось бы человека, способного их перепить, не выходя за границы пристойности). Сидя друг против друга за трехногим круглым столом с железным ободом по краю, призванным защищать посуду от падения на пол, два почтенных уэзерберийца напоминали солнце и луну, сияющие *vis-a-vis* по разные стороны земного шара.

— О! Так это ж наш сосед Пургграсс! — восклик-

нул Марк Кларк. — Такая рожа, как у тебя сейчас, Джозеф, — не похвала столу твоей хозяйки.

— Пассажирка у меня больно уж бледная, — ответил возница смиренно, однако все же содрогнулся. — Видать, оно на мне сказалось. К тому ж позавтракал я не ахти как, а с тех пор у меня и вовсе маковой росинки во рту не было.

— Коли так, то пей, Джозеф, пей вволю! — предложил Когген, протягивая товарищу скрепленную обручами кружку, полную на три четверти.

Пурграсс сделал один глоток, умеренно долгий, потом еще один, более продолжительный, и, оторвавшись от кружки, изрек:

— Славное питье! Очень даже славное! Оно, так сказать, придаст мне бодрости для теперешнего моего дела.

— Верно. Питье для нас великая отрада, — отозвался Джен тоном человека, чье сознание настолько свыклось с некоей истиной, что он уж и не замечает, как она срывается с его языка.

Подняв кружку, Когген, по мере ее опустошения, стал запрокидывать голову. Глаза его были закрыты, чтобы ничто вокруг не мешало жаждущей душе вкушать удовольствие.

— Пора мне дальше ехать, — сказал Пурграсс. — Не отказался бы я, конечно, пропустить с вами

еще по кружке, только, ежели меня тут увидят, не будет мне доверия в приходе.

— А куда путь держишь, Джозеф?

— Домой, в Уэзербери. У меня в телеге бедняжка Фэнни Робин. Велено доставить ее к нашей церкви без четверти пять.

— Да, слыхали мы... Хоронят ее в дармовом гробу, и некому уплатить шиллинг за колокол да полкроны за могилу.

— За могилу приход платит, а колокольного звона, видать, не будет, да и не надо нам роскошества. Без этого обойтись можно, зато без могилы бедняжке уж никак нельзя. Правда, сдается мне, хозяйка наша на все денег даст.

— Девушка была такая, что краше я и не видывал! Да только к чему теперь спешить, Джозеф? Несчастная померла, и ты ее не воскресишь. Так посиди с нами в свое удовольствие и выпей еще!

— Пожалуй, и посижу, ребята. Но только минуток пять — не больше. И выпью разве что совсем капельку. Ведь работа — она все ж таки работа и есть.

— Верно, Джозеф. Выпьешь каплю, а станешь вдвое бодрей. Сразу сделается тебе этак тепло и весело, и все пойдет точно по маслу. В два счета управишься со своим делом! Лишнего пить

— оно, конечно, плохо, так и к рогатому недолго попасть. Однако не всем дано хмельными напитками лакомиться, и мы, коли возможность имеем, упускать ее не должны.

— Точно, — согласился Марк Кларк. — Тем, что Господь дарует, пренебрегать не следует. А священство и прочий ученый люд не чтит, по моему разумению, старых добрых обычаев. Видано ли это — созывать гостей, чтобы выпить чаю!

— Однако ж мне пора, — сказал Пурграсс.

— Да брось ты, Джозеф! Женщина мертвая, ведь так? Ну и куда тебе торопиться?

— Надеюсь, Провиденье мне этого в вину не поставит, — промолвил возница, снова усаживаясь. — Я, признаться, уж несколько раз за последний месяц дал слабину. Выпил лишнего однажды, в минувшее воскресенье не был на богослужении, вчера обронил пару крепких словечек… Лучше мне теперь поостеречься, не брать на душу нового греха. К чему преграждать себе дорогу в Царствие Небесное?

— Да ты, видать, не в церковь, а в молельню[54] ходишь, Джозеф?

— О нет, нет! Это было бы уж чересчур!

---

[54] Примечания: 54

Речь идет о принадлежности к одной из протестантских конфессий, противопоставляющих себя англиканской церкви.

— Что до меня, — сказал Когген, — я верный сын англиканской церкви!

— Я также! — подхватил Марк Кларк.

— Не люблю я себя хвалить, — продолжил Джен тем философическим тоном, какой нередко возникает после принятия горячительных напитков, — однако нельзя не сказать: за всю свою жизнь не нарушил я ни единого правила. Ровно пластырь, придерживаюсь я веры, в которой родился! Коли к нашей церкви принадлежишь, тебе не возбраняется выпить в старой доброй харчевне. Живи себе и не тревожься. А вот ежели ты в молельню ходишь, то ходи туда в любое ненастье. Усердствуй! Правда, они, пуритане, — народ неглупый. Такие славные молитвы из головы выдумывают! Особливо о своей родне. Или если про какой корабль в газете напишут, что он крушение потерпел.

— Да, уж этого у них не отымешь! — с чувством подтвердил Марк Кларк. — А нам нужно, чтобы все для нас заранее написано было. Не то мы все равно как малые дети — двух слов перед Господом связать не можем.

— Ежели с нами сравнивать, то пуритане ближе к тем, кто там, наверху, — произнес Пурграсс глубокомысленно.

— Да, — сказал Когген. — Мы хорошо знаем: кому полагается на небо попасть, туда ему и дорога. Человек, стало быть, трудился, раз такую милость заслужил. Я не болван какой, чтобы думать, будто нашему брату дорога в рай такая же прямая, как тому, кто в молельню ходил. Ясное дело, нет. И все же ненавистен мне любой, кто откажется от своей исконной веры, чтобы на том свете себе жизнь облегчить. Для меня это все равно как за несколько фунтов свидетельствовать на суде против товарища. А знаете, соседи, когда у меня как-то раз вся картошка померзла, наш пастор Тердли дал мне мешок для посадки, хотя самому-то едва хватало и купить было не на что. Если бы не он, не видал бы я в следующем году картошки. Разве после этого я могу в другую веру обратиться? Нет уж, буду держаться своей. И ежели правда не на нашей стороне, то ничего не попишешь. Погибать, так всем вместе!

— Это ты хорошо сказал! Эй-богу, хорошо! — похвалил Пурграсс. — Однако, ребята, я все-таки поеду. Пастор Тердли у церковных ворот ждать будет, а там, в телеге, покойница лежит.

— Брось, Джозеф Пурграсс! Пастор Тердли возражать не будет. Он человек великодушный. Уж сколько я употребил за свою долгую неправедную

жизнь! Он никогда из-за этого бури не поднимал. Посиди еще.

Чем дольше Джозеф Пурграсс сидел, тем меньше тревожило его поручение, которое он обязался исполнить. Минуты ускользали прочь, не зная счета, пока вечерние тени не сделались заметно гуще и глаза троих приятелей не превратились в светящиеся точки посреди темноты. Когда часы с репетиром, бывшие у Коггена в кармане, пробили шесть, со двора донеслись чьи-то поспешные шаги, и на пороге распахнувшейся двери показался Габриэль Оук в сопровождении служанки, принесшей свечу. Пастух сурово поглядел на физиономии соседей: одну длинную, похожую на скрипку, и две круглые, похожие на медные грелки для согревания постели. Пурграсс, заморгав, попятился.

— Право же, Джозеф, какой позор! Мне за тебя совестно! — произнес Габриэль с негодованием. — А ты, Когген, ничего лучше не придумал? Еще мужчиной зовешься!

Джен устремил на своего друга неясный взор. То один, то другой его глаз непрестанно открывался и закрывался словно по собственной воле.

— Не бранись, пастух, — сказал Марк Кларк, укоризненно косясь на свечу.

— Покойнице уже никто дурного не сделает, — добавил Когген. — И помочь ей ничем нельзя. Она не в нашей власти. Нужно ли человеку себя загонять ради праха безжизненного, который ни видеть, ни чувствовать, ни понимать не может? Будь она сейчас жива, я бы первым ей на выручку пришел. Если бы она есть или пить хотела, еды и питья для нее купил бы. Никаких денег бы не пожалел. Но она померла, и ее, как ни спеши, не оживить. Стараться для нее — тратить время впустую. Так зачем спешить делать то, от чего все равно проку не будет? Выпей с нами, пастух, и останемся друзьями, а то ведь завтра и мы можем оказаться на месте бедняжки Фэнни.

— Оно верно, — с чувством подтвердил Марк Кларк и тотчас выпил сам, дабы печальное событие, на возможность коего указал его друг, не помешало ему в этом.

Ну а Когген в довершение своих размышлений о грядущем запел:

Нынче мир и достаток в жилище моем,

Я здоров и не ведает сердце печали.

Насладимся ж, о други, сегодняшним днем,

Чтоб вы завтра теплей обо мне вспоминали![55]

За-втра! За-втра…

— Прекрати выть, Джен! — прикрикнул Оук и, повернувшись к Пурграссу, сказал: — А ты, Джозеф, тот еще греховодник — даром что строишь из себя святошу! Напился чуть не до бесчувствия!

— Нет, пастух Оук, неправду говоришь! Ты послушай мой резон, пастух: я не пьяный, просто со мной такой недуг приключился, от которого все в глазах множится. Оттого-то тебе и кажется, будто меня стало два… То бишь мне кажется, будто вас, пастухов, двое…

— Если в глазах множится, это тяжкая хворь, — подтвердил Марк Кларк.

— Вечно она на меня нападает, стоит мне в кабачок заглянуть, — кротко пояснил Джозеф Пурграсс. — Ага. Всякой твари вижу по паре, словно я святой муж в Ноевы времена, и меня в ковчег допустили… Да… — Тут возница вообразил себя отверженным и, расчувствовавшись до слез, прибавил: — Видать, для Англии я слишком хорош. Место мне в книге Бытия, как другим стра-

---

[55] Примечания: 55

Фрагмент стихотворения «Завтра» *(«Tomorrow»),* написанного английским поэтом и певцом Джоном Коллинзом (1742–1808).

дальцам за правду. Тогда б м-м-меня не обзывали вот так п-п-пропойцей!

— А ну не хнычь! Будь мужчиной!

— Не хныкать, говоришь? Изволь! Коли ты меня пьяницей зовешь, приму твою брань со смиреньем и каяться буду! Уж я-то про себя знаю, что перед всяким делом «Господи, помилуй!» говорю. С этими словами встаю и с ними спать ложусь. И коли есть в этом благочестивом обычае что дурное, то ругайте меня на здоровье. Ха! Но сказать, будто я не мужчина!? Да разве я не стенаю этак мужественно, если кто мне обиду причинит? Только тронь меня пальцем — я тотчас со всею отвагой заявлю, что этого не одобряю!

— И в самом деле, Пурграсс, ты отважный малый! — промолвил Джен.

— Отродясь я молча дурного обращения не терпел! Неужто и теперь пастух скажет, будто я не мужчина! Ну да Бог с ним. Пускай смерть мне будет добрым другом…

Габриэль не ответил. Убедившись в том, что ни один из троих приятелей не в состоянии править лошадью, он затворил за собою дверь харчевни и вышел вон. Телега, оставленная по другую сторону дороги, едва виднелась в тумане. Отведя коня от большого клочка дерна, который тот объел

уже почти догола, Оук поправил ветки на гробе и поехал вперед, навстречу враждебной ночи.

В деревне уже судачили о том, что бедняга Фэнни Робин, последовавшая за Одиннадцатым полком из Кестербриджа в Мелчестер и дальше, мертва. С часу на час ее привезут и похоронят. Однако, благодаря молчаливости Болдвуда и великодушию Оука, имя кавалера покойной оставалось неизвестным. Габриэль надеялся скрывать правду хотя бы до тех пор, пока со дня похорон не пройдет некоторое время. Тогда, зная, что возлюбленная мужа под землей, а их связь — дело прошедшее и преданное забвению, Батшеба, пожалуй, легче стерпит боль и обиду.

Когда телега проезжала мимо старого господского дома, стоявшего на пути к церкви, было уже темно. Человек, вышедший из ворот, спросил сквозь туман, висевший между ним и Габриэлем, подобно облаку коричневой муки:

— Это Пурграсс с телом?

Узнав голос священника, Оук ответил:

— Тело доставлено, сэр.

— Я только что наведывался к миссис Трой, чтобы спросить, не знает ли она, отчего возница не едет. Теперь, боюсь, уж слишком поздно. Мы не сможем совершить обряд, как подобает. Сви-

детельство при вас?

— Нет, осталось у Пурграсса, а он в «Голове оленя». Я забыл забрать у него бумагу.

— Тогда отложим похороны до завтрашнего утра. Тело можно внести в церковь, а можно оставить на ферме. Перед погребением носильщики его заберут. Они ждали более часа, а затем разошлись по домам.

Габриэлю отнюдь не хотелось, чтобы гроб стоял в господском доме, хотя Фэнни была его обитательницей на протяжении нескольких лет при жизни прежнего хозяина. Оук мысленно перебирал многочисленные неприятные случайности, способные явиться следствием задержки похорон. Однако желания пастуха не имели силы закона, и потому он отправился к госпоже узнать, как она распорядится.

Габриэль застал Батшебу в необычном расположении духа. Когда она подняла на него глаза, в них читалось подозрение и беспокойство, вызванное, очевидно, каким-то предчувствием. Трой еще не вернулся. Оук предложил немедля отвезти гроб в церковь, и Батшеба сперва равнодушно согласилась, но, провожая Габриэля до ворот, внезапно прониклась горячим сочувствием к Фэнни и пожелала, чтобы ее тело внесли в

дом. Оук попытался было убедить хозяйку, что гроб, убранный цветами, удобней всего оставить как есть, лишь загнав телегу до утра в каретный сарай. Однако уговоры оказались напрасными.

— Это жестоко и не по-христиански, — сказала Батшеба, — запереть бедняжку на ночь в каретнике.

— Хорошо, — ответил пастор. — Я позабочусь о том, чтобы рано утром все было готово к погребению. Вероятно, миссис Трой права: к усопшей подобает отнестись с почтением. Следует помнить, что, хотя она и оступилась, покинув дом, она по-прежнему остается нашей сестрой. Будем же верить, что всемилостивый Господь простит ей прегрешения и примет ее в Свое царствие.

Слова священника, произнесенные с печальным спокойствием, всколыхнули тяжелый ночной воздух. Габриэль отер честную слезу, и только Батшеба как будто осталась невозмутима. Мистер Тердли покинул их. Оук зажег фонарь. Позвали еще троих мужчин, и бесчувственное тело беглянки внесли в дом.

Гроб, как велела хозяйка, поставили на две скамьи посреди малой гостиной, находившейся рядом с залой. После этого все, кроме Оука, тотчас вышли. Он один в нерешительности задержался

подле тела. То, что по горькой иронии провидения тело возлюбленной Троя оказалось в доме его жены, продолжало глубоко беспокоить Габриэля, однако он уж ничего не мог изменить. Несмотря на все его старания, обстоятельства, сопутствующие похоронам, сложились самым неблагоприятным образом. Ужасное открытие, на пороге которого Батшеба теперь стояла, могло погрузить ее жизнь в густую тень, способную лишь слегка поредеть по прошествии многих лет, но не рассеяться вовсе.

Прочитав уже не раз виденные им слова, написанные мелом на крышке гроба, Оук предпринял последнюю отчаянную попытку если не спасти свою госпожу от боли, то хотя бы отсрочить удар. Надпись была проста: «Фэнни Робин и ее дитя». Габриэль достал носовой платок и тщательно стер последние три слова, оставив лишь имя усопшей, после чего покинул комнату и тихо вышел из дома через переднюю дверь.

Глава XLIII
Месть Фэнни

— Я еще нужна вам сегодня, мэм? — спросила Лидди, стоя в дверях большой залы с подсвечником в руке.

Батшеба сидела в печальном одиночестве перед камином, который в тот вечер разожгли впервые после лета.

— Нет, Лидди.

— Если желаете, могу дождаться хозяина, мэм. Фэнни я нисколечки бояться не буду. Вы мне только позвольте сидеть в моей комнате и не гасить свечку. Покойница была совсем как дитя. Робкая такая девушка. Ее дух, уж конечно, никого потревожить не сможет.

— Ах, нет, нет! Ступай спать. Я сама подожду мужа до двенадцати. А если он не вернется к тому времени, тоже лягу.

— Уже половина одиннадцатого.

— Неужели?

— Отчего вы к себе не поднимитесь?

— Отчего не поднимусь? — откликнулась Батшеба рассеянно. — А зачем мне подниматься?

Здесь ведь камин разожжен. — Вдруг она порывисто спросила взбудораженным шепотом: — Не слыхала ли ты, Лидди, чего-нибудь странного о Фэнни?

Едва Батшеба произнесла эти слова, на лице ее запечатлелось болезненное сожаление, и она залилась слезами.

— Нет, мэм, ни словечка! Что же вы так плачете? Не болит ли у вас чего?

Служанка приблизилась к госпоже, исполненная искренного сочувствия.

— Нет, Лидди, ты мне больше не нужна. Сама не знаю, почему в последнее время я так плаксива. Прежде я никогда не плакала. Доброй ночи.

Лидди вышла из залы и затворила за собою дверь. Теперь Батшеба чувствовала себя одинокой и несчастной. В сущности, она была не более одинока, чем до замужества. Но тогдашнее ее одиночество против нынешнего казалось уединенностью горы против уединенности пещеры. А в последнее время Батшебу еще и тревожили мысли о прошлом Троя. То, что она, поддавшись непрошеному приливу чувств, вдруг пожелала принять усопшую под свой кров, явилось следствием странного сплетения множества порывов, теснивших друг друга в ее груди. Пожалуй, вернее

всего было бы назвать этот шаг сознательным восстанием против собственных предубеждений, попыткой победить в себе низменную злобу и зависть к умершей женщине, которая прежде ее, Батшебы, овладела вниманием мужчины, до сих пор далеко не безразличного ей. Да, она по-прежнему любила мужа, но любовь эта изнемогала под тяжестью дурных предчувствий.

Через пять или десять минут в дверь тихонько постучали. Лидди опять вошла и, сделав несколько шагов, в нерешительности остановилась. Наконец она вымолвила:

— Мэриэнн слышала кое-что странное, но это, конечно, неправда. Сдается мне, через денек-другой все прояснится.

— О чем ты?

— Да о Фэнни говорят… То, что вы слыхали.

— Ничего я не слыхала.

— С час назад до нашей деревни дошла дурная история, будто…

Лидди наклонилась к уху хозяйки и договорила медленным шепотом, кивком указав в сторону комнаты, где лежала Фэнни.

Батшеба вся задрожала.

— Не верю! — возбужденно воскликнула она. — Тем паче, что на крышке гроба только одно имя.

— Я тоже не верю, мэм. Да и многие не верят. Будь это правдой, нам бы раньше сказали. Разве не так, мэм?

— Может, да. А может, и нет.

Батшеба отвернулась и поглядела на огонь, чтобы Лидди не могла видеть ее лица. Поняв, что госпожа не расположена говорить, служанка выскользнула из залы, неслышно закрыла дверь и отправилась спать.

Батшеба продолжала смотреть в камин. Всякий, кто увидал бы ее теперь — даже тот, кому она не внушала особой приязни, — проникся бы к ней сочувствием. Печальная судьба Фэнни Робин не вызвала у нее ликования, хоть она и одержала над покойной победу, подобную победе Есфири над царицею Астинь[56]. Когда Лидди вошла в залу во второй раз, прекрасные глаза госпожи глядели безучастно и устало, когда же служанка, передав ей известие, удалилась, в них горело отчаяние. Смерть Фэнни и ее ребенка, если таковой у нее был, мало обеспокоила бы женщину светскую, однако глубоко взволновала Батшебу. Сельская жительница, воспитанная на простых старомодных принципах, она, кроме прочего, имела

[56] Примечания: 56

Астинь — жена персидского царя Артаксеркса, отвергнув которую, он женился на Есфири (см. Есфирь, 1–2:17).

основания для того, чтобы усматривать связь между собственной историей и историей своей беглой служанки, чья трагедия была, по твердому убеждению Оука и Болдвуда, полностью сокрыта от хозяйки старого господского дома. О том, что в минувшую субботу чета Трой повстречала на дороге одинокую путницу, никто не знал. Стараясь как можно дольше не предавать обстоятельств смерти Фэнни огласке, Габриэль, очевидно, действовал из самых добрых побуждений. Знай он, что Батшебу уже терзают подозрения, он избавил бы от них возлюбленную, хотя ясность, которая пришла бы на смену тягостному напряжению, была бы отнюдь не утешительна.

Батшеба вдруг ощутила острое желание поговорить с кем-то, кто сильнее ее, чтобы ей помогли мужественно и с достоинством вынести то, чего она опасалась. Где же следовало искать такого человека, такого друга? Под собственной ее крышей не было женщины разумней и хладнокровней, чем она сама. Набраться терпения еще на несколько часов и не делать поспешных выводов — вот в чем ей требовалась помощь. Однако никто не мог ее этому научить. Разве только Габриэль Оук? «А ведь никто, — подумала Батшеба, — не умеет сносить тяготы так,

как он». Чувства Болдвуда казались и глубже, и возвышенней, и сильней чувств Оука, однако он не лучше самой Батшебы усвоил то, чем в совершенстве владел Габриэль, каждым движением, каждым взглядом как будто говоривший: «Среди множества целей и устремлений, те, что касаются до моего собственного благополучия, далеко не главные». Вдумчиво оглядывая горизонт обстоятельств, Оук был беспристрастен, и Батшеба хотела перенять у него это свойство.

Она не сомневалась: Габриэль знал о Фэнни все. Если прийти к нему с простыми словами: «Расскажите мне правду!» — он не откажет своей госпоже. Какое облегчение она тогда испытает!

Накинув плащ, Батшеба вышла на крыльцо. Ни единая травинка, ни единая ветвь не колыхалась на ветру. Воздух был все еще густ от влаги. В размеренном постукивании капель, падающих с деревьев на пожухлые листья, слышалось что-то умиротворяющее, почти музыкальное. Под открытым небом дышалось легче, нежели в доме, и Батшеба, затворив за собой дверь, медленно направилась к коттеджу Габриэля. (Теперь он жил один, а не у Коггена, где было слишком тесно.)

В окошке нижнего этажа горел свет. Не имея оснований опасаться воров или любопытных

глаз, обитатель жилища не заслонился от внешнего мира ни ставнями, ни шторами. Батшеба, стоявшая на тропинке, отчетливо видела пастуха: он неподвижно сидел над книгой, подперев рукой светловолосую кудрявую голову и лишь изредка отрываясь от чтения, чтобы снять нагар со свечи. Наконец он взглянул на часы, удивился, по-видимому, что уже поздно, и, закрыв книгу, встал. Батшеба поняла: Габриэль идет спать. Надо постучаться, и все сомнения будут тотчас рассеяны. Увы! В эту минуту она ни за какие сокровища не согласилась бы выдать Оуку свои страдания, а тем более прямо спросить его о причине смерти Фэнни. Пусть ей, Батшебе, придется и дальше терзаться, она стерпит все в одиночестве.

Словно бездомный скиталец, она замешкалась у насыпи, завороженная духом покоя, исходившим от этого маленького коттеджа, но, увы, не от ее собственного дома. Теперь Габриэль показался в окне второго этажа. Поставив свечу на приоконную скамью, он опустился на колени для молитвы. Эта картина столь резко противоречила теперешнему состоянию мятущейся души Батшебы, что она не могла долее смотреть. Такой путь примирения с судьбою был не для нее. Она решила дотянуть тошнотворную мелодию своих

страданий до последней ноты. Довести начатое до конца.

С болью в отяжелевшем сердце Батшеба вернулась к своему порогу. Чувства, взбудораженные увиденным, разгорелись еще сильнее. Бросив взгляд на дверь комнаты, где лежала умершая, Батшеба откинула голову, прижала ко лбу горячие руки и, зарыдав, произнесла: «Христом Богом прошу тебя, Фэнни! Откликнись! Открой мне свой секрет! О, как я надеюсь, что вас там не двое! Если бы мне хоть на миг тебя увидеть, я бы все узнала!» Помолчав несколько мгновений, она медленно прибавила: «И узнаю».

Впоследствии Батшеба не могла найти объяснения порыву, который овладел ею в тот памятный вечер. Произнеся последние слова, она отыскала в шкапчике отвертку и вскоре (трудно сказать наверняка, сколько минут прошло) уже стояла в маленькой комнате перед открытым гробом молодой женщины, предполагаемые обстоятельства смерти которой безраздельно владели ее вниманием. Батшебу била дрожь, перед глазами стоял туман, в висках неистово стучало. «Чем томиться в неизвестности, лучше знать худшее. Теперь оно мне открылось», — произнесла она надтреснутым голосом.

Батшеба понимала, что этому моменту предшествовал ряд действий, совершенных словно в горячечном сне. Повинуясь мысли, внезапно посетившей ее на пороге комнаты, она неслышно поднялась по лестнице, прислушалась к тяжелому дыханию спящих служанок и, снова спустившись, взялась за ручку двери, за которой лежала усопшая. Батшеба убедила себя совершить то, от чего пришла бы в ужас, если бы знала, что ей придется сделать это ночью, да еще в одиночестве. Но увиденное ею оказалось само по себе не так страшно, как открытие, пролившее свет на последнюю главу жизни Фэнни и явившее Батшебе неоспоримое доказательство вины Троя.

Обманутая супруга уронила голову на грудь. Дыхание, до сего момента напряженно сдерживаемое, вырвалось наружу тихим стоном, который тотчас подхватило эхо пустых стен. «О-о-ох», — произнесла Батшеба, глядя на два тела, лежащие в гробу, и из ее глаз быстро закапали слезы. Их происхождение и природу описать чрезвычайно сложно. Ясно лишь одно: они выражали не простую скорбь. Смерть — единственный подвиг, совершенный несчастной Фэнни, — возвысила ее. Судьбе было угодно, чтобы госпожа встретилась с беглой служанкой, и в разыгравшемся

воображении первой поражение последней сменилось успехом, унижение — триумфом, а собственная жизнь вдруг представилась в ярком свете язвительной насмешки.

Лицо Фэнни обрамляли золотистые волосы: теперь не приходилось сомневаться в том, кому принадлежал локон, хранимый Троем. Батшебе мнилось, будто невинное белое лицо глядит торжествующе. Будто умершая рада, что в ответ на пережитую боль причинила боль своей сопернице, как того требует беспощадный Моисеев закон: «Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб»[57].

Единственным выходом из теперешних обстоятельств Батшебе казалась немедленная смерть: как ни больно и ни страшно было умирать, эта боль и этот страх имели пределы, меж тем как позор таковых не имел. Однако бегство в небытие явилось бы жалким подражанием противнице, бесславным повторением того, на чем основывалась ее слава. Батшеба, сцепив руки, принялась мерить комнату шагами, как обыкновенно делала, когда бывала возбуждена. То и дело слышались отдельные произнесенные

---

[57] Примечания: 57
Исход, 21:25.

вслух слова мысленного монолога: «О, я ненавижу ее! То есть нет, ведь это ужасно и дурно. Но все-таки я немного ненавижу ее. Мое тело велит мне ее ненавидеть, а дух запрещает… Будь она жива, я имела бы право злиться и даже проявить жестокость. Однако мстить бедной умершей женщине — мне самой это отвратительно. Господи, сжалься надо мною! Как я несчастна!»

Напуганная собственным душевным состоянием, Батшеба стала озираться в поисках спасения. Вдруг перед ее глазами возник образ коленопреклоненного Габриэля Оука, и она, движимая женским подражательным инстинктом, решила последовать его примеру. Он молился, и она попробует. Опустившись на колени у гроба, Батшеба закрыла лицо руками. На протяжении некоторого времени в комнате было тихо, как в могиле. В силу ли механического действия привычки или по иной причине, Батшеба встала успокоенной. На смену порывам, продиктованным духом соперничества, явилось сожаление. Желая загладить вину, она взяла из вазы цветы и принялась раскладывать их вокруг головы покойницы, ибо не знала другого способа выказать доброту к усопшей.

Впоследствии Батшеба не могла бы сказать, как

долго это ее занимало. Она позабыла о времени, о своей жизни, о том, где стоит и что делает. Выйти из беспамятства ее заставил долетевший со двора шум у каретного сарая. Через секунду открылась и закрылась парадная дверь, раздались шаги по зале, и вот муж Батшебы был уже пред ней. Он остолбенел так, словно думал, что собственные глаза обманывают его, поддавшись каким-то злым чарам. Батшеба, бледная, как восставший труп, отвечала супругу таким же безумным взглядом.

Домыслы, возникающие у нас под влиянием момента, лишь в малой степени представляют собою плоды логического размышления, посему Трой, стоя на пороге, не сразу подумал о Фэнни. Сперва ему пришло в голову, что скончался кто-то из обитателей дома.

— Что… что случилось? — спросил он в оцепенении.

— Мне нужно идти! Прочь отсюда! — произнесла Батшеба, обращаясь не столько к нему, сколько к себе самой, и, глядя вперед ничего не видящими расширенными глазами, направилась к двери.

— Боже мой! Да в чем дело? Кто умер?

— Не скажу. Пусти. Мне нужен воздух.

— Нет, останься! Я требую.

Трой удержал Батшебу. Не отпуская жены, он прошел в комнату, и они вдвоем, рука в руке, приблизились к гробу. Свеча, стоявшая на бюро, лила косой свет на холодные черты матери и младенца. Трой выронил руку своей супруги. Понимание случившегося пробуждалось в нем подобно зловещему сиянию. Он сделался так неподвижен, что могло показаться, будто его покинули все силы. На самом же деле противоречивые чувства, воюя между собой, поглощали действие друг друга, а там, где нет преобладания того или иного начала, нет и движения.

— Ты знаешь эту женщину? — спросила Батшеба.

Ее голос прозвучал тихим эхом, как будто донесшимся из темницы.

— Да, — ответил Трой.

— Это она?

— Да.

Сперва он стоял безукоризненно прямо. Теперь же в его видимой недвижимости ощущался начаток некоего движения, подобно тому, как даже в самой темной ночи через некоторое время можно различить свет. Трой медленно стремился вниз и вперед. Лицо его смягчилось, смятение уступило место беспредельной печали. Батшеба,

стоявшая по другую сторону гроба, глядела на мужа с прежней отрешенностью, слегка разомкнув губы. Способность испытывать сильное чувство пропорционально страстности натуры, и потому, вероятно, муки Фэнни, будучи чрезвычайно велики в сопоставлении с ее душевными возможностями, в абсолютном своем выражении все же не достигали остроты тех терзаний, какие претерпевала Батшеба.

Трой наконец опустился на колени. Черты его лица выражали нераздельное единство раскаяния и благоговения. Наклонясь над Фэнни Робин, он нежно поцеловал ее, как целуют спящего ребенка, которого боятся разбудить. Увидев то, что было ей невыносимо, Батшеба бросилась к мужу. Все силы, бродившие в ней с тех пор, как она научилась сознавать свои чувства, теперь слились и разом выплеснулись. Немногим ранее обманутая супруга с негодованием думала о том, какой ущерб нанесло ее чести чужое материнство. Теперь она яростно отринула прежние мысли, всецело отдавшись простому и по-прежнему сильному ощущению — привязанности к мужу. Прежде она вздыхала о собственном добром имени, теперь громко оплакивала союз, глубоко ее разочаровавший.

— Нет! Не целуй их! — вскричала Батшеба, обвивая руками шею Троя. Этот неистовый крик вырвался из самой глубины ее сердца. — О Фрэнк, я не вынесу… Я люблю тебя больше, чем она любила. Так поцелуй же меня, Фрэнк! Меня!

То, что сильная и независимая женщина выразила свою боль с детской простотой, было пугающе странно, и Трой, освободившись из объятий жены, поглядел на нее в недоумении. Внезапно он понял, до чего все женщины в глубине души схожи друг с другом. Пораженный внезапностью совершенного открытия, Трой, казалось, с трудом узнавал свою гордую жену. В ее тело словно вселился дух Фэнни. Но замешательство длилось лишь несколько секунд; когда оно прошло, на лице Троя возникло властное выражение, заставившее Батшебу тотчас умолкнуть.

— Не стану я тебя целовать! — воскликнул он, отталкивая ее.

Вероятно, Батшеба в самом деле зашла чересчур далеко, позволив себе забыться в присутствии покойницы, однако в чрезвычайных обстоятельствах подобный всплеск был, пожалуй, если не вполне простителен, то по крайней мере вполне объясним. Так или иначе, Батшеба тяжелейшим усилием воли заперла внутри себя все чувства

и странно тихим голосом, будто бы принадлежавшим не ей, а чужой женщине, горестно произнесла:

— Что ты скажешь в свое оправдание?

— Скажу лишь одно: я дурной человек с черным сердцем.

— Прибавь еще, что эта женщина — твоя жертва. Как и я.

— Ах, не терзайте меня, мадам! Эта женщина, даже мертвая, значит для меня больше, чем значили, значите или можете значить вы. Если бы сам Сатана не послал мне во искушение ваше лицо и ваши кокетливые ужимки, я женился бы на ней. Я был твердо намерен сделать это, пока вы не встретились мне на пути. Клянусь Богом, что сожалею. Однако теперь уж поздно. — Он поглядел на Фэнни. — Не печалься, дорогая. Перед лицом Господа ты моя самая что ни на есть истинная жена!

С губ Батшебы сорвался протяжный глухой вопль безмерного негодования и отчаяния, крик боли, какого еще не слыхали стены старого господского дома. Для ее союза с Троем это было равносильно возгласу: «Τετελεσται»[58].

---

[58] Примечания: 58

«Совершилось!» (*греч.*) — последнее слово, произнесенное Иисусом на кресте. Евангелие от Иоанна, 19:30.

— Если она для тебя то… что ты сказал, тогда что же для тебя я? — промолвила Батшеба сквозь рыдания.

— Ты для меня ничто. Ничто, — бездушно проговорил Трой. — Один лишь церковный обряд не делает двоих мужем и женою. Душой я принадлежу не тебе.

Теперь Батшебой овладело жгучее желание уйти, спастись от этого человека, спрятаться, укрыться от его слов любой ценой — пусть даже ценой смерти. Не медля ни секунды, она бросилась к двери и выбежала вон.

Глава XLIV
Под деревом. Пробуждение

Батшеба шла по темной дороге, не зная и даже не заботясь о том, куда и зачем идет. Окружение впервые обратило на себя ее внимание лишь тогда, когда она очутилась у ограды, над которой нависли ветви мощных дубов и буков. Батшебе подумалось, что прежде она уже видела это место при свете: лес, казавшийся непроходимым, в действительности представлял собою лишь заросли быстро увядающего папоротника. Батшеба, чья душа по-прежнему пребывала в смятении, захотела спрятаться здесь. Войдя в ворота, она приметила защищенный от сырого тумана уголок под наклоненным стволом, пробралась туда, взбила вокруг себя подушки из перепутанных листьев и стеблей, чтобы заслониться от ветра, и закрыла глаза.

Батшеба не знала наверняка, спала ли она в ту ночь. Однако вся она посвежела и охладилась умом, когда ее вывела из забытья какая-то занятная суета в кронах деревьев. Сперва кто-то сипло затараторил: это был только что пробудившийся

воробей. Затем из другого гнезда послышалось:

— Чи-и-ви-и-из-ви-и-из!

То был зяблик.

— Тинк-тинк-тинк-и-чинк! — откликнулась малиновка из живой изгороди.

— Чак-чак-чак! — защелкала белка над самой головой Батшебы.

— Ра-та-та, рам-там-там! — пропел крестьянский паренек, шедший по дороге.

Когда он приблизился, фермерше показалось, что это один из ее работников. Знакомому голосу вторил тяжелый топот, и, раздвинув перед собою листья папоротника, Батшеба увидала в тусклом свете нарождающегося дня своих лошадей. Животные остановились возле пруда по другую сторону дороги. Поднимая брызги, они вошли в воду и стали пить, время от времени вскидывая морды и роняя с губ нити серебрящихся капель. Утолив жажду, лошади вышли так же порывисто, как вошли, и повернули обратно, к ферме.

Батшеба поглядела вокруг. Заря только занималась. В сравнении со свежим воздухом и холодными красками раннего часа, собственные ночные мысли и поступки казались Батшебе порождением горячечного бреда. Только теперь она заметила у себя на платье и на волосах желтые

и оранжевые листья, упавшие с дерева в часы ее полусна. Отряхиваясь, Батшеба потревожила те листы, что уже лежали на земле, и они разлетелись, «как перед чародеем привиденья»[59].

На востоке облака расступились, и сквозь открывшуюся брешь сочился свет еще не взошедшего солнца. У ног Батшебы желтели роскошные перистые лапы папоротника. Она стояла на вершине небольшого холма, у подножья которого лежала болотистая низина, усеянная грибами. Над низиной висел полупрозрачный утренний туман — пышный серебристый занавес, напитанный солнечным светом. Живая изгородь за болотом едва виднелась, скрытая лучезарной дымкой. Вокруг буйствовали заросли осоки, кое-где виднелись цветки касатника. Травинки, словно лезвия кос, сверкали на солнце. И в то же время болото выглядело зловещим. Его влажная ядовитая корка словно испаряла в сгущенном виде все то зло, что было на земле и таилось под землей. Поганки всевозможных форм торчали из гнилых листьев и пней, являя равнодушному взгляду Батшебы то липкие шляпки, то уродливые поры. Одни грибы были красными, как

---

[59] Примечания: 59
П.Б. Шелли. Ода западному ветру. Перевод Б.Л. Пастернака.

кровь, другие желтыми, как шафран, третьи стояли на тонких длинных ножках, напоминавших макароны, четвертые походили на темно-коричневые кожистые наросты. Эта низина казалась рассадником чумы, притаившейся по соседству с человеческим жильем, где господствовали удобство и здоровье. Батшеба содрогнулась при мысли о том, что провела ночь вблизи столь безрадостного места.

Снова послышался шум шагов. Батшеба, чьи нервы были еще напряжены, опять спряталась, чтобы идущий ее не увидел. По дороге шел мальчишка-школьник. На плече он нес узелок с завтраком, а в руке книгу. У ворот он остановился и, не поднимая глаз от дороги, забормотал достаточно громко, чтобы Батшеба могла разобрать слова:

— О Господь наш, о Господь наш, о Господь наш, о Господь наш, о Господь наш… Это я знаю. Дальше. Ниспошли нам, ниспошли нам, ниспошли нам, ниспошли нам, ниспошли нам… Вызубрил. Милость твою, дабы… Милость твою, дабы… Милость твою, дабы…

Мальчик, бывший, очевидно, не первым учеником в классе, путем многократного повторения каждого слова заучивал урок из молитвенника.

Батшебу позабавила эта метода: как бы нас ни обуревало горе, тонкий поверхностный слой нашего сознания всегда остается свободным, чтобы мы могли подмечать мелочи.

Мальчуган прошел мимо. К этому времени оцепенение Батшебы успело смениться тревогой, а тревога уступила место голоду и жажде. По другую сторону болота возникла человеческая фигура, полускрытая туманом. Женщина (фигура была женской) шла навстречу Батшебе, так вертя склоненной головой, будто что-то искала. Когда она, взяв левее, приблизилась, на посветлевшем небе явственно нарисовался ее профиль, образованный одними лишь мягкими изгибами без единого угла, без единой резкой линии. То были знакомые черты Лидди Смоллбери.

Сердце Батшебы благодарно забилось при мысли о том, что не все ее покинули.

— Ах, Лидди! — воскликнула она.

Вернее, хотела воскликнуть, однако движение ее губ оказалось беззвучным: за ночь, проведенную в холоде и сырости, она потеряла голос.

— Как я рада, что нашла вас! — обрадовалась служанка, увидав госпожу.

— Тебе здесь не пройти! — прошептала Батшеба, тщетно стараясь, чтобы ее слова можно было

расслышать.

Лидди, не поняв, что хочет сказать хозяйка, шагнула вперед.

— Думается мне, топь меня выдержит.

Батшеба надолго запомнила, как хрупкая фигурка служанки перепорхнула в то раннее утро болото. Тяжелое дыхание земли переливчатыми пузырями вырывалось наружу через мокрую зеленую поросль, по которой ступали девичьи ноги. Волдыри с шипением лопались, исчезая под куполом тумана. Вопреки опасениям Батшебы, Лидди не утонула. Благополучно перейдя на другую сторону болота, она заглянула в бледное и усталое, но оттого не менее прекрасное лицо своей молодой госпожи.

— Бедняжка! — На ее глазах выступили слезы. — Не унывайте же так, мэм! Как вы…

— Я сейчас не могу говорить. Голос пропал, — торопливо ответила Батшеба. — Наверное, из-за сырого воздуха этой ложбины. Ты сейчас не расспрашивай меня, Лидди. Скажи лучше, кто тебя прислал.

— Никто. Я просто увидала, что вас дома нету, и подумала, уж не случилось ли чего. Поздно ночью я вроде слыхала голос хозяина. Ну, думаю, дело неладное…

— Он дома?

— Нет, вышел перед тем, как я отправилась вас искать.

— Фэнни забрали?

— Еще нет, но скоро заберут. В девять.

— Тогда давай пока домой не пойдем, а погуляем лучше в леске.

Лидди, не вполне понимая или даже вовсе не понимая, что происходит с госпожой, согласилась, и они побродили вдвоем среди деревьев. Наконец служанка сказала:

— Сдается мне, мэм, вам все-таки нужно обогреться и покушать. А то как бы вы не простудились и не умерли!

— Сейчас я не могу вернуться в дом; быть может, и никогда не смогу.

— Тогда я принесу для вас какой-нибудь еды и что-нибудь надеть поверх этой тоненькой шали?

— Если хочешь, Лидди.

Девушка исчезла и через треть часа вернулась с плащом, шляпою, несколькими ломтиками хлеба, помазанными маслом, горячим чаем в маленьком фарфоровом чайничке и чашкой.

— Фэнни унесли? — спросила Батшеба.

— Нет, — ответила ее компаньонка, наливая чай.

Завернувшись в плащ, Батшеба немного поела и попила. После этого голос ее чуть окреп, а лицо сделалось немного менее бледным.

— Погуляем еще, — сказала она.

Женщины бродили по роще без малого два часа. Госпожа, односложно отвечавшая на щебет служанки, могла думать лишь об одном. Наконец она прервала Лидди:

— Знать бы, в доме ли еще Фэнни?

— Пойду погляжу.

Воротясь, служанка сообщила, что носильщики как раз пришли за телом и что о Батшебе спрашивали, а она, Лидди, сказала, будто хозяйке нездоровится.

— Они думают, я у себя?

— Да. — Помолчав, девушка осмелилась прибавить: — Давеча, когда я нашла вас, вы сказали, что не пойдете больше домой. Вы ведь это не всерьез, мэм?

— Я переменила свое мнение. Только женщины, не имеющие гордости, убегают от мужей. Умереть в доме мужа от дурного обращения — это ужасно, но еще ужаснее, если тебя увидят живой в доме у чужих людей. Я все утро об этом думала и избрала для себя путь. Сбежавшая жена — обуза для всех и бремя для себя самой. Каждый треплет

ее имя. Все это хуже, чем оставаться дома, даже если там приходится терпеть оскорбления, побои и голод. Лидди, если выйдешь замуж — сохрани тебя от этого Господь! — тебе, вероятно, будет несладко. Но ты все терпи. Тебя режут на части, а ты стой, как скала. Именно так я теперь и намерена жить.

— Ах, хозяйка, не говорите этаких слов! — воскликнула Лидди, беря руку Батшебы. — Однако ж я знала, что вы слишком разумны, чтобы бежать из дому. Могу ли я спросить, что такое случилось между вами и им?

— Спросить-то ты можешь, только отвечать я не стану.

Минут через десять они кружным путем вернулись к дому и вошли через заднюю дверь. Батшеба тихонько поднялась в пустующую чердачную комнату, компаньонка последовала за ней.

— Лидди, — произнесла хозяйка уже не столь уныло, ибо молодость и надежда постепенно брали свое, — я должна кому-то довериться и выбираю тебя. Так вот. Я покамест поживу здесь. Помоги мне обустроиться: затопи камин, постели на пол ковер. Потом я хочу, чтобы вы с Мэриэнн принесли из маленькой спальни ту простую деревянную кровать вместе с постелью, столик,

который при ней стоит, и еще кое-какие вещи. Чем бы мне скоротать томительное время?

— Подрубание платочков очень помогает, — сказала Лидди.

— Ах, нет, нет! Шитье я всегда ненавидела.

— А вязание?

— И его тоже.

— Тогда, может, вышивку свою закончите? Там ведь осталось доделать только гвоздички и павлинов, а потом можно будет вставить в рамку под стекло и повесить рядом с той картинкой, которую вышила ваша тетушка.

— Ах, такие вышивки чудовищно устарели! Образец мастерства рукодельницы с ее именем — это теперь только в деревне и встретишь! Нет, Лидди. Я лучше почитаю. Принеси мне книги, главное, не новые. Не хочу читать нового.

— Значит, мэм, старые, дядюшкины?

— Да, те, что мы убрали в коробки. — Легкая тень насмешки пробежала по лицу Батшебы, когда она прибавила: — Давай «Трагедию девушки» Бомонта и Флетчера, «Скорбящую невесту» Конгрива и… погоди-ка… Юнгову поэму «Ночные размышления» да еще «Тщету человеческих желаний» доктора Сэмюэля Джонсона.

— Может, желаете историю того мавра, кото-

рый убил свою жену Дездемону? Очень печальное сочинение и вам как раз подойдет.

— Лидди, ты читала мои книги без спросу! А ведь я не велела! Откуда тебе знать, что эта трагедия мне подойдет? Нисколько она мне не подходит!

— Но если другие, то и…

— Нет, и другие не годятся. Не нужно грустных книг. К чему, в самом деле, я стану их читать? Неси лучше «Деревенскую любовь»[60], «Девушку с мельницы»[61], «Доктора Синтаксиса»[62] и несколько томов «Спектейтора»[63].

Весь тот день Батшеба и Лидди провели на чердаке, как за баррикадою. Предосторожность эта, однако, оказалась излишней: Трой их не только не беспокоил, но и вовсе не появлялся побли-

---

[60] Примечания: 60

«Деревенская любовь» (1762) — комическая опера Томаса Арна. Либретто написано Айзеком Бикерстаффом по мотивам пьесы Чарльза Джонсона «Сельская опера».

[61] Примечания: 61

«Девушка с мельницы» (1765) — комическая опера Сэмюэля Арнольда по пьесе Айзека Бикерстаффа.

[62] Примечания: 62

Доктор Синтаксис — герой трех юмористических поэм Уильяма Комба (1742–1823), проиллюстрированных карикатуристом Томасом Роулендсоном (1756–1827).

[63] Примечания: 63

«Спектейтор» (*англ.* «Spectator» — «Наблюдатель») — ежедневное издание, освещавшее, часто в юмористическом ключе, самые разнооб-

разные проблемы общественной жизни. Выпускалось с 1711 по 1712, а также в 1714 году английскими просветителями Джозефом Аддисоном и Ричардом Стилом.

зости. Батшеба до сумерек просидела у окна, то заглядывая в книгу, то бесцельно всматриваясь и вслушиваясь во все, что происходило на дворе.

Закат в тот вечер был кроваво-красным. Его сияние обагрило сине-серое облако, проплывавшее над горизонтом. На темном фоне отчетливо высветился западный фасад колокольни — единственная часть церкви, видимая из окон фермерского дома. Флюгер на шпиле ощетинился лучами.

Около шести часов деревенские парни по обыкновению собрались играть в «Узников»[64]. Жители Уэзербери с незапамятных времен предавались этому старинному увеселению на площадке за кладбищем. Старое стойло исполняло роль «темницы», а голая утоптанная земля возле него была тверда, как камень. Перед взглядом Батшебы мелькали темные головы юношей и позолоченные солнцем рукава их белых рубах. В неподвижном вечернем воздухе то и дело раздавались крики и взрывы громкого смеха.

Продлившись с четверть часа, игра внезапно закончилась. Парни, перемахнув через клад-

---

[64] Примечания: 64

«Узники» — игра наподобие салочек, суть которой заключается в том, что каждая из двух команд старается «взять в плен» как можно большее число противников.

бищенскую стену, скрылись за тисом, ствол которого был, в свою очередь, наполовину скрыт буком, широко раскинувшим черные ветви, едва различимые в море золотистой листвы.

— Отчего они вдруг перестали играть? — осведомилась Батшеба, когда Лидди вошла в комнату.

— Потому, должно статься, что два каких-то человека привезли из Кестербриджа большую могильную плиту с резьбой. Ребятам захотелось поглядеть, для кого она.

— Для кого же? Ты знаешь? — спросила Батшеба.

— Не знаю, — ответила Лидди.

Глава XLV
Романтизм Троя

Прошлой ночью, когда Батшеба покинула дом, ее муж первым делом закрыл гроб, чтобы никто более не видел покойницы. Затем поднялся в свою спальню, рухнул, не раздеваясь, на кровать и, пребывая в состоянии крайней подавленности, стал ждать наступления утра.

В минувшие двадцать четыре часа судьба была к нему немилосердна. Он провел день отнюдь не так, как намеревался провести. Решив жить по-новому, мы всякий раз вынуждены преодолевать сопротивление, источник коего как будто бы таится не столько в нас самих, сколько в обстоятельствах: нам кажется, словно все кругом нарочно препятствует осуществлению наших благих замыслов.

Получив от Батшебы двадцать фунтов, Трой прибавил к ним все, что было у него самого, а именно семь с половиной фунтов, и с двадцатью семью фунтами и десятью шиллингами отправился на встречу с Фэнни Робин. Оставил лошадь с коляской на постоялом дворе, вернулся на окра-

ину города и без пяти минут десять уселся на парапет моста.

Часы пробили, а Фэнни все не появлялась. В то самое время две женщины из работного дома обряжали ее в погребальный наряд: в первый и последний раз этому кроткому созданию прислуживали при одевании. Стрелка часов показала четверть, а затем и половину одиннадцатого. На Троя нахлынули воспоминания: Фэнни уже не впервые опаздывала на важное свидание. В порыве раздражения он дал себе слово, что больше она не заставит его ждать. Успев изучить каждую звездочку лишайника на камнях моста и до дурноты наслушаться журчания реки, Трой, как только пробило одиннадцать, спрыгнул с парапета, забрал на постоялом дворе лошадь с коляскою и поехал на бадмутские бега в настроении горестного равнодушия как к прошлому, так и к будущему.

В два часа он прибыл на место скачек и до девяти оставался там или поблизости. Образ Фэнни, увиденной им в мрачных сумерках субботнего вечера, не оставлял его. Упреки Батшебы только усилили воспоминания. Трой поклялся не делать ставок и сдержал клятву, а посему сумма, которою он располагал, уменьшилась лишь на

несколько шиллингов.

В девять часов он покинул Батмут и медленно поехал домой. Дорогой ему впервые пришло в голову, что Фэнни, вероятно, не явилась на мост в назначенное время из-за болезни. На сей раз она не могла ничего перепутать. Теперь Трой жалел о своем поспешном отъезде из Кестербриджа: следовало остаться и навести справки. По приезде на ферму он тихо распряг лошадь и вошел в дом, где его ожидало страшное потрясение.

Когда очертания предметов сделались различимы в предрассветной мгле, Трой встал, поднялся с застеленной покрывалом кровати, спустился по лестнице и вышел через заднюю дверь. Где была в то время Батшеба, его ни капли не беспокоило; он вовсе забыл о существовании жены. Придя на кладбище, он отыскал пустую могилу — ту, которую еще накануне вырыли для Фэнни. Трой запомнил это место и поспешил в Кестербридж. В городе он свернул в боковую улочку и въехал в ворота с надписью: «Лестер. Работы по камню и мрамору». Весь двор мастерской был уставлен надгробиями разнообразных размеров и форм. Надписи сулили вечную память неизвестным, которые еще не умерли. В последние часы Трой и видом, и словом, и делом так мало походил

на себя прежнего, что это не укрылось даже от него самого. В приобретении могильной плиты он выказал полное отсутствие деловой хватки, поелику был не в силах выгадывать, рассчитывать и торговаться. Отставной сержант попросту добился исполнения своего желания так, как это сделало бы капризное дитя.

— Мне нужно надгробие, — сказал он человеку, которого застал в небольшой конторе. — Лучшее, какое я могу получить за двадцать семь фунтов.

— Желаете, чтобы в эту цену входило все?

— Все. Я хочу, чтобы вы сделали надпись, доставили камень в Уэзербери и установили на могиле. Причем немедленно.

— Изготовить надгробие на заказ мы сумеем не раньше следующей недели.

— Оно нужно мне сегодня же.

— Если вам придется по вкусу один из уже готовых камней, вы сможете приобрести его прямо сейчас.

— Хорошо, — нетерпеливо ответил Трой. — Покажите, что у вас есть.

— Вот лучшее, — сказал могильщик, ведя покупателя под навес. — Мраморное надгробие с чудесным лиственным орнаментом и рельефами в медальонах. В ногах будет положен меньший

камень того же материала, и всю могилу мы обнесем бордюром. За качество мрамора я ручаюсь: одна полировка обошлась мне в одиннадцать фунтов. Простоит сто лет под снегом и дождем, и ничего ему не сделается.

— Сколько возьмете?

— Ну… Если вырезать имя и доставить в Уэзербери, то выйдет как раз та сумма, какую вы назвали.

— Сделаете все сегодня же — заплачу немедля.

Каменщик согласился, дивясь нерасчетливости человека, одетого не в траур. Трой продиктовал слова, которые следовало высечь, оставил деньги и ушел, а после полудня явился опять. Надпись была уже почти готова. Он подождал во дворе, пока камни обернут тканью и погрузят в телегу. Работники отправились в Уэзербери, получив от заказчика распоряжение спросить у церковного сторожа, где могила той, чье имя указано на плите.

Трой покинул Кестербридж уже затемно. На руке его висела довольно тяжелая корзина, и он, уныло бредя по дороге, несколько раз останавливался на мостах и возле оград, чтобы опустить свою ношу и передохнуть. На полпути ему повстречалась та самая телега, на которой везли

надгробие. Он только спросил у работников, установлена ли плита, и, получив утвердительный ответ, зашагал дальше.

Войдя около девяти часов на уэзерберийское кладбище, Трой прямиком направился в дальний угол — туда, где утром была пустая яма. Это место за колокольней, почти невидимое со стороны дороги, до недавних пор пустовало, заваленное камнями и заросшее ольхой. Теперь его расчистили для новых захоронений, поскольку кладбище быстро росло.

Как и сказали люди каменщика Лестера, над свежей могилой стояли, выступая из темноты, два белоснежных камня: один в изголовье, другой в изножье. Их соединяло низкое мраморное ограждение, внутри которого могли расти цветы. Трой поставил корзину возле могилы и ненадолго исчез. Вернувшись с лопатою и фонарем, он сперва посветил на мрамор, чтобы прочесть надпись. Затем повесил фонарь на нижнюю ветку тиса и достал из корзины одно из растений, приготовленных для посадки. Были здесь и подснежники, и луковицы гиацинта, и луковицы крокуса, и фиалки, и махровые маргаритки. Все это предназначалось для ранней весны, а для лета и осени Трой принес красные, розовые и

пестрые гвоздики, ландыши, незабудки, астры, безвременники и другие цветы. Разложив их на траве, он с бесстрастным видом занялся посадкой. Подснежники расположил за бордюром, все прочее — внутри ограждения. Гиацинты и крокусы посадил рядами вдоль всей могилы, летние цветы большею частью сосредоточил в изголовье и в ногах Фэнни, только незабудки — над сердцем. Остальное поместил в промежутках.

Трой работал, не помня себя и не сознавая тщетности этого романтического порыва, порожденного раскаянием в недавнем равнодушии. Имея корни по обе стороны Ла-Манша, в критических обстоятельствах он выказывал английское упорство в сочетании с французской неспособностью видеть ту границу, что отделяет чувствительность от приторной сентиментальности.

Ночь выдалась сырая, облачная и очень темная. Зловещий свет фонаря, заполнявший собою кроны двух старых тисов, дрожал на черном брюхе низко висящего облака. Наконец Трой почувствовал, как на тыльную сторону его руки упала первая капля дождя. Вскоре вода проникла в фонарь, и свеча, шипя, погасла. Поскольку близилась полночь, а дождь усиливался, Трой решил отложить завершение работы до рассвета и

стал ощупью пробираться вдоль стены. То и дело натыкаясь на могилы, он дошел до церковного крыльца, опустился на скамью и уснул.

Глава XLVI
Горгулья и ее деяние

Колокольня уэзерберийской церкви, четырехугольная постройка четырнадцатого столетия, имела на каждой стене по паре горгулий, но из этих восьми резных фигур только две выполняли первоначальное свое назначение — изрыгали дождевую воду, отводя ее от обнесенной парапетом свинцовой крыши. Пасти четырех чудищ были закупорены церковными старостами за ненадобностью, две другие головы вовсе отбиты, однако две оставшиеся справлялись с своею работой достаточно хорошо, чтобы церковь не страдала от скопления влаги на кровле.

Иные знатоки видят мерило жизненной силы, присущей искусству каждой эпохи, в том, как ее гении владели языком гротеска. По этой части готика не знает себе равных. Уэзерберийскую колокольню возводили в то время, когда обычай украшать приходскую церковь иначе, нежели соборную, только зарождался, и многие сельские храмы венчались резными парапетами с неизменными горгульями — ярчайшим выражением

изобретательности художника и смелости его руки. В нарочитой неправильности этих форм прослеживалась своеобразная симметрия, которая более свойственна континентальному, нежели британскому гротеску той поры. Каждое из восьми уэзерберийских чудищ отличалось от остальных. Тот, кто рассматривал их, думал, будто нет на свете ничего уродливее двух страшилищ, что глядят на него с северной стены, но, оказавшись у южной, он тотчас менял свое мнение.

Из этой пары горгулий только одна, юго-восточная, имеет касательство до нашей истории. Сия фигура слишком напоминала человеческую, чтобы называться драконом, но для человека была слишком безобразна. Она более походила на животное, чем подобает дьяволу, однако менее походила на птицу, чем подобает грифону. Ужасающее каменное существо имело морщинистую шкуру, короткие стоячие уши и выпученные глаза. Пальцы обеих рук, поднесенные к углам рта, словно раскрывали пасть, чтобы изрыгаемая вода лилась свободнее. Нижние зубы почти стерлись, зато верхние были в полной сохранности. Выдаваясь на пару футов от стены, о которую опирались ее ноги, горгулья на протяжении че-

тырехсот лет обозревала окрестности, беззвучно хохоча в сухую погоду, а в дождь сопровождая свой смех булькающими и фыркающими звуками.

Трой спал на крыльце под шум все усиливавшегося дождя, когда каменное чудовище сделало первый плевок, после чего из пасти побежала тонкая струйка. Падая с высоты семидесяти футов, капли воды под действием ускорения ранили землю, как пули. Поток, постепенно становившийся мощнее, размывал почву все дальше и дальше от угла колокольни. Когда же ливень пошел стеной, струя и вовсе превратилась в водопад. Проследив ее путь, мы бы увидели, как жидкая дуга, берущая начало от пасти горгульи, выгнувшись над резным цоколем, над грудой рядом лежащих камней и над могильным бордюром Фэнни Робин, опускается прямо на земляной холмик.

До недавнего времени булыжники, сваленные в этом месте, предохраняли почву от размывания, но в летние месяцы их убрали. Теперь поток воды падал прямо на голую землю, причем гораздо дальше от стены, чем обыкновенно. Церковный сторож не предусмотрел этого обстоятельства: темный угол кладбища за колокольней был до

недавнего времени почти заброшен. Годами сюда не доставляли новых обитателей, а если кого-нибудь и хоронили, то лишь нищего, браконьера или иного грешника, чей грех отделял его от остальных.

Итак, в ту ночь горгулья изливала весь свой гнев прямо на свежую могилу. Рыхлая бурая земля бурлила, как горячий шоколад. Струя, набирая силу, зарывалась в почву все глубже. Шум воды в быстро образовавшемся бассейне раздавался в ночи, заглушая прочие шумы проливного дождя. Растения, заботливо посаженные кающимся возлюбленным Фэнни, зашевелились и закружились. Фиалки, перевернувшись корешками вверх, превратились в комки грязи. Луковицы подснежников и других цветов подпрыгивали так, будто варились в котле. Цветущие пучки вода размыла, вырвала и унесла.

Трой проспал на жесткой скамье всю ночь и проснулся тогда, когда уже совсем рассвело. Двое суток он не был в постели, потому теперь плечи его одеревенели, ноги ослабли, голова отяжелела. Вспомнив, где находится, он встал, поежился, взял лопату и вновь направился к могиле.

Дождь давно перестал, и солнечные лучи пронизывали зеленые, коричневые и желтые листья,

на которых, как капельки лака, сверкала влага. Пейзаж, напоминающий полотна ван Рёйсдала и Хоббемы, был исполнен того бесконечного очарования, которое неизменно порождается союзом воды, света и цвета. После ливня воздух стал прозрачен, и на умеренном расстоянии краски казались яркими, как на переднем плане, а те предметы, которые находились за колокольней, были видны не менее отчетливо, чем она сама.

Трой зашагал по гравийной дорожке, ведущей к могиле Фэнни. Камешки, вчера совершенно сухие и чистые, покрывал тонкий слой грязи. Заметив на тропинке пучок корней, вымытых добела и похожих на сухожилия, Трой нагнулся: неужели это примула, которую он посадил? Через несколько шагов ему попалась луковица, затем еще и еще одна. Несомненно, крокусы! Растерянный и обеспокоенный, Трой обогнул колокольню, и через несколько мгновений его взгляду представилась ужасающая картина.

Вода, скопившаяся внутри мраморного ограждения, впиталась, и теперь на месте клумбы было углубление. Размытая земля, приняв вид коричневой грязи, которую Трой уже видел у себя под ногами, запятнала тропинку, траву и мраморный могильный камень. Почти все цветы лежали

корешками вверх.

Трой нахмурил лоб и стиснул зубы. Казалось, будто подергивания его сжатых губ свидетельствуют о сильнейшей боли. Словно неудача с клумбой стала для него самым чувствительным ударом из всех, какие ему пришлось перенести за последнее время. Лицо отставного сержанта было очень выразительно, тот, кто увидел бы его теперь, не поверил бы, что этот человек мог смеяться, петь и шептать женщинам всякий любовный вздор. В первую секунду Трою захотелось проклясть свою несчастливую долю, однако даже эта, низшая, форма бунта требовала деятельного напряжения, несовместного с тем болезненным унынием, которое охватило его душу. То, что он увидал теперь, явилось завершающей, самой пронзительной деталью мрачной панорамы последних дней, и вытерпеть этого зрелища он уже не мог. Обладая сангвиническим темпераментом, Трой наделен был способностью справляться с душевною болью, просто отсрочивая ее. Он не думал о прискорбном событии до тех пор, пока время не смягчало печаль. Забота о могиле Фэнни была, вероятно, попыткой заглушить муки раскаяния и горечь утраты, однако на сей раз уловка оказалась тщетной.

Пожалуй, впервые в жизни Трой желал перестать быть самим собою. Обыкновенно люди, в которых столь силен дух природы, радуются тому, что их жизнь принадлежит именно им, и почитают себя счастливее даже тех своих собратьев, которые во всем на них похожи. В присущей ему легкомысленной манере Трой не раз признавался себе в неспособности завидовать окружающим, ибо, чтобы занять положение другого, необходимо сделаться другим, а он не хотел никакого «я», кроме собственного. Троя не смущали ни обстоятельства, сопутствовавшие его рождению, ни превратности дальнейшей жизни, ни молниеносная изменчивость всего, к чему он имел отношение. Ему мнилось, будто рано или поздно все непременно наладится — такова природа вещей.

В то утро иллюзия рассеялась, и Трой внезапно возненавидел себя. Перемена произошла, вероятно, не так внезапно, как могло показаться. Если коралловый риф лишь немного недостает до поверхности воды, немудрено подумать, что его не существует. Но стоит ему чуть вырасти, и этот последний маленький шаг приравнивается в наших глазах к тому, что зрело на протяжении долгого времени.

Трой стоял, погруженный в раздумья. Куда ему, несчастному, следовало идти? «Да будет анафема…»[65] — этот безжалостный приговор несло в себе крушение его доброго начинания. Тому, кто потратил почти всю свою силу на движение в одном направлении, неоткуда взять бодрости для обратного пути. Трой еще накануне слегка отклонился от прежнего маршрута, и первое же огорчение его сломило. Тяжело поворачивать свою жизнь вспять, когда этого требует Провидение, но еще тяжелее приходится тому, кто уже совершил поворот и видит, что судьба не содействует ему, а напротив, глумится над его робкими шагами по новому пути. Этого человеческая природа вынести не в силах.

Трой медленно отошел от могилы, не пытаясь выровнять землю и снова посадить цветы. Он просто бросил карты, навсегда отказавшись играть. Никем не замеченный (жители Уэзербери еще спали), он тихо покинул церковный двор, побрел через поля и вышел на дорогу. Вскоре деревня была уже позади.

Батшеба тем временем оставалась добровольной узницей своего чердака. Дверь отпиралась

---

[65] Примечания: 65
Послание к Галатам, 1:9.

лишь для того, чтобы впустить или выпустить Лидди, для которой устроили постель в соседней комнатушке. Невзначай выглянув из окна во время ужина, около десяти часов, девушка увидала фонарь Троя, горевший на кладбище, и указала на него хозяйке. Минуту-другую женщины с любопытством наблюдали странное свечение, после чего Лидди была отослана спать.

Сама Батшеба в ту ночь спала некрепко. За стеной уже слышалось мягкое сонное дыхание служанки, когда госпожа все еще глядела туда, где сквозь листву пробивались слабые лучи. Они то появлялись, то исчезали, как свет маяка, однако Батшеба не догадалась, что причина этого мигания — человек, временами заслоняющий собою фонарь.

Начавшийся дождь погасил огонек, хозяйка фермы легла в постель, забылась беспокойным сном, и в ее утомленном мозгу ожили страшные картины вчерашней ночи. Едва забрезжило утро, она поднялась и раскрыла окно, чтобы вдохнуть свежего воздуха. На стеклах, точно слезы, дрожали капли дождя в сиянье солнечных брызг: низко висевшее облако пропускало сквозь себя первый свет пробуждающегося неба. Деревья с мерным шумом роняли влагу на опавшие листы, а со сто-

роны церкви доносился другой звук — странный, не прерывистый, как остальные. Казалось, будто вода ровной струей стекает в бассейн.

В восемь часов постучала Лидди, и Батшеба ей отворила. Узнав у госпожи, чего та желает к завтраку, служанка воскликнула:

— Вот так дождь был ночью, мэм!

— Да, сильный.

— А не слышалось ли вам, будто на кладбище что-то шумело?

— Был какой-то непонятный шум. Полагаю, это вода стекала с колокольни.

— Вот и пастух так говорит, мэм. Он пошел поглядеть.

— Ах! Габриэль был здесь нынче утром?

— Зашел на минутку, проходя мимо. Прежде он часто так делал, да в последнее время отчего-то перестал. Только вот вода из желобов всегда стекала на камни, а теперь звук такой, словно суп в котле кипит.

Будучи не в состоянии работать, читать или думать, Батшеба попросила Лидди позавтракать с нею. По-детски щебеча, младшая из женщин коснулась недавних событий.

— Не собираетесь ли вы на церковный двор, мэм? — спросила она.

— Не знаю.

— Вам, верно, любопытно будет посмотреть, где положили Фэнни. Из вашего окна ее могилки не видно: дерево мешает.

Меньше всего Батшебе сейчас хотелось повстречаться с мужем.

— Мистер Трой ночевал дома?

— Нет, мэм. Думаю, он в Бадмут поехал.

Бадмут! При звуке этого слова фигура Троя и его поступки разом уменьшились в глазах Батшебы. Теперь их разделяло тринадцать миль! Ей противно было расспрашивать Лидди о собственном муже, и до сих пор она усердно этого избегла, но теперь весь дом знал, что между хозяином и хозяйкою произошла большая размолвка, и таиться было уже ни к чему. Батшеба достигла того состояния, когда не слишком интересуются мнением окружающих.

— С чего ты взяла, будто он туда поехал?

— Лейбен Толл видел его на бадмутской дороге нынче утром, до завтрака.

В одно мгновение Батшеба сбросила с себя груз, упрямо давивший на нее в последние двадцать четыре часа, истощая жизненные силы юности, но не заменяя их мудростью зрелой поры. Покончив с завтраком, фермерша решила прогуляться.

Она надела шляпку и направилась к церкви.

Было девять часов, и люди, впервые за этот день вкусившие пищи, уже возвратились к работе, посему Батшеба едва ли могла со многими повстречаться по пути. Она знала, что Фэнни похоронили «за церковью», то есть в дальнем углу кладбища, который не виден с дороги. Батшебу тянуло посмотреть на это место, и в то же время оно по неясной причине внушало ей страх. Ее не оставляло ощущение, будто вчерашний свет, видневшийся сквозь деревья, как-то связан с умершей соперницей.

Обогнув церковные контрфорсы, Батшеба приблизилась к могиле. Мрамор в нежных прожилках был забрызган грязью, а на месте цветочной клумбы зияла яма, как и двумя часами ранее, когда Трой покидал это место. Теперь по другую сторону надгробья стоял Габриэль. Он неподвижно глядел на могилу и потому не сразу заметил бесшумно подошедшую госпожу, а она, не сразу поняв, что именно под этим великолепным камнем покоится Фэнни Робин, принялась озираться в поисках более скромного захоронения — простого земляного холма. Лишь проследив за взглядом Оука, она прочла надпись, начинавшуюся словами: «Поставлено Фрэнсисом Троем в

память о милой его сердцу Фэнни Робин».

Увидев Батшебу, Габриэль попытался по выражению ее лица определить, как приняла она поразившее его самого известие о том, что Трой воздвиг своей возлюбленной памятник. Теперь обманутую супругу мало волновали подобные открытия. Как будто привыкнув к душевным потрясениям, она пожелала пастуху доброго утра и попросила его заполнить воронку землей при помощи воткнутой рядом лопаты. Пока Оук выполнял это поручение, Батшеба собрала разбросанные растения, а потом занялась посадкою, проявляя ту заботу, какой женщины обыкновенно одаривают корешки и листья, впоследствии, словно бы в благодарность, получая от них пышные цветы.

Напоследок она сказала Габриэлю, чтобы тот, во избежание повторного разрушения могильного холма, попросил церковных смотрителей отвести медный водосточный желоб чуть в сторону и отвернуть морду горгульи. Желая пересилить нарочитым великодушием ту злобу, к которой ее толкали более низменные женские инстинкты, Батшеба отерла грязь с надгробного камня так, словно высеченные на нем слова были ей приятны, и возвратилась домой.

Глава XLVII
Происшествие на море

Трой шел в южном направлении, стремясь обрести дом в любом уголке земли, исключая Уэзербери. Это желание продиктовано было сложным смешением чувств: утомленностью отвратительным, на его взгляд, однообразием фермерской жизни, мрачными воспоминаниями о той, что лежала теперь на церковном дворе, раскаянием перед нею и всеобъемлющим неприятием общества жены. Образы печальных свидетельств кончины Фэнни грозили никогда не стереться из памяти, и это делало пребывание в доме Батшебы невыносимым.

В три часа пополудни Трой очутился у подножья пологого, более мили длиной, склона холма, который вместе с соседними взгорьями образовывал стену, стоящую вдоль моря. Этот барьер отделял земли, возделываемые руками человека, от дикого побережья. Дорога, взбегавшая наверх, была ровна и безукоризненно бела. Ее края, постепенно сближаясь, упирались в небо. Сейчас, в слепящее солнечный день, на всей этой

длинной наклонной плоскости не было заметно ни единого признака жизни. Трой брел по дороге, изнывая от такой усталости и такого уныния, каких никогда не испытывал прежде. Теплый воздух сделался удушлив, а вершина как будто все удалялась.

Наконец Трой взобрался на гребень и, как Бальбоа[66], ступивший на тихоокеанский берег, был поражен бескрайностью и новизной открывшегося ему пейзажа. Стальную поверхность моря лишь кое-где тронула рука гравера, чей резец оставил легкие линии, неспособные возмутить гладь огромного целого. Справа, у портового города Бадмут, копьеобразные солнечные лучи обесцветили воду, сообщив ей яркий масляный блеск. Небо, земля и море — все было недвижимо. Только бахрома молочной пены, как множество языков, лизала прибрежные камни.

Трой сошел с холма в маленькую скалистую бухту. Ощутив прилив свежих сил, он решил отдохнуть и выкупаться, прежде чем продолжить путь. Разделся и прыгнул в море. Плаванье в бухте показалось ему незанимательным: скалы

---

[66] Примечания: 66

Васко Нуньес да Бальбоа (ок. 1475 — ок. 1517) — испанский конкистадор; первый европеец, пересекший Панамский перешеек и таким образом вышедший на американское побережье Тихого океана.

прегражда́ли путь океанской волне, и вода была тихой, словно в пруду. Миновав два отрога, Геркулесовы столбы[67] этой уменьшенной копии Средиземного моря, Трой, к несчастью, попал в незнакомое течение — неощутимое даже для самого легкого судна, однако небезопасное для пловца, застигнутого врасплох. Троя сперва потянуло влево, а затем резко понесло в открытое море.

Только теперь он вспомнил, что у этого места дурная слава. Многие, кто вздумал здесь искупаться, молились, как Гонзало, о том, чтоб «умереть сухой смертью»[68], однако не все молитвы были услышаны. Трой рисковал оказаться в числе наименее счастливых. Ни единое судно не маячило в поле его зрения. Только Бадмут лежал вдали, безмолвно наблюдая борьбу одинокого пловца с морским течением. Попытки вернуться в скалистую бухту сильно утомили пловца, однако успехом не увенчались: от усталости Трой только опустился в воду на несколько дюймов глубже обыкновенного. Чтобы окончательно

---

[67] Примечания: 67

Геркулесовы столбы — скалы, образующие своеобразные ворота Гибралтарского пролива.

[68] Примечания: 68

У. Шекспир. Буря. Акт I, сцена 1. Перевод Т.Л. Щепкиной-Куперник.

не выбиться из сил, он дышал исключительно носом, дюжину раз переворачивался на спину, греб *en papillon*[69] и прибегал к другим подобным ухищрениям. Наконец Трой решил плыть по течению, делая лишь небольшой уклон в сторону берега, чтобы выйти на сушу там, куда его вынесет. Теперь ему приходилось тратить гораздо меньше сил, однако осуществление этого плана требовало немалого времени: берега проходили перед его взглядом медленной печальной процессией. И все же он ощутимо приближался к крошечному мысу, уже вполне различимому на фоне солнечного горизонта. Взгляд Троя был прикован к этому клочку суши как к единственному, что могло спасти его по сю сторону Неизведанного. И вдруг от мыса отделился движущийся предмет: то была корабельная шлюпка с несколькими матросами. Ее нос смотрел в глубь моря.

Ощутив резкий прилив сил для продолжения борьбы, Трой стал грести одной правой рукой, а левую поднял. Он махал морякам, поднимал брызги и кричал так громко, как только мог. Матросы, глядя со стороны заходящего солнца, тотчас заметили, что восточнее их лодки на

---

[69] Примечания: 69

En papillon (*фр.*) — «бабочкой», то есть подобием стиля баттерфляй.

фоне уже потемневшего моря белеет человеческая фигура. Табаня[70], они быстро развернули шлюпку и спустя пять или шесть минут после того, как послышался первый крик неудачливого пловца, двое из них уже втащили его через корму на борт.

Матросы служили на бриге[71], на берег их отправили за песком. Одолжив спасенному то немногое из одежды, без чего могли обойтись сами, моряки кое-как защитили его от быстро остывавшего воздуха. Было решено высадить Троя на сушу следующим утром, а покамест шлюпка повернула к кораблю, стоявшему на рейде близ Батмута.

На водную гладь, простиравшуюся впереди, медленно опускалась ночь. Невдалеке, там, где береговая линия изгибалась, делаясь похожей на темную ленту, постепенно возникали из тени желтые точки. Это были огни, один за другим загоравшиеся на бадмутском променаде. Ничто, кроме стука весел, не заглушало тихого рокота спокойного моря. Разрезая густеющую мглу, шлюпка пробиралась к городу. Фонари горели

---

[70] Примечания: 70
Табанить — грести в обратную сторону.

[71] Примечания: 71
Бриг — морской двухмачтовый парусник.

все ярче, и каждый из них словно опускал глубоко в воду огненный меч. Наконец показалось несколько темнеющих форм. Одна из них была тем самым судном, куда направлялись спасители Троя.

Глава XLVIII
Подозрения возникают. Подозрения подтверждаются

Затянувшееся отсутствие Троя — оно длилось уже не несколько часов, но несколько дней — было встречено Батшебою с чувством слабого удивления и облегчения. Ни то, ни другое не превышало уровня, который принято именовать равнодушием. Батшеба принадлежала мужу, и собственное положение казалось ей столь четко определенным, а изменение этого положения столь маловероятном, что она даже не помышляла ни о каких непредвиденных обстоятельствах. Перестав ценить свою красоту, Батшеба с безразличием постороннего человека прочила себе самую прискорбную будущность. Даже действительность не могла быть мрачнее тех картин, что рисовались ее воображению. Честолюбивое жизнелюбие юности иссякло, а вместе с ним угасли и тревоги о завтрашнем дне. Тревожится тот, кто видит перед собою две возможности: менее благоприятную и более благоприятную. Батшеба решила, что для нее теперь все едино. Сейчас или

чуть позже муж вернется, и тогда их дни на ферме будут сочтены. Поверенный землевладельца с изначальным недоверием согласился на то, чтобы преемницей Джеймса Эвердина стала молодая прекрасная особа женского пола. Серьезных препятствий не возникло благодаря тому, что старый фермер, оставивший необычное завещание, еще при жизни не раз говорил, будто из племянницы выйдет толк, и она в самом деле проявила умение и находчивость в обращении с поголовьем скота, когда дядя уже скончался, а переговоры о наследстве не завершились. В последнее время Батшеба с тревогой думала о том, не откажут ли ей в праве аренды из-за того, что она, выйдя замуж, сменила имя. До сих пор против этого никто как будто не возражал, но одно было ясно: в случае если сама фермерша или ее муж в назначенный январский день не внесет арендной платы, землевладелец не проявит к ним снисхождения и, пожалуй, будет прав. Покинув ферму, они вскоре окажутся за чертой бедности.

Батшеба признала поражение наперед. Она не могла надеяться на лучшее, не имея оснований, и это отличало ее от менее дальновидных и деятельных женщин, привыкших, чтобы их баловали, как детей. Для таких представительниц

прекрасного пола надежда — нечто наподобие часов, которые заводятся сами собою, если есть хотя бы пища и кров. Батшеба же ясно сознавала совершенную ошибку и, принимая свое положение, хладнокровно ждала последствий.

В первую субботу после исчезновения Троя она, как было у нее заведено до замужества, поехала в Кестербридж одна. Сельские дельцы собрались, по обыкновению, перед зданием рынка, а городская публика, по обыкновению, глядела на них, думая о том, что ради здоровой жизни в деревне они отказываются от возможных мест в городском совете. Батшеба медленно пробиралась сквозь толчею, когда мужчина, шедший, очевидно, за нею, обратился с вопросом к тому, кто стоял от нее слева. Обладая по-звериному чутким слухом, она все расслышала, хотя и была обращена к говорившему спиною.

— Я ищу миссис Трой. Это она? — спросил первый человек.

— Да, — ответил второй. — Вот эта молодая леди.

— Я должен сообщить ей печальное известие. Ее муж утонул.

Из груди Батшебы вырвалось восклицание:

— Нет! Неправда! Не может быть!

Больше она ничего не произнесла и не услышала. Лед самообладания, сковывавший ее в последнее время, сломался, и она вновь попала во власть течений. В глазах потемнело, ноги подкосились. С тех пор как Батшеба вошла в толпу фермеров, за ней наблюдал, стоя у колонны старой хлебной биржи, угрюмый человек. Услыхав, что девушка вскрикнула, он быстро приблизился и подхватил ее.

— В чем дело? — спросил Болдвуд у того, кто принес дурную весть.

— Ее муж на этой неделе купался в Лалвиндской бухте и утонул. Береговой смотритель вчера нашел его одежду и привез в Бадмут.

В глазах Болдвуда вспыхнул странный огонь. Лицо залила краска возбуждения, вызванного невысказанной мыслью. В эту минуту все взгляды были прикованы к нему и к женщине, упавшей без чувств. Подняв Батшебу и расправив складки ее платья, как ребенок расправляет растрепанные перья убитой градом птицы, Болдвуд заторопился к гостинице «Королевские доспехи» и вошел под арку. В одном из номеров он нехотя опустил свою драгоценную ношу на кушетку.

— Домой… — пробормотала Батшеба, вспомнив, что было с нею до обморока.

Болдвуд вышел за дверь и с минуту постоял в коридоре, собираясь с мыслями. Ощущение, оказавшееся для него слишком сильным, исчезло, как только он его осмыслил. Несколько божественных, золотых мгновений он держал Батшебу в объятиях. Сама она об этом не знала, и все же ее грудь была близка к его груди.

Вновь обретя способность действовать, Болдвуд послал к Батшебе служанку, а сам отправился выяснять обстоятельства дела. Как видно, никто ничего не знал сверх того, что ему уже передали. Когда по его распоряжению лошадь миссис Трой запрягли в двуколку, Болдвуд возвратился в гостиницу. Батшеба была по-прежнему бледна и испытывала дурноту, однако уже послала за человеком, который привез дурную весть из Бадмута, и обо всем его расспросила. Поскольку она в нынешнем своем состоянии едва ли могла сама править лошадью, Болдвуд с присущей ему деликатностью предложил нанять для нее возницу или предоставить ей место в собственном удобном фаэтоне. Батшеба мягко отклонила оба предложения, и фермер сразу же удалился.

Примерно полчаса спустя она не без труда принудила себя сесть в коляску, взять в руки поводья и сделать вид, будто ничего не случилось. Выехав

из города извилистой окраинной улицей, Батшеба медленно направилась к своей ферме, не разбирая дороги и не глядя по сторонам. На землю уже легли первые вечерние тени, когда она молча сошла с двуколки, передала вожжи мальчику и, войдя в дом, тотчас поднялась к себе.

Лидди встретила ее на лестнице. Весть о гибели Троя опередила хозяйку фермы на полчаса, и теперь служанка вопросительно заглядывала в лицо госпожи. Та, не сказав ни слова, прошла в свою спальню и села у окна. Там она сидела, размышляя, до тех пор, пока ночь не окутала ее, оставив видимыми одни лишь очертания. Кто-то, постучавшись, приоткрыл дверь. Батшеба спросила:

— Чего тебе, Лидди?

Девушка, поколебавшись, ответила:

— Я подумала, не надобно ли заказать для вас платье?

— Какое еще платье?

— Черное.

— Нет, нет, нет! — поспешно возразила Батшеба.

— Разве не нужно что-нибудь сделать для бедного…

— Полагаю, нет. Не сейчас.

— Почему же, мэм?

— Потому что он жив.

— Почем вы знаете? — проговорила Лидди в изумлении.

— Я этого вовсе не знаю. Но если бы он вправду погиб, все было бы иначе: нашлось бы тело, мне рассказали бы подробности… Ведь верно, Лидди? Мне трудно тебе объяснить, но, будь он мертв, я бы чувствовала не то, что чувствую сейчас. Он жив — я твердо убеждена!

В этом убеждении Батшеба пребывала до понедельника, когда два обстоятельства почти одновременно его поколебали. Сперва в местной газете напечатали несколько строк, автор коих, безапелляционно объявив Троя утонувшим, сослался на слова молодого бадмутского врача по фамилии Баркер, который в письме к редактору назвался свидетелем происшествия: с утеса в глубине бухты, когда садилось солнце, он видел человека, уносимого в открытое море. Такое купание не могло кончиться благополучно, если только купальщик не обладал сверхъестественной мускульной силой. Доктор пошел было следом за пловцом, который скрылся за выступающей скалой, но, пока он, мистер Баркер, взобрался на такое возвышение, откуда

хорошо просматривались прибрежные воды, уже стемнело.

Вторым обстоятельством стало прибытие одежды Троя. Батшебе надлежало осмотреть и опознать его вещи, что, очевидно, давно уже сделали те, кто искал в карманах документы и письма. Взволнованная Батшеба тотчас заключила: Трой разделся, намереваясь очень скоро одеться снова. Значит, ему могла помешать только смерть. Иные предположения были бы бредом. Тогда Батшеба сказала себе: «Странно, что я не верю в то, в чем другие так уверены». Внезапно ее поразила мысль, от которой она вспыхнула: если Трой последовал за Фэнни в мир иной, не сделал ли он это намеренно, придав самоубийству внешнее сходство с несчастным случаем? Помня свою былую ревность к умершей сопернице и раскаяние, выказанное Троем в роковую ночь, Батшеба сознавала, сколь разительно кажущееся порой отличается от действительного. Притом она не настолько ослепла, чтобы не принимать во внимание другого исхода — менее трагического, более вероятного и для нее самой более разрушительного.

Вечером Батшеба, сумев себя успокоить, сидела одна у слабо затопленного камина. Взяв

часы Троя, переданные ей вместе с другими его вещами, она, как он сам неделей ранее, открыла крышечку и увидела маленький светлый локон, который, словно фитиль, дал начало мощному взрыву. «Она принадлежала ему, а он ей. Они должны быть вместе, — сказала Батшеба. — Ни для нее, ни для него я ничего не значу. Так зачем же мне хранить эти волосы? — Она взяла завиток и вытянула руку над огнем. — Нет, не стану его жечь. Сберегу на память о бедняжке!» — И с этими словами Батшеба убрала локон.

Глава XLIX
Возвышение Оука. Великая надежда

Быстро наступила поздняя осень, а за ней и зима. Листья густо устлали лесные мхи и дерн прогалин. Если раньше Батшеба пребывала в состоянии, не вполне похожем на обыкновенную тревогу, то сейчас ею овладело спокойствие, не вполне похожее на обыкновенный покой. Прежде, считая Троя живым, она могла думать о его смерти хладнокровно. Теперь же, допустив, что вправду его потеряла, она стала об этом жалеть.

Дела на ферме шли гладко. Батшеба получала немалый доход, хотя мало о нем заботилась, и тратила деньги, руководствуясь одною лишь привычкой прежних дней, которые миновали не так уж давно, но притом казались ушедшими невозвратно. Казалось, она умерла, однако сохранила способность мыслить и, подобно благородным покойникам, чью историю поведал нам поэт[72], раздумывала о том, сколь бесценным даром была

[72] Примечания: 72

Аллюзия на стихотворение Роберта Браунинга (1812–1889) «Статуя и бюст».

прошедшая жизнь.

Единственным полезным итогом апатии, охватившей Батшебу, явилось назначение пастуха Оука управляющим, обязанности коего он, по сути, исполнял уже давно, посему эта перемена была таковой лишь в глазах окружающих, меж тем как для самого Габриэля, не считая повышения жалованья, ничто не изменилось.

Болдвуд вел жизнь замкнутую и бездеятельную. В тот год дождь погубил большую часть его сжатой пшеницы и весь урожай ячменя. Зерно стало прорастать, образуя хитроумные переплетения из побегов, и в конце концов его пустили на корм свиньям. Странное небрежение, породившее эту потерю, сделалось для всей округи предметом пересудов. От одного из людей Болдвуда удалось узнать, что простая забывчивость здесь ни при чем: и он, и другие работники напоминали хозяину о ненакрытом урожае столько раз и так настойчиво, как только считали для себя позволительным.

Однажды, увидав, что свиньи отворачиваются от гнилых колосьев, которые им кидают охапками, фермер словно бы очнулся и в тот же вечер послал за Оуком. Вероятно, это было подсказано тем решением, которое недавно приняла

Батшеба; впрочем, возможно, и нет. Так или иначе, Болдвуд предложил Габриэлю управлять и его фермой: он нуждался в помощнике и более надежного человека найти не мог. Похоже, несчастливая звезда Оука закатилась.

Батшеба, узнав об этом предложении — Габриэль счел себя обязанным испросить ее согласия, — сперва сказала, что ему одному не управиться с двумя фермами. Тогда Болдвуд, движимый, очевидно, скорее личными, чем денежными соображениями, обещал предоставить Габриэлю лошадь в личное пользование, чтобы работа в двух хозяйствах, находящихся по соседству, была ему посильна. Переговоры между фермерами велись не напрямую, а при посредничестве Оука.

Наконец все благополучно разрешилось, и Габриэль стал разъезжать на сильной крестьянской лошади по участку, равному в общей сложности двум тысячам акров, с таким бодрым и уверенным видом, словно земля принадлежала ему, меж тем как хозяйка одной и хозяин другой фермы проводили время в угрюмом уединении каждый у себя дома. Весной в приходе начали поговаривать о том, что Габриэль быстро вьет себе теплое гнездышко.

— Как ни крути, — сказала Сьюзен Толл, — а

Гейбл Оук хвост распустил. По два, а то и по три раза на неделе надевает блестящие сапоги без гвоздей, каждое воскресенье — высокую шляпу, а о рабочем кафтане и думать забыл. Диву даюсь! И как это люди могут важничать, будто бентамские петухи? Слов не нахожу, когда такое вижу!

Стало известно, что от Батшебы Габриэль получает сумму, не зависящую от того, сколько приносит ферма, Болдвуд же платит ему процент с дохода, а иметь долю от прибыли, пусть даже малую, все же почетнее, чем получать жалованье, к тому же первая, в отличие от последнего, способна увеличиваться. Некоторые считали Оука «прижимистым»: несмотря на изменившееся свое положение, он продолжал жить в прежнем коттедже, сам копал для себя картошку, штопал чулки, а иногда даже стелил постель. Проявляя явное безразличие к мнению окружающих, Габриэль упорно придерживался старых привычек только лишь из-за того, что они стары. Посему трудно было сказать, почему он согласился принять повышение.

В душе Болдвуда тем временем вновь зародилась надежда. Его преданность Батшебе, не имея разумной причины, являла собою пример любовного безумия, которого ничто не может

уничтожить или ослабить: ни время, ни обстоятельства, ни добрая, ни дурная слава. Поспешный вывод о гибели Троя стал тем зерном, из коего в пору затишья возникли новые пылкие ожидания, как росток возникает из горчичного семени. Фермер лелеял их втайне от себя самого, боясь, что дальнейший ход событий обнаружит полную несбыточность его мечтаний.

Батшеба по прошествии некоторого времени все же согласилась надеть траур. Еженедельно появляясь в церкви в этом облачении, она невольно внушала Болдвуду, что заветный час близится — медленно, но верно, — и однажды его терпение будет вознаграждено. Не думая о том, сколько ему ждать, он уповал на перемены, произведенные в Батшебе суровыми испытаниями: быть может, она сделалась внимательнее к чувствам других людей, и если когда-либо захочет снова выйти замуж, то выберет его. От природы она добра и после пережитого ослепления и разочарования, наверное, глубже раскаивается в том, что некогда по легкомыслию нанесла ему, Болдвуду, душевную рану. Возможно, скрывая поначалу свою страсть, он сумеет постепенно приблизиться к Батшебе, если предложит ей соседскую дружбу, которой она не отвергнет в силу приветливости

своего нрава. Таковы были надежды Болдвуда.

В глазах зрелых людей молодая фермерша была теперь еще прелестнее, чем прежде. Избыточность темперамента сгладилась, красота, слишком яркая для того, чтобы радовать человеческий глаз каждый божий день, сделалась мягче. Батшеба вступила во вторую, поэтическую, пору своей женственности, не утратив очарования первой.

Когда она, прогостив два месяца у старой тетки в Норкомбе, возвратилась на ферму, истомившийся Болдвуд решил воспользоваться этим случаем, чтобы прямо осведомиться о ней — благо на девятом месяце ее вдовства такое проявление участия выглядело позволительным — и заодно узнать, каковы его шансы. Было это в разгар сенокоса.

— Рад видеть вас на свежем воздухе, Лидия, — любезно произнес он, повстречав Лидди, вышедшую помочь работникам на лугу.

В ответ девушка лишь улыбнулась, сбитая с толку тем, что фермер заговорил с нею, да еще и так учтиво.

— Надеюсь, миссис Трой хорошо себя чувствует после столь длительного отсутствия? — спросил Болдвуд словно из вежливости, не проявить ко-

торой не мог бы даже самый жестокосердный из соседей.

— Хорошо, сэр.

— Бодрится?

— Да, сэр, бодрится.

— Вы сказали «боится»?

— Ах нет, сэр. Я говорю, что она бодрится.

— А вы, Лидия, осведомлены о всех делах вашей госпожи?

— Нет, сэр.

— Но кое о чем она вам рассказывает.

— Да, сэр.

— Миссис Трой очень доверяет вам и, должно быть, правильно делает.

— А как же, сэр! Я ведь с ней через все ее горести прошла: когда мистер Трой исчез и все такое… Если она снова замуж соберется, то, верно, оставит меня при себе.

— С ее стороны вполне разумно обещать вам это, — ответствовал хитроумный влюбленный, чье сердце забилось при мысли о том, что сулили слова Лидди: та, кому он был так предан, задумалась о повторном замужестве!

— Нет, она не обещала. Просто я такого мнения.

— Да, да, понимаю. Она сказала, что, возможно,

опять выйдет замуж, и вы заключили…

— Никогда она такого не говорила сэр, — произнесла Лидди, мысленно дивясь тому, до чего же бестолков этот мистер Болдвуд.

— Конечно, конечно, — поспешил ответить он, чувствуя, как надежда снова его покидает. — Не нужно делать таких длинных движений граблями, Лидия. Лучше короткие, но частые. Что ж, миссис Трой теперь опять полновластная хозяйка на ферме, и, пожалуй, это мудро, если она не хочет жертвовать своей свободой.

— Госпожа как-то сказала, правда в шутку, — еще в прошлом году, — что выйдет замуж через семь лет. А до тех пор, дескать, мистер Трой может еще вернуться и заявить на нее свои права.

— Семь лет… Стало быть, шесть, если считать от нынешнего года. В глазах любого здравомыслящего человека она вольна хоть сейчас выйти замуж, что бы там ни говорили адвокаты.

— А вы у них спрашивали? — невинно полюбопытствовала Лидди.

— Я? Вовсе нет, — ответил Болдвуд, краснея. — Лидди, если вы устали, вам нет нужды оставаться на лугу. Так мистер Оук говорит. А я дальше пойду. Доброго дня.

И он ушел, сердитый сам на себя за то, что впер-

вые в жизни попытался окольным путем навести о ком-то справки. В таких делах бедняга был не ловчее тарана, и от этой беседы у него осталось неприятное чувство: ведь о нем могли подумать как о человеке глупом или, того хуже, низком. Однако кое-что ему все же удалось разузнать. Полученное известие, хотя и не вполне радостное, завораживало своей новизной и прямым отношением к животрепещущему вопросу: чуть более чем через шесть лет Батшеба, вероятно, выйдет за него, Болдвуда, замуж!

Надежда обрела некую определенность, ведь даже если слова Батшебы, обращенные к Лидди, и были не вполне серьезны, они все же отражали ее намерения.

Полученная весть не шла у фермера из головы. Шесть лет — срок немалый, однако это лучше, чем прождать напрасно до конца своих дней, а именно с такою перспективой Болдвуд принужден был мириться до недавних пор. Иаков, чтобы получить в жены Рахиль, служил ее отцу дважды по семь лет, а что такое шесть лет для столь прекрасной женщины!.. Болдвуд пытался внушить себе, будто ожидание слаще быстрой победы. Возможно, Батшеба еще не сумела постичь, насколько глубока и сильна его вечная любовь к

ней. Она поймет это, благодаря тому терпению, которое он проявит, ожидая ее. Он расстанется с шестью годами жизни легко, как с минутами, ибо ничто в этом мире не дорого ему, кроме Батшебы. Все эти шесть лет он будет ухаживать за нею тонко, едва заметно, однако она увидит его безграничную преданность.

Пока Болдвуд предавался таким размышлениям, наступил конец августа — время гринхилльской ярмарки, на которой жители Уэзербери бывали частыми гостями.

Глава L
Овечья ярмарка. Трой касается руки своей жены

В день овечьей ярмарки в Гринхилле, этом Нижнем Новгороде Южного Уэссекса, царило еще более шумное и веселое оживление, чем в обычные дни. Торговля разворачивалась на холме, вершина которого окружена была насыпью и овальным рвом — остатками древних укреплений, кое-где порушенных, однако в целом неплохо сохранившихся. В двух местах кольцо вала расступалось, и через эти ворота путники, поднявшиеся по извилистой дороге, попадали на ровную зеленую площадку десяти или пятнадцати акров величиной. Здесь и проходила ярмарка. Постоянных сооружений было немного: в большинстве своем посетители отдыхали и подкрепляли силы под шатрами и навесами.

Пастухи прибывали на ярмарку издалека. Некоторые из них покидали дом за трое суток, а то и за неделю до начала. В течение дня они проходили со своим стадом не более двенадцати миль, а вечером за плату располагали подопечных на

заранее выбранных придорожных полях, где те паслись, успев с утра изрядно проголодаться. Каждый пастух шагал позади овец, неся за плечами узелок со всем необходимым на неделю, а в руке — крюк, похожий на посох пилигрима. За время пути некоторые животные могли выбиться или охрометь, бывало также, что матки в дороге ягнились. Для таких случаев стадо, идущее из дальней деревни, порой сопровождала повозка, запряженная пони. В ней везли ослабевших овец.

Уэзерберийские пастухи в такой предосторожности не нуждались, поскольку путь в Гринхилл не был для них очень уж долгим. Однако объединенное стадо двух ферм получилось столь велико и ценно, что требовало к себе большого внимания, посему Габриэль сопровождал его вместе с пастухом Болдвуда и Каином Боллом. Их путь наверх, к плато, пролегал через развалины древнего города Кингсбери. Позади стада трусил, конечно же, старый пес Джордж.

Когда косые лучи осеннего солнца осветили росистую площадку на ярмарочном холме, над дорогами, сходящимися к его подножию, висели облака пыли. Проходя между рядами живых изгородей, пересекающими равнину, стада овец мед-

ленно тянулись вверх по змееподобным тропам и через одну из брешей в крепостном вале входили на площадку: сотня за сотней, рогатые и безрогие, голубые и рыжие, светло-желтые и бурые, даже зеленоватые и красноватые — все определялось фантазией красильщика и обычаями фермы. Погонщики кричали, собаки воодушевленно лаяли, но курчавые путешественники после долгой дороги казались безразличными к этому ужасающему шуму и только жалобно блеяли, выражая недовольство непривычной обстановкой. То здесь, то там над стадом высилась голова рослого пастуха — так истукан возвышается над толпою идолопоклонников, простершихся ниц.

Среди тысяч овец, согнанных на ярмарку, преобладали саутдаунские и уэссекские рогатые. Ко вторым большей частью принадлежали стада Батшебы и фермера Болдвуда, взошедшие на холм около девяти часов утра. Рожки достойных уэзерберийских образцов этой старинной породы вились над маленькими бело-розовыми ушами безукоризненно правильными кольцами. Животные других пород шли впереди и позади: их шубки были ярки, как леопардовая шкура, недоставало только пятен. Шерсть оксфордширских овец, каковых имелось несколько голов,

вилась, словно льняные локоны ребенка. Изящные лестерцы были кудрявее их, однако менее кудрявы, чем котсуолды. Живописнее всех оказались эксмурцы, которых пригнали в этом году небольшим стадом. Их бело-черные морды, тяжелые темные рога и космы, свисающие со лбов, приятно выделялись на однообразном фоне.

Еще до того, как утро сменилось днем, все многотысячное овечье море поднялось на холм и растеклось по загонам, подле каждого из которых была привязана собака. Пересекавшие их тропинки скоро наполнились покупателями и продавцами, прибывшими из окрестных мест или издалека.

В другой части холма развертывалась совсем иная картина. Здесь ставили исключительной величины шатер из новейшей парусины. По мере того как стада переходили из рук в руки, пастухи, освободившиеся от своих обязанностей, обращали взоры на это сооружение и спрашивали о его назначении у одного из строителей, который, казалось, был всецело поглощен быстрым завязыванием замысловатых узлов. На вопросы он, не отрываясь от работы и не поднимая глаз, отвечал:

— Здесь будет представлять «Королевский кон-

ный цирк». Пиеса называется «Турпин[73] скачет в Йорк, или Смерть Черной Бесс».

Как только шатер был построен, бравурно грянул оркестр, и почтенную публику по всей форме оповестили о готовящемся увеселении. Черная Бесс стояла возле шатра, исполняя роль живой рекламы. Зазывалы пленяли умы и сердца проходивших мимо столь пылкими речами, что толпа зрителей не заставила себя долго ждать. Одними из первых к шатру приблизились Джен Когген и Джозеф Пурграсс, на тот день уволенные от работы.

— Что еще за охальник меня толкает! — взвизгнула в давке какая-то женщина, шедшая впереди Коггена.

— Да как же мне тебя не толкать, коли народ сзади давит! — укоризненно ответил Джен, обернувшись только головой, потому что тело его было зажато.

Сочувственного отклика не последовало, лишь звуки труб и барабанов эхом разнеслись в тишине. Толпа, возбужденная ими, сделала новый

---

[73] Примечания: 73

Дик Турпин (1705–1739) — известный конокрад, ставший героем народных песен, ярмарочных представлений и т. п. По легенде, Турпин однажды проскакал 200-мильный путь от Лондона до Йорка за одну ночь, загнав свою лошадь Черную Бесс. Это событие описано в популярном романе «Руквуд» (1834) Уильяма Харрисона Эйнсворта.

рывок, опять толкнув Пурграсса и Коггена на женщин, стоявших впереди.

— И как это можно, чтобы дамы от этаких охальников терпели! — вскричала одна из них, раскачиваясь, как камыш на ветру.

— Люди добрые! — воззвал Когген к толпе, напиравшей ему на лопатки. — Видал ли кто из вас другую такую неразумную женщину! Да провалиться мне на этом самом месте, если бы я не выбрался из этой давильни, будь на то моя воля! Пускай бы чертовы бабы одни тут оставались!

— Ты полегче, Джен! — умоляюще прошептал Пурграсс. — Не ровен час ихние мужья нас прикончат, потому как я по глазам вижу: они из дурной части женского рода.

Когген прикусил язык, словно из желания угодить другу. Вскоре они оба приблизились к ступеням помоста, и Джозеф, сплющенный, как картонный дергунчик, протянул входную плату — шестипенсовик, нагретый за полчаса в судорожно сжатом кулаке. Набеленная особа в блестящем платье и медных кольцах со стеклянными бриллиантами приняла монету и тут же бросила, боясь, что ей нарочно хотят обжечь пальцы.

Наполненный людьми шатер, если смотреть

снаружи, стал весьма похож на мешок с картофелем: парусина покрылась бесчисленными буграми, которые в действительности представляли собою не что иное, как головы, спины и локти теснящих друг друга зрителей.

Позади большого шатра стояли две палатки для переодевания. Та, что предназначалась артистам мужеского пола, разделена была занавеской на две половины, и в одной из них, сидя на траве, натягивал ботфорты молодой человек, в котором мы без труда узнали бы сержанта Троя.

Расскажем вкратце о том, как он сюда попал. На бриге, подобравшем его близ Бадмута, не хватало рук, и он, прочтя судовой устав, нанялся. Перед отплытием корабля шлюпка побывала в Лалвиндской бухте: одежды, как можно было ожидать, там не оказалось. Прослужив некоторое время матросом, Трой скопил на билет до Соединенных Штатов, где вел кочевую жизнь, давая уроки гимнастики, фехтования или бокса. За несколько месяцев такое существование успело ему опротиветь. Его натуре была присуща своеобразная животная форма утонченности: новизна казалась ему приятной до тех пор, пока не кончались деньги, после чего тотчас начинала вызывать отвращение. Вскоре Трой стал вспо-

минать о том, что в Англии, на уэзерберийской ферме, его ждут удобства домашней жизни. Стоит лишь возвратиться и заявить о своих правах. Нередко он задумывался о том, считает ли Батшеба, что он погиб.

Вернуться в Англию Трой решился, однако по мере своего приближения к Уэзербери все сильнее и сильнее колебался в намерении войти в прежнюю колею. Сходя на берег в Ливерпуле, он понял, что ему едва ли стоит рассчитывать на теплый прием. Эта мысль тотчас повергла Троя в уныние: его чувства большею частью представляли собою ощущения, овладевавшие им с внезапностью судорог. Временами они доставляли ему не меньшее беспокойство, чем могут доставлять человеку сильные и здоровые переживания. Он сознавал: Батшеба не из тех женщин, которые позволят себя дурачить, и не из тех, которые станут молча страдать. Каково будет жить с рассерженной женой в ее доме на ее хлебе? Если же она потеряет или уже потеряла свою ферму, то бремя заботы об их пропитании ляжет на него. И что же он тогда получит? Жизнь в нищете с тенью Фэнни, которая будет неизменно стоять между ним и женой, терзая его чувства и наполняя горечью ее слова!

Итак, удерживаемый смешанным чувством отвращения, сожаления и стыда, Трой день ото дня откладывал возвращение домой и отказался бы от этой идеи вовсе, если бы нашел другое место, где можно жить так же — на всем готовом. В июле, за два месяца до гринхиллской ярмарки, он встретил на окраине одного северного города бродячий цирк и показал директору свои умения, укротив норовистую лошадь, а затем на полном скаку выстрелив с ее спины в яблоко, подвешенное на нитке. За этот и другие фокусы, овладению которыми Трой был в большей или меньшей степени обязан своей драгунской выучке, его взяли в труппу, где он вскоре получил главную роль в пьесе о Турпине. Однако большой успех спектакля не воодушевил его. Работа циркача была для Троя только лишь возможностью выиграть несколько недель для размышлений.

Итак, в тот самый день муж Батшебы, не имея определенных планов на будущее, по беспечности оказался вместе с бродячим цирком на ярмарке в Гринхилле. Когда мягкое осеннее солнце стало клониться к закату, перед шатром разыгралась следующая сцена. Батшеба, привезенная на ярмарку своим подсобным работником Пурграссом, услыхала, как и все, что мистер

Фрэнсис, «великий заокеанский наездник», будет представлять Турпина. Она была отнюдь не так стара и обременена заботами, чтобы в ней не проснулось любопытство. Представление конного цирка, несомненно, являло собой самое значительное из всех ярмарочных зрелищ; другие увеселения выглядели в его тени как цыплята подле курицы. Публика уже набилась в шатер, и Болдвуд, целый день искавший повода заговорить с Батшебой, воспользовался сейчас ее одиночеством.

— Надеюсь, миссис Трой, торговля шла хорошо? — спросил он, превозмогая волнение.

— О да, благодарю вас, — ответила Батшеба, и на щеках ее возникли два розовых пятнышка. — Мне повезло: все стадо купили сразу же. Даже в загон вести не пришлось.

— Стало быть, теперь вы свободы?

— Да, только через два часа мне нужно встретиться еще с одним человеком. Иначе бы я уже уехала. А вы видели представление «Турпин едет в Йорк»? Он, этот Турпин, в самом деле жил, не так ли?

— Точно так. Помнится, Когген даже говорил, что какой-то его родственник близко знавал Тома Кинга, друга Турпина.

— Когген вечно рассказывает о своей родне всякие небылицы.

— Да, да, он таков. И все же Турпин — лицо невымышленное. Вы, полагаю, еще не видели пьесы?

— Нет. Когда я была моложе, меня в такие места не пускали. О, кажется, лошадь топочет! Какой крик поднялся!

— Должно быть, вывели Черную Бесс. Правильно ли я понимаю, миссис Трой, что вам хотелось бы посмотреть представление? Простите, если ошибаюсь, но я бы охотно достал для вас место. — Увидев, что Батшеба колеблется, Болдвуд прибавил: — Сам я не останусь. Я уже видел спектакль.

Батшебе в самом деле хотелось посмотреть представление, но войти в шатер без провожатого она опасалась. Обыкновенно в таких случаях ее выручал Оук — это было его неотчуждаемой привилегией. Однако он куда-то запропал.

— Если бы вы сначала заглянули и узнали, есть ли место, я бы, пожалуй, зашла на минутку-другую.

Очень скоро Батшеба появилась в шатре в сопровождении Болдвуда, который тотчас удалился, подведя ее к «заказному» месту — возвы-

шению со скамьей, накрытой красной тканью, и ковриком для ног. К своему смущению, Батшеба обнаружила, что все остальные зрители не сидят, а стоят по краям арены, откуда им открывается вдвое лучший вид за вдвое меньшие деньги. На нее, почетную посетительницу, одиноко восседающую на пурпурном троне, устремилось не меньше глаз, чем на клоунов и пони, блиставших своим искусством в центре круга. Турпин еще не выходил.

Батшеба решила, что, раз уж заплачено, нужно остаться и пользоваться положением. Она села поудобней, расправила юбки, заняв пустующие места справа и слева, и преобразила весь шатер своею горделивой женственностью. В толпе, теснившейся прямо перед ее возвышением, она скоро увидала красную шею Джена Коггена, а рядом с ним благообразный профиль Джозефа Пургграсса.

В шатре царил необычный полумрак. Полупрозрачный сияющий воздух осеннего вечера сообщал особую рембрандтовскую силу желтым лучам солнца, которые, проникая сквозь щели в холсте, струями золотой пыли пересекали голубоватую дымку под куполом и падали на противоположную стену, словно она была увешана

множеством маленьких ламп.

Решив произвести рекогносцировку перед выходом на сцену, Трой из своей уборной заглянул в прорезь, сделанную в занавесе, и тотчас увидел жену, которая, ни о чем не подозревая, восседала на почетном месте, как королева на рыцарском турнире. Трой, совершенно обескураженный, попятился: конечно же, грим скрывал его лицо, но голос Батшеба наверняка узнает.

Несколько раз в продолжение этого дня ему приходило в голову, что его может увидеть кто-то из жителей Уэзербери или соседних деревень. «Ну и пускай себе», — думал Трой, беспечно пренебрегая риском. И вот перед ним сидела Батшеба собственной персоной. В действительности эта картина оказалась настолько сокрушительней тех, какие рисовало воображение, что он понял, как необдуманно поступил, согласившись выступать на ярмарке.

Красота Батшебы вмиг развеяла то равнодушие, с каким Трой вспоминал родные места и их жителей. Он не ожидал, что эта женщина вновь сможет в мгновение ока обрести над ним власть. Уж не выйти ли ему на сцену, как ни в чем не бывало? Нет, этого Трой не мог. Осторожность требовала, чтобы он оставался неизвестным, а

кроме того, ему вдруг сделалось стыдно: красивая молодая жена, уже его презирающая, вероятно, станет презирать его еще сильнее, увидав, до какого положения он опустился. При этой мысли отставной сержант даже залился краской. Сейчас ему было, как никогда, обидно из-за того, что в свое время он поддался чувству отвращения к Уэзербери и теперь шатается по стране с бродячим цирком.

Однако в минуты растерянности Трой зачастую действовал ловчее, чем когда-либо. Он быстро отдернул занавеску, отделявшую его половину уборной от той, где пребывал владелец и директор цирка. В этот момент, правда, он был таковым лишь от пояса до пят, а верхней половиной своего тела уже успел преобразиться в индивидуума, известного под именем Том Кинг.

— Явился дьявол за своими денежками! — воскликнул Трой.

— Как так?

— Там, в зале, мой кредитор. Как пить дать схватит меня, подлец, едва я заговорю. Как же мне быть?

— Идти на сцену все-таки надо.

— Но я не могу!

— А мы не можем отменить пьесу.

— Тогда почему бы вам не сказать, что Турпин простудился и потерял голос, поэтому исполнит свою роль без слов?

Директор покачал головой.

— Вы как знаете, а я рта все равно не раскрою, — сказал Трой твердо.

— Дайте-ка подумать… — ответил директор, решивший, очевидно, что ведущего артиста труппы лучше не обижать отказом. — Вот как мы поступим: о вашей простуде я объявлять не стану. Вы просто молчите, и пускай все думают, будто так и надо. Здесь подмигните этак многозначительно, там тряхните головой поэффектнее. Никто ничего и не заметит.

Мысль, посетившая директора, оказалась недурна. Реплики Турпина были немногочисленны и не отличались пространностью, ибо суть представления заключалась не в словах, а в действиях.

Пьеса началась: в назначенную минуту Черная Бесс выскочила на травянистую арену под рукоплескания зрителей. Когда солдаты, преследующие Турпина, остановились у заставы и полусонный смотритель в ночном колпаке с кисточкой ответил им, будто не видал никакого всадника, Когген во всю мощь своей широкой

груди проревел: «Молодчина, Турпин!» Его рев разнесся по всей ярмарке, заглушив овечье блеяние, а Пурграсс только удовлетворенно улыбнулся: ему отрадно было видеть, что герой может запросто перемахнуть через шлагбаум, меж тем как враги, олицетворяющие неуклюжее правосудие, вынуждены стоять, ожидая, чтобы проезд открыли. Когда же дело дошло до сцены гибели Тома Кинга, Джозеф схватил Коггена за руку и со слезами на глазах прошептал: «Он ведь не взаправду его застрелил, Джен, а так только кажется!»

Наконец наступила развязка, и для того, чтобы унести тело верной Бесс, пригласили двенадцать добровольцев из зала. Пурграсс не мог не пойти. Увлекая за собою и Коггена, он воскликнул: «Теперь у нас будет о чем рассказать у старого Уоррена! Будет о чем поведать детям!» И действительно, много лет с того самого вечера посетители солодовни слушали историю Джозефа Пурграсса о том, как он, человек бывалый, однажды собственной рукой дотронулся до копыта Черной Бесс, лежавшей на щите, который он подпирал своим плечом. Философы говорят, что бессмертие представляет собою способность запечатлеваться в памяти людей. Если так, то в день гринхилл-

ской ярмарки Черная Бесс себя обессмертила — причем, вполне вероятно, не в первый раз.

Трой добавил к своему обычному гриму несколько штрихов, чтобы сделаться совершенно неузнаваемым. Выходя на арену, он все же испытывал тревогу, однако его опасения не оправдались. По окончании представления он облегченно вздохнул, не узнанный ни Батшебой, ни ее людьми.

Тем же вечером, уже при искусственном свете, давали еще одно представление. На сей раз Трой отважился произнести не слишком громко несколько реплик. Он как раз завершал последнюю из них, стоя на самом краю круга, когда заметил, что один из зрителей устремил острый взгляд на его профиль. Трой быстро отвернулся, узнав мошенника Пеннивейза — бывшего управляющего и заклятого врага Батшебы, который до сих пор слонялся по округе.

Сперва Трой решил не придавать этому особого значения и действовать по обстоятельствам. То, что Пеннивейз разглядел его черты под гримом, представлялось возможным, хотя и небесспорным. Подумав, как низко он падет в глазах жены, узнай она о теперешней его профессии, отставной сержант с новой силой ощутил нежелательность

разоблачения своего инкогнито. Даже если он решит не возвращаться домой, ему незачем делаться предметом сплетен. Он предпочел бы, оставаясь для всех мертвым, сперва разузнать, как идут дела на ферме, а уж затем принять решение.

Рассудив так, Трой вышел на разведку. Мудрее всего было бы отыскать Пеннивейза и, если удастся, поладить с ним. Трой надел пышную фальшивую бороду и отправился бродить по ярмарке. Уже почти стемнело, и «приличная» публика готовилась разъезжаться по домам в своих телегах и двуколках.

Самая большая палатка с закусками принадлежала хозяину трактира из ближайшего города. По общему признанию, в его заведении имелось все необходимое для обеда и отдыха, а он сам пользовался в округе репутацией столь же солидной, как его телосложение. Шатер подразделялся на закусочные первого и второго класса. Было также небольшое помещение для наиболее состоятельных гостей, отгороженное буфетною стойкой, за которой суетился сам хозяин в жилете и белом фартуке. Привычная ловкость его движений позволяла думать, будто он всю свою жизнь обслуживал посетителей именно здесь, в

этом шатре. Внутренний зал для избранных был обставлен столиками и стульями, имевшими при свечах вполне уютный и даже роскошный вид, дополняемый большим блестящим кипятильником, посеребренными чайниками и кофейниками, китайскими чашками и кексами с изюмом.

Остановившись у входа, рядом с цыганкой, которая жарила блинчики на маленьком костре и продавала их по пенсу за штуку, Трой заглянул в глубь шатра. Пеннивейза он не увидел, зато увидел Батшебу: она сидела в дальнем конце, за одним из столов для привилегированных персон. Обойдя шатер снаружи, Трой услыхал ее голос и еще один — мужской. Кровь прилила к его лицу. Неужели Батшеба до того забыла всякие приличия, что флиртует на ярмарке?! Или она уже не сомневается в смерти мужа? Стремясь найти ответы на эти вопросы, Трой извлек из кармана перочинный ножик, тихонько сделал в холсте небольшой крестообразный надрез и, отогнув уголки, получил отверстие размером с печатку для сургуча, заглянув в которое тут же отпрянул: голова жены оказалась в каких-нибудь десяти дюймах от его головы. Это было чересчур близко, а потому неудобно. Трой шагнул в сторону и

сделал еще один надрез, чуть пониже, за стулом Батшебы. Отсюда, из тени, он мог спокойно наблюдать за ней.

Она попивала чай из чашечки, которую держала в руке и которую, по-видимому, принес ей обладатель мужского голоса — Болдвуд. Батшеба сидела в расслабленной позе: откинувшись назад, она продавила плечом парусину холста и очутилась почти что в объятиях своего мужа. Трою пришлось даже чуть отстраниться, иначе она почувствовала бы тепло его груди. Как и несколькими часами ранее, перед спектаклем, он внезапно ощутил в душе некое движение. Батшеба была по-прежнему прекрасна и принадлежала ему. Однако эта гордая дева всегда, даже в пору влюбленности, смотрела на него сверху вниз. Теперь же, узнав, что муж стал бродячим артистом, она его просто возненавидит. Потому, если он надумает к ней возвратиться, ему следовало любой ценой хранить эту главу своей жизни в тайне от нее и от других обитателей Уэзербери, чтобы не стать для всего прихода посмешищем и не именоваться до скончания века Турпином. Прежде чем заявлять права на жену, надлежало вымарать последние несколько месяцев из собственной биографии.

— Не хотите ли, перед тем как ехать домой, выпить еще чаю, мэм? — спросил фермер Болдвуд.

— Спасибо, — отозвалась Батшеба, — мне пора уже отправляться. Возмутительно, что этот человек заставил меня напрасно прождать здесь допоздна! Если бы не он, я бы еще два часа назад уехала. Я и сюда-то не собиралась заходить. Чашка чая очень подкрепляет силы, но я не стала бы пить чай, если бы вы не предложили.

Трой не сводил глаз с ее щеки, освещенной переменчивым пламенем свечи, с белого лабиринта ее маленького уха. Батшеба достала кошелек, настаивая на том, чтобы самой заплатить за чай, и в этот самый момент в шатер вошел Пеннивейз. Трой затрепетал: его план сохранения собственной репутации оказался под угрозой. Он хотел было покинуть свой наблюдательный пост, проследовать за бывшим управляющим и выяснить, действительно ли тот его узнал, однако, услыхав последовавший разговор, понял, что уже поздно.

— Прошу прощения, мэм, — сказал Пеннивейз, — у меня есть сообщение, предназначенное только для ваших ушей.

— Сейчас я не могу вас выслушать, — холодно ответила она.

Было очевидно, что Батшеба с трудом выносит

этого человека. Он то и дело являлся к ней со всякими клеветническими сплетнями, надеясь вернуть себе ее доверие, отняв его у другого.

— Тогда я напишу то, что хотел сказать.

Пеннивейз склонился над столом, вырвал листок из старой записной книжки и каллиграфически вывел: «Ваш муж здесь. Я его видел. Ну и кто теперь в дураках?» Сложив записку несколько раз, он поднес ее Батшебе, но та не стала читать и даже не протянула руки. Тогда Пеннивейз бросил листок ей на колени, язвительно усмехнулся и отошел прочь.

По тому, как доносчик держался, Трой сразу же понял, что в записке говорится о нем, хотя и не сумел разобрать слов. Казалось, предотвратить разоблачение уже никак невозможно. «Проклятье!» — пробормотал Трой, прибавив несколько бранных слов, которые прошуршали в темноте, как дуновение злого ветра. Тем временем Болдвуд сказал, беря записку с колен Батшебы:

— Позвольте, миссис Трой, я это уничтожу, если вы не будете читать.

— Ах, — промолвила Батшеба небрежно, — может, и следовало бы прочесть, но я и так догадываюсь, в чем дело. Он просит у меня рекомендательное письмо или хочет передать мне

какую-нибудь пакость про моих работников. Все это уж не раз было.

Болдвуд протянул Батшебе блюдо с бутербродами, и она, чтобы взять один, переложила записку из правой руки в левую, в которой до сих пор держала кошелек. Трою вдруг представилась возможность спасти положение, и он чутьем понял, что необходимо действовать. Опущенная рука жены почти касалась парусины шатра. Розовые подушечки изящных пальцев, голубые жилки на запястье, коралловый браслет — все это было хорошо знакомо Трою! Бросив на руку Батшебы еще один взгляд, он бесшумно приподнял нижний край палатки, натянутый довольно слабо, и, продолжая смотреть в отверстие, с быстротою молнии (ловкость и проворство составляли его главные достоинства) выхватил записку. Улыбаясь негодующему крику, который вырвался из груди Батшебы, он бросился сквозь темноту к крепостному валу, спустился в ров, пробежал около сотни ярдов по дну, затем вновь поднялся и медленным шагом смело вошел в шатер через главный вход. Теперь ему нужно было разыскать Пеннивейза и сделать так, чтобы Батшеба больше ничего не слыхала о нем, своем муже, пока он сам не пожелает перед ней появиться.

Войдя, Трой стал встревоженно озираться. По видимости, он не хотел обращать на себя излишнее внимание и потому не спрашивал собравшихся о Пеннивейзе. В эту минуту один мужчина рассказывал другому о том, как дерзкий вор пытался выхватить у молодой дамы кошелек, просунув руку под край шатра: очевидно, приняв листок бумаги, который женщина держала, за банкноту, негодяй дал стрекача, не взяв кошелька. Как же он, наверное, разозлился, поняв свою ошибку!.. Презабавный вышел анекдот!

О маленьком происшествии, наверное, узнали немногие, потому что рассказ не остановил ни скрипача, который наигрывал «Пляску майора Малли», ни четверых сгорбленных стариков, которые, держа в руках трости, пританцовывали без тени улыбки на серьезных лицах. Пеннивейз стоял за ними. Трой скользящей походкой пробрался к нему, кивнул и шепотом произнес несколько слов. Мужчины переглянулись, как видно поняв друг друга, и вместе вышли в ночь.

Глава LI
Батшеба говорит со своим провожатым

Когда молодая фермерша собралась ехать в Уэзербери, было решено, что повезет ее Оук, поскольку Джозефа Пурграсса вечером вновь поразила его всегдашняя болезнь, «двоение в глазах», вследствие чего он сделался малопригоден для роли возницы и защитника хозяйки. Габриэль, однако, был так занят заботами о нераспроданной части стада Болдвуда, что Батшеба, никому ничего не говоря, вознамерилась положиться на своего ангела-хранителя и отправиться в путь без всяких провожатых, ведь она не раз благополучно возвращалась одна с кестербриджского рынка. Но вышло иначе. В шатре с закусками ей случайно (так, во всяком случае, подумала она сама) встретился Болдвуд, и тут уж было неудобно ему отказать, когда он вызвался проводить ее верхом. Незаметно для Батшебы сгустились сумерки, однако сосед-фермер стал уверять, что причин для беспокойства нет: через полчаса взойдет луна.

Сразу же после происшествия в шатре Батшеба поднялась, чтобы уйти. Теперь она, крайне встревоженная, в самом деле была благодарна давнему своему вздыхателю за то, что он ее защитил, хотя и жалела об отсутствии Габриэля, чье общество представлялось ей и приятнее, и уместнее. Так или иначе, изменить положение она не могла и притом не хотела вновь причинить обиду Болдвуду, однажды уже обманутому ею.

Итак, ночное светило взошло, двуколку запрягли, и Батшеба стала спускаться с холма по извилистой дороге, ведущей будто во тьму забвения: луна заливала холм своим сиянием, а все, что было внизу, тонуло в непроглядной черноте. Болдвуд ехал следом. Когда холм остался за их спинами, шумы ярмарки зазвучали, как голоса свыше, а огни сделались похожими на костры небесного стана. Обогнав веселых гуляк, соседи миновали Кингсбир и выехали на большую дорогу.

Острое чутье подсказывало Батшебе, что чувство Болдвуда не ослабло. События вечера повергли ее в уныние, заставив вспомнить о совершенной ошибке, и она снова, как много месяцев назад, стала искать средства загладить свою вину. Сочувствие к угрюмому человеку,

продолжавшему любить себе на беду, сообщало голосу Батшебы несколько чрезмерную участливость, весьма похожую на нежность. Это давало новую силу изощренному воображению бедного Болдвуда, который мнил себя Иаковом на семилетней службе у отца Рахили.

Вскоре он нашел повод поравняться с Батшебою, и теперь их разделяло только колесо ее двуколки. Мили две или три они проехали при луне, отрывочно разговаривая о ярмарке, о хозяйстве, о том, как Оук полезен им обоим, и о других подобных предметах, после чего Болдвуд вдруг просто спросил:

— Миссис Трой, вы когда-нибудь выйдете замуж снова?

Совершенно сбитая с толку прямотою вопроса, Батшеба молчала более минуты и только потом ответила:

— Я еще не размышляла об этом всерьез.

— Понимаю. И все же со смерти вашего супруга прошел почти год…

— Вы забываете о том, что его смерть не вполне доказана. Может статься, он жив, а я вовсе и не вдова, — сказала Батшеба, пытаясь воспользоваться случаем, чтобы уйти от разговора.

— Смерть вашего мужа доказана если не прямо,

то косвенно. Человек видел, как он тонет. Всякий, кто в здравом уме, не может не считать его погибшим. И вы, мэм, я полагаю, не исключение.

— Верно. В противном случае я вела бы себя иначе, — произнесла Батшеба мягко. — Правда, поначалу у меня было такое странное чувство, будто он не мог умереть. Тогда я считала это ощущение необъяснимым, но теперь нашла объяснение, и даже не одно. И все же хотя теперь я и уверена, что больше его не увижу, я не думаю о новом замужестве. Иметь такие мысли было бы недостойно.

Воцарилось молчание. Батшеба и Болдвуд свернули на пустынную тропу, идущую через луг, и ничто не нарушало тишины, кроме скрипа седла и рессор. Через какое-то время Болдвуд опять заговорил:

— Помните, как в Кестербридже вы упали без чувств, и я понес вас в «Королевские доспехи»? На всякой улице бывает праздник. Тот день был моим.

— Да, да, я знаю, — торопливо проговорила она.

— Я всю жизнь буду жалеть о том, что в силу сложившихся обстоятельств вы не стали моей женой.

— Мне тоже очень жаль… — сказала Батшеба и тут же исправилась: — То есть… Я имею в виду… Мне жаль, что вы подумали…

— Для меня и удовольствие, и мука — вспоминать те прежние дни, когда я был для вас чем-то, а он еще ничем, и вы были почти моею. Но это, конечно, пустое. Я никогда вам не нравился.

— Вы нравились мне. И я вас уважала.

— А теперь?

— И теперь.

— Что?

— То есть как «что»?

— Я нравлюсь вам или вы меня уважаете?

— Не знаю. Нам, женщинам, нелегко выражать свои чувства при помощи языка, который мужчины создавали главным образом для себя. Я обошлась с вами бездумно, непростительно, зло! Целую вечность буду об этом сожалеть. Если бы я могла хоть как-то исправить ту ошибку, я исправила бы ее с радостью. Ничего другого в целом мире я не желаю так же сильно. Увы, это невозможно.

— Не вините себя. Вы были не так уж и неправы. Батшеба, если бы у вас имелись неопровержимые доказательства того, что вы та, кем являетесь, то есть вдова, вы исправили бы свою старую оплош-

ность, выйдя за меня замуж?

— Трудно сказать. Во всяком случае, сейчас еще не время.

— Но когда-нибудь вы могли бы?

— Когда-нибудь — да, могла бы.

— Если так, то известно ли вам, что при отсутствии новых доказательств вы имеете право повторно выйти замуж через шесть лет, считая с нынешнего момента, и никто не сможет вас осудить?

— О да, — быстро ответила Батшеба. — Но не говорите об этом теперь. Семь лет или даже шесть… Кто знает, где мы будем по прошествии такого срока?

— Время пролетит незаметно. Когда оглядываешься назад, прожитые годы кажутся поразительно короткими. Гораздо короче, чем представлялись нам, когда мы смотрели вперед.

— Да, это я поняла на собственном опыте.

— Выслушайте меня еще раз, — произнес Болдвуд умоляюще. — Если я буду ждать, потом вы выйдете за меня? Вы говорите, что чувствуете себя передо мною виноватой. Так пусть это будет вашим искуплением.

— Мистер Болдвуд, шесть лет…

— Вы хотите стать женою кого-то другого?

— Отнюдь! То есть сейчас я не хочу говорить о таких предметах. По-моему, это дурно, и я не должна вам отвечать. Давайте оставим этот разговор. Мой муж, как я уже сказала, может быть жив.

— Хорошо, оставим, если вы желаете. Но в том, чтобы вам подумать о замужестве, ничего дурного нет. Я мужчина средних лет и готов оберегать вас до конца моих дней. С вашей стороны нет страсти, нет предосудительной спешки. С моей, положим, есть. Но если вы из сострадания или, по вашему собственному выражению, из желания исправить ошибку заключите со мною соглашение на шесть лет вперед, вас не в чем будет упрекнуть. Вместе с тем эта договоренность все решит между нами, и я смогу ждать счастья, хотя бы и позднего. Разве я не первый из тех, кто стоит подле вас? Разве однажды вы не были почти моею? Разве вы не готовы вернуться ко мне, когда позволят обстоятельства? Прошу вас, Батшеба, дайте мне обещание — всего лишь маленькое обещание — выйти замуж снова, выйти за меня!

Болдвуд говорил так возбужденно, что в какой-то момент Батшеба почти испугалась его, не теряя к нему сочувствия. Слишком хорошо помня ту вспышку гнева, которая случилась с ним

однажды на Йелберийской дороге, и не желая ее повторения, она встревоженно промолвила:

— До тех пор, пока вы желаете на мне жениться, супругою другого я не стану, что бы ни случилось, но сказать больше… Вы заговорили со мною об этом так неожиданно…

— Ответьте попросту: через шесть лет вы будете моею женою? Непредвиденные случаи не в счет. Понятно, что всякое может произойти. Однако вы, я уверен, на этот раз свое слово сдержите.

— Потому-то я и не спешу его давать.

— Прошу вас! Вспомните о прошлом и будьте ко мне добры!

Батшеба вздохнула и горестно произнесла:

— О, что же мне делать?! Я не люблю вас и, боюсь, никогда не полюблю так, как жена должна любить мужа. Ежели вы, сэр, зная это, можете быть счастливы моим обещанием выйти за вас через шесть лет при условии, что мой супруг не вернется, то тем самым вы оказываете мне большую честь. Но если вы готовы принять такого рода дружеский жест от женщины, которая уже не уважает себя, как прежде, и почти утратила способность любить, тогда почему…

— Обещайте!

— Я подумаю и скоро вам отвечу.

— «Скоро» означает «никогда»?

— Ах нет, «скоро» значит «скоро». Скажем, в Рождество.

— В Рождество… — повторил Болдвуд и, помолчав, прибавил: — Будь по-вашему. До тех пор я больше об этом не заговорю.

Настроение, охватившее Батшебу, свидетельствовало о том, что душа есть полнейшая раба тела. Состояние неосязаемого духа определяется состоянием осязаемой плоти. Скажем без преувеличения: давление некоей силы, более мощной, чем ее собственная воля, принуждало Батшебу не только дать обещание касательно того, что было так далеко и так неясно, но и видеть в этом принуждении веление долга. Время шло, и чем меньше недель оставалось до Рождества, тем сильнее становилась ее тревожная растерянность.

Однажды вышло так, что между ней и Габриэлем состоялся до странности доверительный разговор, принесший Батшебе некоторое облегчение, однако не принесший ни радости, ни бодрости. Занимаясь проверкою счетов, хозяйка и управляющий случайно упомянули о чем-то в связи с Болдвудом, и Оук сказал:

— Он никогда вас не забудет, мэм. Никогда.

Батшеба и сама не заметила, как поведала Габриэлю о своем затруднительном положении. О том, что Болдвуд сделал ей вопрос и ждет ответа.

— Полагаю, мне следует непременно сказать «да», — печально заключила она. — Мне кажется, если я ему откажу, он лишится рассудка.

— Вы так думаете? — мрачно спросил Габриэль.

— Да, — ответила Батшеба, продолжая говорить в духе безрассудной откровенности. — Господь свидетель: я чрезвычайно встревожена и огорчена, оттого что, как мне представляется, держу в своих руках будущность этого человека. От меня зависит его дальнейшая судьба. О Габриэль! Я трепещу от такой ответственности! Это ужасно!

— Мое мнение, мэм, — проговорил Оук, — таково же, каким было прежде. Без мечтаний о вас жизнь мистера Болдвуда сделалась бы пуста. И все же я не могу себе представить… Я надеюсь, что из этого не следует ничего столь страшного, как вы воображаете. Он, знаете ли, от природы человек темный и странный. Однако, коли все и впрямь обстоит так печально, почему бы вам не дать ему условного обещания?

— Но будет ли это правильно? В прошлом я уже совершала ошибки и теперь знаю: если

женщина живет у всех на виду и хочет, чтобы ее хоть немного уважали, она должна быть крайне осторожна. Я боюсь поступить неосмотрительно! Шесть лет… Даже если мистер Трой не вернется, хотя его возвращение не исключено, по прошествии такого срока мы все, вероятно, будем уже лежать в могилах. Безумие какое-то. Не представляю, как он только мог додуматься до таких вещей… Не поступлю ли я дурно, Габриэль? Вы старше меня…

— Восемью годами, мэм.

— Да, восемью годами. Так не будет ли это нехорошо?

— Вероятно, мужчины и женщины нечасто заключают между собою такие соглашения, но ничего дурного я не вижу, — медленно проговорил Оук. — Если и приходится сомневаться в том, следует ли вам выходить за него замуж при каких бы то ни было условиях, так из-за отсутствия с вашей стороны особого расположения к нему…

— Да, я не люблю его, — отрезала Батшеба. — Для меня любовь — к нему ли или к кому другому — дело давно прошедшее. Жалкая изношенная вещь.

— Тогда, по-моему, вы без боязни можете заключить то соглашение, о котором вас просят.

Когда бы в вашей душе горело пламя и неопределенность обстоятельств смерти вашего мужа была бы для вас мучительным препятствием, тогда, возможно, вам следовало бы поостеречься. Но хладнокровно заключить с человеком такое желанное для него соглашение — это другое. Подлинный грех, мэм, заключается, по моему разумению, в том, чтобы помышлять о браке с мужчиной, которого вы не любите честной истинной любовью.

— За этот грех я и намерена понести кару, — сказала Батшеба твердо. — Знаете, Габриэль, я все никак не могу забыть того, что однажды глубоко ранила мистера Болдвуда по одной лишь праздной прихоти. Если бы не эта злая шутка, он, быть может, никогда и не захотел бы жениться на мне. Ах, до чего я жалею о том, что не могу очистить душу, заплатив за причиненный ему ущерб крупной суммой денег! Увы, есть только один способ погасить этот долг, и мне кажется, я обязана сделать все возможное, не думая о собственном будущем. Если повеса проигрывает в карты наследство, которого еще не получил, это не освобождает его от необходимости платить. Я была повесой. Теперь закон, в глазах которого мой муж всего лишь пропал без вести, а также

мои собственные сомнения не позволяют мне повторно выйти замуж, пока не пройдет семь лет. Я спрашиваю вас лишь об одном: вольна ли я вообще думать о замужестве, хотя бы оно даже было для меня наказанием (именно таковым оно и будет)? Мне отвратительна мысль о том, чтобы стать чьей-то женой при таких обстоятельствах, и отвратителен тот сорт женщин, к которому я, по видимости, сама буду принадлежать, если так поступлю!

— На мой взгляд, тут все зависит от того, считаете ли вы, как считают все вокруг, что ваш муж погиб.

— Да, в этом я давно перестала сомневаться. Я превосходно понимаю: будь он жив, он давно бы уже вернулся. И я знаю зачем.

— В таком случае вы в полном праве думать о замужестве. В религиозном смысле вы ничем не отличаетесь от вдовы, схоронившей мужа год назад. Почему же вы у мистера Тердли не спросите, как вам быть с мистером Болдвудом?

— К пастору я не пойду. Мне нужен совет человека широкого ума, а не того, кто обязан судить о таких делах по роду своих занятий. Я скорее спрошу священника о законе и праве, адвоката — о лечении болезней, доктора — об управлении

фермой, а управляющего фермой, то есть вас, — о морали.

— А о любви…

— Себя саму.

— Боюсь, тут в ваших рассуждениях имеется изъян, — грустно улыбнулся Оук.

Батшеба не ответила. Вскоре она удалилась, сказав только:

— Доброго вам вечера, мистер Оук.

Она говорила с Габриэлем откровенно, не прося и не ожидая от него ничего сверх того, что он ей сказал. И все же в самой сокровенной глубине ее непростого сердца возникло едва ощутимое чувство, похожее на разочарование, причины которого Батшеба не хотела признавать. Оук ни разу вслух не пожелал, чтобы она была свободна и он сам мог на ней жениться. Ни разу не сказал: «Я точно так же, как и он, готов вас ждать». Именно его молчание и саднило, как укус насекомого. Хотя, заговори он, она, конечно, не стала бы слушать. Разве она не твердила, что такие мысли о будущем греховны? И разве Габриэль не слишком беден, чтобы объясняться ей в любви? Однако ж он мог бы по меньшей мере намекнуть на свои чувства и как бы в шутку осведомиться, дозволено ли ему о них говорить. С его стороны

это было бы мило, а может, и более того. А она бы ему показала, как благосклонно и неоскорбительно звучит порою женское «нет». Но дать хладнокровный совет, не сказав ни слова кроме того, о чем его спрашивали… Наша героиня весь вечер была этим раздосадована.

Глава LII
Скрещение путей

I

Пришел канун Рождества. Жители Уэзербери только и говорили, что о празднике, который устраивал у себя Болдвуд. Сами по себе праздничные рождественские застолья были делом не таким уж редким, но то, что устроитель именно Болдвуд, поразило селян сверх всякой разумной меры. Они едва ли удивились бы меньше, если бы в проходе собора состоялся крокетный турнир или почтенный судья вздумал вдруг представлять на сцене.

Праздник готовился на славу — в этом сомневаться не приходилось. Днем в лесу срубили большую ветку омелы и повесили ее в зале холостяцкого дома. Затем принесли охапки остролиста и плюща. С шести утра до обеденного часа на кухне в полную силу трещал огонь, его длинные языки лизали чайник, кастрюлю и трехногий котелок, как Седраха, Мисаха и Авденаго[74]. На открытом пламени приготовлялось

[74] Примечания: 74

Седрах, Мисах и Авденаго — иудеи, отказавшиеся поклоняться золотому истукану и за это брошенные вавилонским царем Навуходоносором в печь, но не сгоревшие в огне. Книга пророка Даниила, гл. 3.

мясо, обильно сбрызгиваемое жиром.

Из длинной залы, в которую выходила лестница, убрали все, что могло помешать танцам. В уже затопленный камин положили добрый кусок толстого ствола, который оказался до того велик и тяжел, что его никак не удавалось ни внести, ни вкатить. Двоим работникам пришлось сперва тащить бревно на цепях, а затем приподнимать рычагами.

И все же в доме не чувствовалось веселья, поскольку хозяин, человек совершенно неопытный в устроении празднеств, отнесся к делу с излишне серьезным усердием: вместо приятности во всем ощущалась давящая торжественность, все делалось без сердца, наемными людьми. Здесь словно витала какая-то тень, которая говорила, что происходящее противоестественно для этого места и живущего здесь одинокого человека, а потому и нехорошо.

II

Батшеба тем временем одевалась к празднику. По ее велению Лидди внесла в комнату два подсвечника и поставила их по бокам зеркала.

— Не уходи, Лидди, — сказала госпожа почти боязливо. — Я сегодня до глупости взволнована, а почему и сказать не могу. Не хотелось бы мне ехать на этот праздник, да деваться некуда. Я ни разу не говорила с мистером Болдвудом после осенней ярмарки, когда пообещала, что в Рождество встречусь с ним по одному делу, но я и не подозревала, как торжественно он обставит эту встречу.

— По мне, так надо ехать, — сказала Лидди, намеревавшаяся сопровождать свою госпожу, благо Болдвуд пригласил всех без разбору.

— Да, я появлюсь, конечно. Но ведь праздник устраивается в мою честь. Это меня и беспокоит, Лидди.

— Ах, мэм, неужто в вашу честь?

— Да. Причина я. Не будь меня, и праздника бы не было. Больше ничего объяснить не могу, да тут и объяснять-то нечего. О, зачем я только приехала в Уэзербери!

— Грех это — не радоваться своему достатку.

— Нет, Лидди. С тех пор как я приехала сюда, жизнь моя состоит из сплошных огорчений, и сегодня, по всей видимости, меня ждет еще одно. Ну а теперь принеси-ка мне черное шелковое платье и погляди, как оно на мне сидит.

— Неужто опять черное надеть хотите? Вы ведь уже четырнадцать месяцев вдовеете. В такой-то вечер не пора ли вам малость принарядиться?

— Разве это необходимо? Нет, я уж лучше оденусь по-прежнему. А то, если появлюсь в светлом платье, люди невесть что станут обо мне говорить. Решат, будто я веселюсь, хотя на самом деле я серьезна и печальна. Моя бы воля — никуда бы я не поехала. Ну да не бери в голову. Останься здесь и помоги мне закончить туалет.

III

Болдвуд в тот час тоже одевался. Портной, приехавший из Кестербриджа, подавал ему новехонький сюртук. Никогда еще фермер не был по части своего платья так придирчив, так капризен. Портной вертелся возле него, поправляя то талию, то рукав, то воротник, и впервые за долгие годы Болдвуд от этого не скучал. Прежде он называл чрезмерное внимание к одежде ребячеством, но теперь никакие философические соображения не мешали ему придавать складке на ткани такое значение, как если бы это было землетрясение в Южной Америке. Наконец Болдвуд выразил относительную удовлетворенность работой и уплатил по счету. Выходя, портной столкнулся в дверях с Габриэлем, явившимся для ежедневного доклада о состоянии дел.

— Ах, Оук, — сказал фермер, — сегодня на празднике я вас, конечно же, увижу? Приходите, повеселитесь. Я распорядился, чтоб не жалели ни денег, ни сил.

— Я постараюсь быть, сэр, но, наверное, приду не рано, — тихо ответил Габриэль. — Приятно видеть, как здесь все преобразилось.

— Да, признаюсь, я и сам сегодня настроен на праздничный лад. До того весел, что даже чуточку грущу: ведь вся эта радость скоротечна. К тому же слишком радужная надежда порой оказывается для меня предвестницей беды. Потому я зачастую бываю доволен своим угрюмством и боюсь собственной радости. Впрочем, это, верно, нелепо. Я чувствую, что нелепо. Быть может, наконец-то занимается мой день.

— Пусть он будет долог и светел.

— Спасибо вам, спасибо. Вся эта радостная суета зиждется на одной лишь надежде. Даже не на надежде, а скорее, на вере. Что-то, Оук, у меня руки немного дрожат. Не могу хорошо завязать на шее платок. Не поможете ли? Мне, знаете, в последнее время нездоровилось.

— Печально слышать, сэр.

— О, ничего серьезного. Постарайтесь, пожалуйста, завязать получше. Не носят ли сейчас какой-нибудь новый модный узел?

— Я не знаю, сэр, — ответил Габриэль упавшим голосом.

Болдвуд подошел ближе и, пока Оук завязывал ему шейный платок, разгоряченно продолжал:

— Может ли женщина сдержать свое слово, Габриэль?

— Может, если это не доставит ей неудобств.

— Точнее, даже не слово, а подразумеваемое обещание.

— За то, что женщина подразумевает, я отвечать не берусь, — сказал Габриэль с легкой горечью. — В ее замыслах больше дыр, чем в решете.

— Не говорите так, Оук. В последнее время вы становитесь циником. Отчего же? Мы с вами как будто поменялись местами. Я сделался молод и преисполнился надежд, а вы состарились и ничему не верите. Так может ли женщина сдержать слово, если обещала не выйти замуж сейчас, но обручиться, чтобы выйти замуж по прошествии определенного времени? Теперь вы лучше моего знаете противоположный пол. Ответьте мне.

— Боюсь, мое знание оценено вами слишком высоко. Однако сдержать такое обещание женщина может. Если искренно желает исправить прошлую ошибку.

— Пока еще дело до этого не дошло, но я думаю… я знаю, что скоро дойдет, — произнес Болдвуд порывистым шепотом. — Я поговорил с ней настойчиво: она, кажется, расположена проявить ко мне доброту и смотреть на меня как на того, кто станет ее мужем в далеком будущем. Этого

мне довольно. А чего еще я могу ожидать? Она знает, что женщина не имеет права выходить замуж, пока не пройдет семи лет после исчезновения мужа. А ее случай именно таков, ведь тела не нашли. Может быть, ее сдерживают соображения юридические, а может — религиозные. Так ли, иначе ли, сейчас она с неохотой говорит о замужестве. И все же она обещала — вернее, подразумевала, что обещает, — помолвиться со мною сегодня.

— Семь лет… — пробормотал Оук.

— Нет, уже нет! — нетерпеливо возразил Болдвуд. — Осталось пять лет, девять месяцев и несколько дней. Он исчез без малого пятнадцать месяцев тому назад. Что в этом такого странного, если люди договариваются пожениться чуть более чем через пять лет?

— Пока этот срок еще не прошел, он кажется долгим. Не стоит слишком полагаться на такие слова, сэр. Вас ведь однажды уже обманули. Может, теперь у нее и добрые намерения, но… Она молода.

— Обманули?! Никто меня не обманывал! — вознегодовал Болдвуд. — Тогда, в первый раз, она ничего мне не обещала, а значит, и не нарушала обещания! Если она даст согласие, то выйдет за

меня. Батшеба из тех женщин, которые держат свое слово.

IV

Трой сидел в кестербриджской таверне «Белый олень», за столом в углу. Он курил и потягивал из стакана дымящийся напиток. В дверь постучали, и вошел Пеннивейз.

— Видели его? — спросил Трой, указывая компаньону на стул.

— Кого? Болдвуда?

— Нет. Адвоката Лонга.

— Я ходил к нему домой, но его не было.

— Досадно.

— Пожалуй.

— И все же не пойму: если человека считали утонувшим, а он не утонул, какой с него спрос? Лично я к адвокату и не пойду. К чему он мне?

— Так, да не так. Кто изменил имя и все прочее, а теперь продолжает водить за нос жену и весь свет вместе с нею, тот мошенник. В глазах закона он завсегда подлец и завсегда бродяга, и за это его по головке не погладят.

— Ха-ха! Хорошо сказано, Пеннивейз! — воскликнул Трой, смеясь, однако в его голосе звучала некоторая тревога, когда он прибавил: — Вы мне лучше вот о чем скажите. Как думаете: между

нею и Болдвудом правда что-то есть? Жизнью клянусь, никогда бы не поверил! Как она, должно быть, меня ненавидит! Выяснили вы? В самом деле она его поощряла?

— Этого мне узнать не удалось. Он как будто впрямь по ней с ума сходит, а про нее сказать не могу. До недавних пор вовсе ничего слышно не было, а вчера стали говорить, будто она на праздник к нему едет. В первый раз, говорят, порог его переступает. После гринхиллской ярмарки они, если люди не врут, от силы двумя словами перекинулись. Верить ли, не знаю, да только она с ним, похоже, не больно любезничает. Держится этак холодно, без всякого участия. Это уж я знаю наверное.

— А я вот не так уверен… Она красива, верно, Пеннивейз? Признайтесь, что за всю свою жизнь вы не встречали более изысканного и роскошного создания. Клянусь честью, когда я увидел ее в тот день, я спросил себя: «Каким же надо быть болваном, чтобы по собственной воле оставить такую женщину?!» Но тогда проклятый цирковой ангажемент мешал мне к ней возвратиться, а теперь я, благодаренье небесам, свободен. — Несколько раз затянувшись табаком, Трой прибавил: — Какова она была вчера?

— По мне, так очень даже хороша. Мою ничтожную персону, правда, почитай и не заметила. Сверкнула взглядом в мою сторону надменно и больше на меня не смотрела. Все равно как я дерево без листов. Она сошла с кобылы поглядеть последнюю выгонку сидра из нынешнего урожая. От езды зарумянилась, дышала часто, и видно было, как грудь у ней вздымается и опадает, вздымается и опадает. Парни, которые яблоки давили, засуетились: мол, осторожно, мэм, не замарайте платья. А она им: «Ничего». Гейб принес ей на пробу свежего сидра, и стала она пить. Пила не по-людски, а через соломинку. Потом говорит: «Лидди, возьми несколько галлонов в дом. Сделаем вино». Я, сержант, был для нее все равно как какая-нибудь щепка в дровяном сарае!

— Надобно мне туда поехать и все самому разузнать. Да, непременно… А Оук по-прежнему первый человек на ферме?

— Похоже на то. Его еще и Болдвуд к себе нанял. Теперь он везде заправляет.

— Верно, непросто такому, как он, ладить с Батшебой?

— Про это я ничего не знаю. Знаю только, что она без него как без рук. Потому он и держится независимо. А у ней-то, кстати, имеются слабые

местечки. Только я туда добраться не сумел, черт подери!

— Ох, Пеннивейз, вам до нее как до небес. Уж лучше признайте. Она существо высшего разряда, совсем из другой материи сделана. Однако вы держитесь меня и никого не бойтесь. Ничего вам не сделает моя жена — надменное божество, амазонка, Юнона (так звали римскую богиню). Надо хорошенько во всем разобраться. Придется, кажется, немало похлопотать.

V

— Ну? Какова я сегодня, Лидди? — спросила Батшеба, в последний раз оправляя платье, перед тем как отойти от зеркала.

— Никогда прежде не видала, чтобы вы были так хороши. Разве только тогда, назад тому полтора года, когда вы, вся такая рассерженная, в кухню вошли и стали браниться за то, что мы о вас с мистером Троем говорили.

— Все, должно быть, подумают, что я вознамерилась покорить мистера Болдвуда, — пробормотала Батшеба. — Болтать об этом станут. Боюсь я идти. И не идти боюсь: этим я могу его ранить.

— Коли уж идти, то одеться проще вам никак нельзя. Проще только холщовый мешок. Сегодня вас не платье красит, а волнение.

— Не понимаю, что со мной творится. Мне то тяжко, то весело. Хотела бы я и дальше жить так, как прожила этот год: без надежд и без страха, без радости и без горя.

— А коли вы представите себе… только представите, будто мистер Болдвуд предлагает вам с ним убежать… Что бы вы сделали, мэм?

— Лидди, не смей говорить такое! — промол-

вила Батшеба сурово. — Подобных шуток я не потерплю. Слышишь?

— Прошу прощения, мэм. Просто я знаю, до чего мы, женщины, чудной народ, и потому сказала… Но больше не буду.

— Я, может, и вовсе замуж не выйду, а если и выйду, то через много лет и отнюдь не по той причине, которая у тебя и у других на уме. Подай пальто. Пора ехать.

VI

— Оук, — сказал Болдвуд. — Пока вы не ушли, я хочу говорить с вами об одном деле, о котором часто думал в последнее время. Это касается вашей доли в доходах фермы. Доля эта мала, слишком мала, ежели учесть, что я в последнее время так мало занимаюсь делом, а вы, напротив, отдаете ему столько времени и столько труда. Теперь жизнь, кажется, улыбается мне, и я хочу поделиться с вами своей удачей, увеличив вашу долю прибыли. Я набросаю документик, который, как мне думается, мог бы скрепить наше новое соглашение. В будущем я хотел бы совершенно удалиться от дел, и, ежели вы согласитесь принять все на свои плечи, я стану вашим, так сказать, пассивным компаньоном. Если я на ней женюсь, а я надеюсь, я чувствую, что женюсь, то…

— Прошу вас, не будем об этом, сэр, — поспешно произнес Оук. — Мы ведь не знаем, как что сложится. Впереди вас могут ждать огорчения. Не говори гоп, как в народе сказывают. Вы уж мне простите, я бы вам не советовал слишком обнадеживаться.

— Да, да. Но вашу долю увеличить я хочу потому, что знаю вас, Оук. Мне стал немного известен ваш секрет: она интересна вам не только как хозяйка управляющему. Однако вы ведете себя мужественно, и я, в некотором роде счастливый соперник (чем отчасти обязан вашему благородству), хочу показать, что ценю вашу дружбу, поскольку понимаю, как это для вас нелегко — оставаться мне другом.

— О, этого, право, ненужно, — торопливо проговорил Оук. — Спасибо вам. Я должен привыкнуть к такому моему положению. Другие привыкают, и я смогу.

И Габриэль вышел. В последнее время он испытывал неловкость в присутствии Болдвуда, потому что снова видел, как сильно тот изменился под действием никогда не угасавшей страсти.

Фермер между тем остался в комнате один, готовый принимать гостей. Его обеспокоенность собственным внешним видом постепенно прошла, сменившись глубокой серьезностью. Он поглядел в окно: очертания деревьев смутно вырисовывались на фоне неба, сумерки густели. Подойдя к шкафу, Болдвуд достал из запертого ящика маленькую круглую коробочку и хотел было сразу положить ее в карман, но, помедлив,

открыл крышку. Внутри лежало женское кольцо, сплошь усеянное маленькими бриллиантами. По всей видимости, оно было приобретено совсем недавно. Болдвуд долго не отводил глаз от сверкающей вещицы, однако лицо его свидетельствовало о том, что любуется он вовсе не блеском металла, а картинами будущей истории этого украшения.

Послышался шум колес. Болдвуд закрыл коробочку, бережно убрал ее в карман и вышел на лестницу. Внизу тотчас показался старый слуга, выполнявший разнообразные поручения по дому.

— Гости пожаловали, сэр! Много их: кто пеший, а кто на возу приехал!

— Сейчас иду. Я слышал, как подкатил чей-то экипаж. Это не миссис Трой?

— Нет, сэр, ее покамест нету.

Болдвуд вновь придал своему лицу выражение мрачной сдержанности, однако оно едва ли скрыло то, что он чувствовал, произнося имя Батшебы. Пальцы, которыми он быстро перебирал, спускаясь по лестнице, также выдавали его горячечное волнение.

VII

— Ну как? — спросил Трой Пеннивейза, застегивая плотное серое пальто допотопного покроя: с пелериной и воротником, который был тверд, как крепостная стена, и доходил почти до фуражки, надвинутой на самые уши. — Уж в этом меня точно никто не узнает.

Пеннивейз снял нагар со свечи и придирчиво оглядел Троя.

— Все-таки решились ехать?

— Решился ли я? Еще бы!

— Не лучше ли ей написать? В щекотливое положение вы себя ставите, сержант. Стоит вам вернуться, все непременно всплывет, и вид вы будете иметь не самый лучший. Ей-богу, на вашем месте я бы оставался тем, кто вы есть сейчас — холостым человеком по фамилии Фрэнсис. Хорошую жену иметь хорошо, но чересчур хорошую — хуже, чем никакой. Такое вот мое мнение, а я прослыл в этих краях башковитым малым.

— Не говорите ерунды! — сердито отрезал Трой. — Вот она с кучей денег, вот дом, ферма и все удобства, а вот я — искатель приключений, с хлеба на воду перебиваюсь… да и поздно уже

говорить. Сегодня меня видели и узнали, чему я даже рад. Я бы возвратился на следующий же день после ярмарки, если бы не возникли вы и не стали пороть всякую чушь о законе и о раздельном жительстве. Больше откладывать нельзя. И какой дьявол меня надоумил отсюда бежать? Ума не приложу! Дурацкие сантименты — вот что это было. Но откуда мужчине знать, что жена будет так спешить отделаться от его фамилии?

— Я бы этому не удивлялся. От нее всего ждать можно.

— Не забывайте, с кем говорите, Пеннивейз!

— Я только хочу сказать, сержант, что на вашем месте я бы ехал обратно за границу, пока не поздно. Не стал бы я ничего затевать, рискуя приобрести дурную славу, затем только, чтобы снова жить с женой. Всплывет наружу ваше актерство, и вы это знаете, хотя и говорите наоборот. Объявиться теперь, в разгар пирушки! Чем хотите клянусь: тот еще поднимется шум!

— Да уж. Если Батшеба сейчас у Болдвуда, то я, надо полагать, буду там не самым желанным гостем, — ответил Трой с легкою усмешкой. — Во-

ображаю себя этаким Алонсо Отважным![75] Едва я войду, гости в ужасе остолбенеют, смех стихнет, свет в зале сделается голубым, а черви... Уф, ну и жуть! Пеннивейз, позвони, чтобы принесли еще бренди. А то меня в самом деле дрожь берет. Ну-с, что там еще? Ах да, мне же нужна трость!

Пеннивейз ощущал всю сложность нынешнего своего положения. В случае примирения Троя с Батшебой ему надлежало не только заручиться покровительством мужа, но и вернуть себе благорасположение жены.

— Она в глубине души хорошая женщина, — произнес он дипломатически. — И порой мне думается, что у нее сохранилась симпатия к вам. Но разве можно знать наверняка? В чужую шкуру ведь не влезешь... Вы, сержант, конечно, поступайте как знаете, а я буду делать то, что вы велите.

— Так. Дайте-ка поглядеть, который час, — сказал Трой и, опорожнив стакан одним махом, поднялся. — Половина седьмого. Пойду не спеша и в девять буду уже там.

---

[75] Примечания: 75

Алонсо Отважный — заглавный герой поэмы Мэтью Грегори Льюиса, включенной им в готический роман «Монах» (1796); рыцарь, павший на поле брани и в виде истлевшего трупа явившийся в замок нового жениха своей невесты, чтобы забрать ее с собой в могилу.

Глава LIII
Concurritur – horae momento[76]

Перед домом Болдвуда стояли несколько мужчин. Лица их были обращены к дверям, которые то и дело открывались и закрывались, чтобы впустить или выпустить гостя либо слугу. Всякий раз при этом длинный прут света оставлял на земле золотистую полосу, в тот же миг погасавшую, после чего все вновь погружалось во тьму, и только фонарь тлел, как светляк, среди вечнозеленых веток, украшающих вход.

— Сегодня днем его видели в Кестербридже. Так парнишка сказал, — произнес шепотом один из собравшихся.

— Я верю. А почему бы и нет? Тела-то не нашли, — отозвался второй.

— Странная история, — прибавил третий. — Но она, хозяйка, точно ничего об этом не слыхала.

— Ни словечка.

— Так может, ему этого и не надобно.

---

[76] Примечания: 76

Concurritur — horae momento (*лат.*, букв. «Сходятся: в течение часа…») — цитата из начальных стихов «Сатир» Горация: «…лишь кинутся в битву с врагами // Час не пройдет — иль скорая смерть, или радость победы!» (I, 1, 7–8, пер. М.А. Дмитриева)

— Если он жив и скрывается поблизости, то, стало быть, замышляет недоброе, — заметил первый. — Жаль мне ее, бедняжку. Хлебнет она с ним горя.

— Да нет, он теперь тихо сидеть будет, — промолвил некий оптимист.

— Глупо она сделала, когда связалась с этим малым! Чем жалеть ее, вернее будет сказать, что так ей и надо: уж больно своенравна.

— Ну это ты зря! Какой с нее спрос? Разве может девушка разгадать мужчину? Коли все так, как мы думаем, то это наказанье потяжелее будет, чем ее вина… Эй, кто здесь?

Послышались шаги.

— Уильям Смоллбери, — отозвалась из темноты неясная фигура, подходя к собравшимся. — Черно сегодня, хоть глаз выколи. Переходил реку по бревну, чуть не свалился, хотя никогда прежде со мной такого не случалось. Есть ли тут люди Болдвуда? — Говорящий стал вглядываться в лица собравшихся.

— Да, все мы его работники. Повстречались здесь несколько минут назад.

— Ты никак Сэм Сэмуэй? Признал тебя по голосу. Ну что? В дом?

— Сейчас идем. А скажи-ка, Уильям, — прошеп-

тал Сэмуэй, — не слыхал ли ты одного странного разговора?

— Какого? Не про сержанта ли Троя, ребята? — ответил Смоллбери, тоже понижая голос.

— Ага. В Кестербридже его видели.

— Слышал. Только сейчас от Лейбена Толла. Да не верится мне. А вот, кажись, и сам Лейбен.

Шаги сделались громче.

— Лейбен?

— Он самый, — откликнулся Толл, подходя ближе.

— Слыхал еще что-нибудь?

— Нет.

— Мне думается, лучше нам помалкивать. Потому как если это неправда, чего хозяйку зря волновать? А ежели правда, то все равно от разговоров пользы не будет. Они беды не отвратят. Дай-то Бог, чтобы это оказалось вранье. Пускай себе Генери Фрэй и его дружки говорят об нашей госпоже что хотят, а мне она ничего дурного не сделала. Норовистая, рубит с плеча, не подумавши, однако смелости у нее не отнять, и лгать она не станет, как бы правда ей ни вредила. Мне не с чего хозяйке зла желать.

— Многие бабы помаленьку привирают, а она ни-ни. Это редкость. И ежели что дурное про тебя

думает, то прямо в лицо скажет. Не станет за глаза ругать человека.

Разговор иссяк. Каждый из мужчин погрузился в собственные размышления, и только шумы веселого праздника временами нарушали тишину. Но вот из дома хлынул поток света, и в ярком четырехугольнике дверного проема возникла знакомая фигура Болдвуда. Он закрыл дверь и медленно зашагал по тропинке.

— Хозяин, — прошептал один из собравшихся. — Давайте-ка притаимся. Тогда он пройдет мимо. Не то ему не понравится, что мы здесь торчим.

Не заметив людей у зарослей высокого кустарника, Болдвуд дошел до ограды, постоял немного, затем оперся о калитку и протяжно вздохнул. Работники расслышали его тихие слова, сказанные самому себе:

— Господи, только бы она пришла! Иначе этот вечер принесет мне одни мучения! О моя дорогая, любимая, зачем ты заставляешь меня томиться в ожидании?

Болдвуд замолчал. На несколько минут вновь воцарилась тишина, нарушаемая лишь отзвуками музыки и смеха. Затем послышался шум легкого экипажа, который ехал вниз по склону с

холма. Двуколка остановилась у ворот. Болдвуд поспешил обратно к двери, отворил ее и в лучах, осветивших тропинку, увидел Батшебу.

Ему удалось скрыть свои чувства под маской обыкновенной приветливости. Работники слышали, как фермерша, негромко смеясь, попросила извинить ее за опоздание. Болдвуд ввел гостью в дом, и дверь опять затворилась.

— Боже праведный! А я-то думал, у него эта блажь давно прошла! — воскликнул один из мужчин.

— Коли ты так думал, то ты, значит, совсем не знаешь нашего хозяина, — ответствовал Сэмуэй.

— Худо будет, если он поймет, что мы его слышали, — заметил третий из собравшихся.

— Зря мы раньше к нему не подошли и всего не выложили, — подхватил первый.

— Стало быть, дело грозит еще большей бедой, чем мы думали. Бедный мистер Болдвуд! Тяжело ему придется. Хотел бы я, чтобы Трой жарился… Прости мне, Господи, такие желания! И все-таки дрянь тот человек, который шутит с женой такие шутки. Как только он здесь появился, дела в Уэзербери под гору пошли. Теперь меня в дом ноги не несут. Заглянем сперва к солодовнику Уоррену, а, соседи?

Сэмуэй, Толл и Смоллбери, выйдя из ворот, направились в солодовню, а другие вошли в дом. Окно старого Уоррена, как всегда, было освещено. Трое друзей приблизились к его жилищу не с улицы, а со стороны сада. Вдруг Смоллбери, шедший немного впереди, остановился и прошептал:

— Тс-с-с! Глядите-ка!

В свете, который лился через стекло, они увидали, помимо плюща, увивавшего стену, человеческую голову.

— Подкрадемся поближе, — тихо сказал Сэмуэй.

На цыпочках подойдя к солодовне, друзья убедились в том, что сомнения их были напрасными: перед ними стоял Трой. Он заглядывал в окно, очевидно прислушиваясь к разговору между Оуком и Уорреном, чьи голоса доносились изнутри.

— Пирушка-то в ее честь, верно? — сказал старик. — Это только для виду веселье к Рождеству приурочили?

— Не могу сказать.

— Так оно и есть, ты уж мне поверь. Дивлюсь я на Болдвуда! Ну не дурак ли? В его-то годы сохнет по бабе, а ей и дела до него нет!

Увидав Троя, Сэмуэй, Толл и Смоллбери тихо удалились, как и пришли, через сад. Отойдя от

солодовни так, чтобы их не услышали, три друга, как один, остановились.

— Струхнул я немного, когда лицо его увидел, — признался Толл, тяжело дыша.

— Мне тоже не по себе стало, — ответил Сэмуэй. — Как нам быть-то?

— По моему разумению, это не наше дело, — пробормотал Смоллбери с сомнением.

— А то чье же? Это всехнее дело! — возразил Сэмуэй. — Хозяин того и гляди не по той дороге пойдет, да и хозяйка впотьмах блуждает. Надобно сейчас им все рассказать. Ты, Лейбен, лучше ее знаешь. Ступай и скажи, что у нас, мол, есть к ней разговор.

— Не гожусь я для этого, — забеспокоился Толл. — Пускай Уильям идет. Он старший.

— Я впутываться не желаю, — ответил Смоллбери. — Уж больно дело муторное. Вот увидите: с минуты на минуту он сам к ней явится.

— А ежели нет? Откуда нам знать? Ступай, Лейбен.

— Ну ладно, коли так надобно… — неохотно согласился Толл. — А сказать-то что?

— Просто попроси хозяина.

— Ой нет, я с мистером Болдвудом говорить не смогу. Лучше уж с хозяйкою.

— Хорошо, зови ее, — согласился Сэмуэй.

Когда Лейбен входил в дом фермера, веселый шум вырвался наружу, подобно волне, накрывшей собою пустынный берег. Едва дверь затворилась, все звуки пирушки вновь слились в приглушенное бормотание. Сэмуэй и Смоллбери стали ждать, временами поеживаясь от легкого ветра и оглядывая темные верхи деревьев, плавно колеблющиеся на фоне неба. Казалось, будто происходившее в доме нисколько не занимало приятелей. Один из них принялся было ходить взад-вперед, но вскоре остановился, решив, по-видимому, что для прогулки не время.

— Верно, Лейбен уже разыскал госпожу, — сказал Смоллбери, прерывая молчание. — Может, не захотела она с ним говорить?

Дверь открылась, и Толл вышел.

— Ну? — в один голос произнесли оба приятеля.

— Не стал я ее спрашивать, — пробормотал Лейбен. — Там народ из кожи вон лезет, чтобы разгуляться. Пока веселье как-то не от души идет, хотя все есть, чего только пожелать можно. Делайте со мной что хотите, а мне духу не хватило в конец праздник расстроить.

— Пойдемте-ка все вместе, — мрачно сказал

Сэмуэй. — Ежели случай подвернется, может, я с хозяином потолкую.

Перешагнув порог, друзья очутились в зале, которая и была избрана местом празднования, как самое просторное помещение в доме. Парни и девушки приготовлялись плясать. Батшебу это привело в растерянность: еще молодая и стройная, она в то же время ощущала гнет своего солидного положения. Подчас ей и вовсе казалось, что являться на праздник не следовало. Вместе с тем, не приди она, это было бы с ее стороны неучтивостью. В конце концов она выбрала средний путь, решив заехать на часок, а потом незаметно удалиться. Она дала себе обещание не танцевать, не петь и вообще не принимать в торжестве деятельного участия.

Проведя намеченный час в беседах и в наблюдении за веселящимися, Батшеба разрешила Лидди не торопиться, а сама стала собираться домой, зайдя в небольшую гостиную. Здесь, как и в главной зале, стены были украшены остролистом и плющом, ярко горел свет. Не успела Батшеба пробыть в уединении и минуты, как вошел хозяин дома.

— Миссис Трой, вы ведь еще не покидаете нас? Праздник только начался!

— Прошу меня простить, но я хотела бы уйти, — произнесла Батшеба с беспокойством в голосе, памятуя о своем обещании и зная, каких слов следует ждать от Болдвуда. — Поскольку еще не поздно, — прибавила она, — я пойду пешком, а возница и Лидди вернутся, когда пожелают.

— Я все пытался улучить минуту, чтобы поговорить с вами. Вы, должно быть, догадываетесь о чем, — сказал Болдвуд. Батшеба молча потупилась. Он с жаром продолжил: — Так вы согласны?

— На что? — шепотом произнесла она.

— Ах, снова вы хотите ускользнуть! Согласны ли вы дать мне обещание? Никто о нем не узнает, и я не стану вам навязываться, но только дайте мне его — ваше слово! Это будет своего рода деловое соглашение между людьми, не обремененными страстью. — Болдвуд понимал, что представленная им картина неправдива в отношении его самого, однако только такие рассуждения позволяли ему приблизиться к Батшебе. — Обещание выйти за меня замуж через пять лет и три четверти! Вы должны мне его дать.

— Я чувствую, что должна… коли вы требуете. Но я уже не та, какой была раньше… и я… несчастная женщина и не… не…

— Вы по-прежнему прекрасны.

Искреннее восхищение, подсказавшее Болдвуду эти слова, отметало всякую мысль о том, что они могли быть продиктованы желанием польстить Батшебе, дабы успокоить и покорить ее. И все же комплимент не имел успеха.

— С моей стороны нет никаких чувств, — пробормотала Батшеба тоном, доказывавшим правдивость этого признания. — Положение мое непросто, и мне не у кого спросить совета. Но я даю вам обещание, если так нужно. Даю вам его в счет погашения долга и, разумеется, при том условии, что я в самом деле вдова.

— Так вы станете моею женой через неполных шесть лет, считая с этого дня?

— Не давите слишком сильно. Ни за кого другого я не выйду.

— Назовите время, иначе обещание будет слишком расплывчато.

— Я не знаю! Прошу вас, пустите! — Грудь Батшебы стала тревожно вздыматься. — Мне страшно! Я хочу быть с вами справедливой, но притом мне кажется, что тогда я буду несправедлива к себе. К тому же я могу нарушить заповедь! Умер ли мой муж, неизвестно наверняка, и оттого я рискую совершить ужасное! Позвольте мне

спросить у адвоката, мистер Болдвуд, имею ли я право что-либо вам обещать!

— Скажите мне то, о чем я так прошу вас, моя дорогая, и оставим этот разговор. Нас ждут шесть лет блаженства, шесть лет любви, а потом женитьба… О Батшеба! Скажите же! — хрипло умолял Болдвуд, не в силах более удерживаться в границах простой дружественности. — Обещайте себя мне! Я этого заслуживаю, клянусь! Ведь никто и никогда не любил вас, как я! И ежели я сказал необдуманное слово и допустил излишнюю горячность, то, поверьте, дорогая, я не хотел вас огорчать. Если бы вы знали, как я страдал, вы бы и собаке такого не пожелали! Иногда я содрогаюсь оттого, что выказал вам свои чувства, а иногда жалею, что не могу выказать их в полной мере! Будьте же милосердны и дайте мне эту малость, ведь сам я готов отдать за вас всю мою жизнь!

Пронизанные светом оборки платья Батшебы трепетали — так сильно было ее смятение. Наконец слезы хлынули у нее из глаз.

— И вы не будете… больше давить на меня? Не будете ни о чем просить… если я скажу, что через пять или шесть лет… — произнесла она сквозь рыдания, когда обрела способность говорить.

— Да, я предоставлю всему идти своим чередом.

— Хорошо. Я выйду за вас через шесть лет, считая от этого дня, если мой муж не вернется и мы оба будем живы, — произнесла Батшеба с печальной серьезностью.

— Тогда примите это, чтобы скрепить наше соглашение. — Болдвуд подошел совсем близко и обеими руками прижал к своей груди ее руку.

— Кольцо? Нет, я не могу его принять! — воскликнула Батшеба. — Нельзя, чтобы о нашей договоренности кто-то знал! Быть может, это все дурно? И в обыкновенном смысле мы ведь вовсе не помолвлены! Не настаивайте, мистер Болдвуд, не нужно!

Не сумев отнять у него руку, она топнула, и в ее глазах опять заблестели слезы.

— Никаких сантиментов. Это просто знак того, что мы с вами заключили соглашение, — произнес Болдвуд более спокойным голосом, продолжая крепко сжимать руку своей любимой. — Ну давайте же! — И он надел ей кольцо.

— Я не могу его носить! — произнесла Батшеба, плача так, будто ее сердце разрывалось на части. — Какой безумный план! Я почти боюсь вас! Пожалуйста, я хочу домой!

— Только сегодня! Пусть оно будет у вас на пальце, пока длится этот вечер! Доставьте мне такую радость!

Батшеба опустилась в кресло и закрыла лицо носовым платком, хотя Болдвуд все не выпускал ее руки. Словно отчаявшись, она прошептала:

— Хорошо. Сегодня вечером я согласна его надеть, если вы так сильно этого хотите. Теперь пустите руку. Сегодня вечером я буду, буду его носить.

— И это станет началом приятного времени моего тайного жениховства, которое завершится свадьбой?

— Полагаю, да, раз вы настаиваете, — проговорила Батшеба, не имевшая более сил сопротивляться.

Болдвуд в последний раз сжал ее руку и выпустил.

— Теперь я счастлив. Да благословит вас Господь!

Он вышел и немного погодя, решив, что Батшеба, верно, уже в достаточной мере успокоилась, послал к ней одну из служанок. Скрыв, насколько это было возможно, следы слез, гостья в пальто и в шляпке сошла в сопровождении девушки вниз. Путь к парадной двери пролегал через

пиршественную залу, и Батшеба остановилась на лестнице, находившейся в углу, чтобы на прощанье окинуть взглядом собравшихся. В эту минуту никто не танцевал, музыка не играла. Работники, сидевшие в отведенном для них конце стола, о чем-то перешептывались, обмениваясь хмурыми взглядами. Болдвуд стоял у камина, поглощенный мечтами о том, что сулило ему полученное обещание, и, казалось, ничего вокруг не видел, однако даже он заметил странное поведение своих гостей и потому спросил:

— Чем вы так озабочены, друзья?

Один из мужчин обернулся и смущенно ответил:

— Лейбен Толл кое-что слышал, сэр.

— Какую-то новость? — спросил фермер весело. — Кто-нибудь женился, обручился, родился или умер? Говори, Толл. А то, глядя на тебя, можно подумать, будто случилось нечто в самом деле ужасное.

— Нет, сэр, никто не умер, — ответил Лейбен.

— Хотя лучше бы умер, — прибавил Сэмуэй еле слышно.

— Да в чем же дело, Сэм? — произнес Болдвуд немного резко. — Если есть что сказать, выкладывай, а нет, так заводи новый танец!

Сэмуэй подтолкнул Толла.

— Миссис Трой сошла. Коли ты с нею хотел говорить, то давай сейчас.

— Вы понимаете, о чем они ведут речь? — спросил Болдвуд у Батшебы, стоявшей на другом краю залы.

— Понятия не имею, — ответила она.

Раздался гулкий стук в дверь. Один из слуг тут же отворил ее и вышел на крыльцо, а затем, возвратившись, доложил:

— Спрашивают миссис Трой.

— Уже иду, — отозвалась Батшеба. — Правда, я не просила, чтобы за мною присылали.

— Это незнакомец, мэм.

— Незнакомец? — переспросила она.

— Проси его войти, — сказал Болдвуд.

Через секунду на пороге показался Трой, замаскированный до самых глаз, каким мы его видели ранее. Воцарилась зловещая тишина. Все воззрились на нового гостя. Те, кто уже слышал о вероятном возвращении отставного сержанта, тотчас узнали его. Те, кто не слышал, пришли в замешательство. Ничей взгляд сейчас не был обращен на Батшебу, которая стояла, прислонившись к перилам лестницы. Брови ее нахмурились, губы разомкнулись, лицо побледнело, темные глаза

неподвижно смотрели на вошедшего.

— Входите, входите же, незнакомец! — приветливо произнес хозяин дома, оказавшийся в числе тех, кто не узнал Троя. — Осушите вместе с нами рождественский кубок!

Незваный гость прошел на середину комнаты, снял шапку, опустил воротник пальто и прямо поглядел Болдвуду в лицо. Но и теперь тот не узнал человека, посланного Небом ему в насмешку. Человека, который однажды уже ворвался в его жизнь и похитил его счастье, а теперь возвратился, чтобы проделать это снова. Трой расхохотался и только теперь был узнан. Он повернулся к Батшебе. Невозможно ни вообразить, ни передать горестного смятения, овладевшего ею. Она бессильно опустилась на нижнюю ступеньку лестницы. Губы посинели и пересохли, неподвижные глаза глядели на Троя так, будто она спрашивала себя, не видение ли он.

— Батшеба, я пришел за тобой!

Она не ответила.

— Идем же со мной, идем!

Она чуть пошевелила ногой, но не встала. Трой подошел к ней и властно повторил:

— Идемте, мадам, или вы меня не слышите?

От камина донесся странный голос — такой

далекий и мрачный, словно он звучал из подземелья. Едва ли кто-либо из собравшихся сразу узнал голос Болдвуда.

— Батшеба, ступайте к мужу!

Она не пошевелилась: теперешнее состояние сделало ее неспособной к любой деятельности. Это был не обморок, а душевное оцепенение сродни недугу, который медики именуют *gutta serena*[77]: сознание Батшебы на минуту погрузилось в кромешную тьму, хотя внешний ее облик не изменился. Трой протянул к ней ладонь — она отпрянула. Раздраженный тем, что жена так явно его страшится, он схватил ее за руку и резко дернул. Возможно, это прикосновение причинило Батшебе боль, а возможно, оно само по себе внушило ей отвращение. Так или иначе, она, вывернувшись, вскрикнула. За этим криком, коротким и негромким, внезапно последовал оглушительный хлопок, гулко разнесшийся по зале. Дубовая перегородка вздрогнула от сотрясения. Все онемели. Помещение наполнилось серым дымом.

Недоуменные взгляды гостей обратились к

[77] Примечания: 77

Gutta serena (*лат.*, букв. «прозрачная капля»), или амавроз — полная или частичная слепота вследствие поражения сетчатки или зрительного нерва без видимых повреждений глаз.

Болдвуду, стоявшему у камина. За его спиной находилась подставка, предназначенная, как заведено в фермерских домах, для двух ружей. Когда Батшеба вскрикнула от прикосновения своего супруга, мучительное отчаяние сменилось на лице Болдвуда иным выражением: вены набухли, глаза вспыхнули безумным блеском. Он быстро обернулся, схватил одно из ружей, двуствольное, взвел курок и выстрелил в Троя. Тот упал.

Расстояние между стрелявшим и целью было так мало, что вся дробь, не рассеявшись, вошла в тело, как пуля. Упавший издал протяжный гортанный стон, мускулы его сократились, затем он вытянулся, расслабился и застыл.

Тем временем Болдвуд, полускрытый облаком дыма, производил новую манипуляцию с ружьем. Привязав к курку платок, он ногою направлял ствол на себя. Сэмуэй, который первым из всех заметил это и сумел преодолеть оцепенение, бросился к хозяину. Тот дернул за платок. Ружье выстрелило, но, благодаря проворству Сэма, успевшего ударом отвести дуло в сторону, поразило лишь потолочную балку.

— Все равно, — произнес Болдвуд, тяжело дыша. — Я приму смерть иначе.

Оттолкнув Сэмуэя, он подошел к Батшебе и

поцеловал ее руку. Затем надел шляпу, отворил дверь и вышел в темноту. Никто не подумал его остановить.

Глава LIV
После потрясения

Болдвуд вышел на дорогу и зашагал в сторону Кестербриджа. Спокойной размеренной походкой он миновал Йелберийский холм и мертвую равнину, затем поднялся на Меллстокский холм, пересек вересковую пустошь и незадолго до полуночи был уже в городе. Улицы опустели. Волнующиеся огни фонарей освещали только окна лавок, закрытые серыми ставнями, да белую мостовую, от которой гулко отдавались шаги Болдвуда. Повернув направо, он остановился перед массивною каменною аркой ворот, подбитых железом. Это был вход в тюрьму. При свете висячей лампы несчастный путник отыскал шнурок и позвонил. В открывшееся оконце показалось лицо привратника. Болдвуд подошел ближе, что-то тихо произнес. Через некоторое время появился еще один человек. Дверь открыли и через несколько мгновений закрыли за Болдвудом. С тех пор он более не бродил по белому свету.

К тому времени все селение Уэзербери уже было охвачено волнением. Едва ли остался хоть

один житель, не слыхавший о безумном поступке, коим Болдвуд положил конец веселью. Не считая присутствовавших на празднике, Оук узнал о трагедии одним из первых. Войдя в залу минут пять спустя после того, как ушел Болдвуд, он увидел ужасающую сцену. Мужчины стояли в совершенной растерянности, женщины жались к стене, как овцы в грозу. Батшеба сидела на полу, положив к себе на колени голову Троя, и одной рукой крепко держала его руку, а другой прижимала носовой платок к ране на груди, хотя кровь вовсе и не шла. Испытав потрясение, она вновь сделалась самою собой. Временное оцепенение прошло, и вернулась способность к действиям, которые теперь требовались.

Способность сохранять мужество в горе, к чему так часто призывают нас философы, в действительной жизни представляет собою редкость, потому-то все были поражены самообладанием Батшебы. Ее поступки, не только теперь, но и всегда, совпадали с убеждениями. Она редко рассуждала о том, чего не намеревалась осуществлять. Это была женщина, сделанная из той материи, из которой делаются матери великих людей. От ей подобных рождаются те, о ком злословят на званых чаепитиях, кого боятся ла-

вочники, но кто может снискать себе всеобщую любовь в тяжелые минуты.

Войдя, Оук тотчас увидел тело Троя, покоящееся на руках жены посреди просторной пиршественной залы.

— Габриэль, — произнесла Батшеба, обратив к вошедшему лицо, которое он узнал только по чертам, ибо оно утратило и цвет, и выражение. — Немедленно скачите в Кестербридж за доктором. Полагаю, необходимости уже нет, и все же поезжайте. Мистер Болдвуд застрелил моего мужа.

Произнеси Батшеба трагический монолог, он не прозвучал бы с такою силой, с какой прозвучали эти простые тихие слова. Услышав их, каждый из присутствовавших как будто очнулся. Разрозненные искаженные образы наконец-то сложились в глазах людей в единую картину.

Оук, не вдаваясь ни в какие подробности происшедшего, поспешно вышел, оседлал коня и ускакал. Лишь проехав более мили, он понял, что, пожалуй, лучше было бы послать кого-нибудь вместо себя, а самому остаться подле Батшебы. Как же Болдвуд мог совершить такое? В последнее время он ходил сам не свой: не следовало спускать с него глаз. Разразилась ли ссора? Как Трой оказался в фермерском доме? Какой эффект

произвело появление человека, которого все считали покоящимся на дне морском? Толки, бродившие по деревне, дошли до Габриэля и отчасти подготовили его к случившемуся, однако не успел он взвесить услышанное, как трагедия уже произошла.

Думать о том, чтобы отправить в город другого гонца, было поздно, и Оук продолжил путь. Когда до Кестербриджа оставалось около трех миль, бесчисленные вопросы, занимавшие его ум, помешали ему разглядеть широкоплечую фигуру путника, шедшего в ту же сторону вдоль темной изгороди.

Вследствие того, что Уэзербери отделяло от города немалое расстояние, время было позднее, а ночь выдалась темной, мистер Олдрич, доктор, вошел в дом лишь спустя более трех часов после рокового выстрела. Оук задержался в Кестербридже, поскольку обязан был сообщить о случившемся властям. Тогда он узнал, что Болдвуд уже явился в город и предал себя в руки правосудия.

Тем временем врач, войдя в залу, где случилось убийство, нашел ее темной и пустой. Только в задней половине дома, на кухне, ему удалось разыскать старика, который сказал:

— Она забрала его к себе, сэр.

— Кто? — спросил доктор.

— Миссис Трой. А мистер Трой был уже совсем мертвый.

Это сообщение поразило доктора.

— Она не имела права. Будет произведено дознание. Ей следовало ждать, пока ей скажут, что делать.

— Да, сэр. Люди говорили: «Вы бы, мэм, повременили. Пускай приедет человек, который знает, каков порядок». А она: «Нет мне дела до порядка. Пускай хоть все курунеры Англии сюда съезжаются, а я не позволю, чтобы тело дорогого мужа лежало тут брошенное и народ на него глазел».

Мистер Олдрич незамедлительно поднялся на холм. Первым живым существом, встретившим его в доме Батшебы, была Лидди, чья фигурка за последние несколько часов как будто стала еще меньше.

— Что уже сделали? — спросил врач.

— Не знаю, сэр, — ответила девушка, прерывисто дыша. — Это все моя хозяйка.

— Где она?

— С ним, сэр, наверху. Когда его внесли в верхний этаж, она сказала людям, что больше ничего не нужно. Они ушли, и тогда она велела мне

наполнить ванну, а потом сказала, чтобы я легла, потому что у меня больной вид. Она заперлась с ним и никому не позволила входить. Но я все-таки решила в соседней комнате остаться, на случай если занадоблюсь. Больше часа было слышно, как хозяйка ходит туда-сюда, хотя выглянула она только раз: за свечками. Прежние дотла догорели. Она велела дать знать, когда придет доктор или мистер Тердли, сэр.

Священник в сопровождении Оука явился в тот же момент, и трое мужчин под предводительством Лидди Смоллбери поднялись по лестнице. В доме было тихо, как в могиле. Приблизившись к двери хозяйской спальни, Лидди постучала. Послышался шорох платья, ключ повернулся в замке, и дверь приотворилась. Лицо Батшебы казалось спокойным, почти застывшим. Она походила на изваяние Мельпомены, в которое вдохнули немного жизни.

— Мистер Олдрич, наконец-то вы пришли, — произнесла Батшеба еле слышно и раскрыла дверь шире. — Ах, и вы здесь, мистер Тердли. Все сделано, и теперь всякий может на него смотреть.

Она вышла, пересекла площадку лестницы и исчезла в другой комнате. Пришедшие загляну-

ли туда, где теперь царила смерть: на комоде в глубине спальни горели свечи, освещая нечто прямое и длинное, завернутое в белую ткань. Вокруг все было аккуратно прибрано. Оук и священник остались ждать у порога, а доктор вошел. Выйдя через несколько минут, он сказал приглушенным голосом:

— Все и вправду уже сделано. Убитый раздет и, как полагается, облачен в саван. Подумать только, она ведь сущее дитя! У нее, должно быть, нервы стоика!

— Нет, только сердце жены.

Услыхав эти слова, произнесенные шепотом, мужчины обернулись: Батшеба стояла подле них. Словно в доказательство того, что проявленная ею стойкость возникла не сама собой, но явилась следствием усилия воли, она тихо упала, утонув в бесформенном ворохе собственной одежды. От нее более не требовалось сверхчеловеческого напряжения, и, стоило ей это осознать, силы тотчас иссякли.

Батшебу перенесли в соседнюю комнату. Врачебная помощь, уже ненужная Трою, понадобилась его вдове. Ее уложили в постель. Обморок не раз повторялся, что поначалу внушало доктору серьезную тревогу. Когда же он сказал, что жизнь

больной вне опасности, Оук покинул фермерский дом, а Лидди осталась в комнате Батшебы, где и провела долгие томительные часы той злосчастной ночи, слушая тихие стоны: «Это я виновата! Как мне теперь жить!? Боже, как жить?!»

Глава LV
Март. «Батшеба Болдвуд»

Перенесемся в месяц март, в ветреный день без солнца, без мороза и без росы. На Йелберийском холме, примерно на середине пути из Уэзербери в Кестербридж, собралось множество людей. Взгляды большинства из них то и дело обращались вдаль, на север. Толпа, состоявшая из нескольких копьеносцев, двух трубачей, а в основном из зевак, обступила экипажи, в одном из которых сидел шериф графства. Среди зрителей были уэзерберийцы, в том числе Когген, Пурграсс и Каин Болл. Они взобрались на площадку, выровненную для того, чтобы повозки могли переезжать гребень холма.

Через полчаса ожидания в той стороне, куда все смотрели, возникло облачко пыли. Вскоре тарантас, везущий одного из двух судей Западного округа, поднялся по склону и замер на вершине. Трубачи заиграли, изо всех сил раздувая щеки, судья переменил экипаж и в сопровождении шерифа и копьеносцев направился к городу. В отличие от других зевак, уэзерберийцы не

присоединились к процессии, а вернулись к прерванной работе.

— Ты, я видел, прямо-таки вплотную к карете подлез, — сказал Когген Пурграссу на пути к дому. — Приметил ли, какое было лицо у ихнего превосходительства судьи?

— Да, — ответствовал Джозеф. — Я поглядел на него этак в упор, словно всю душу мог наскрозь прозреть, и увидал в глазах милосердие. Точнее, в том глазу, что был с моей стороны. Нынче такой момент, когда только самую правду говорить следует, ничего не прибавляя.

— Я на лучшее надеюсь, — сказал Когген, — хотя дело, пожалуй, выглядит скверно. На суд я не поеду и другим нашим, кого в свидетели не вызвали, не посоветую. Он еще пуще растревожится, ежели увидит, что мы таращимся на него, будто в цирке.

— Вот и я утром так сказал, — согласился Джозеф. — «Правосудие явилось, чтобы взвесить его на весах, — говорю я этак сурьезно, — и ежели он будет найден легким, то по вине и будет ему»[78]. А малый, который рядом стоял, говорит: «Слушайте, люди! Все должны слушать того, кто так

---

[78] Примечания: 78

Перефразированная цитата из Книги пророка Даниила (5:27).

выражаться умеет!» Но об этом я толковать не хочу. Ибо мои слова — они только слова. Хотя слова иных мужей по всему свету расходятся.

— Верно, Джозеф. Остаемся дома, соседи.

Последовав этому указанию, все в напряжении ждали новостей следующего дня. Ближе к вечеру внимание уэзерберийцев привлекло открытие, пролившее больше света на поступок Болдвуда, нежели все подробности, обнаруженные ранее. Те, кто был к нему близок, знали о том, что еще со дня гринхиллской ярмарки он находился в состоянии странного возбуждения. Но никто не видел однозначных симптомов душевного расстройства, которое временами подозревали только лишь Батшеба и Оук. Теперь же в чулане, до сих пор запертом, было обнаружено поразительное собрание вещей: несколько штук дорогих тканей для дамских платьев (шелка и атласы, поплин и бархат всех цветов, какие могли понравиться Батшебе, ежели судить по ее гардеробу), две муфты (соболья и горностаевая), а также шкатулка с драгоценностями, содержащая четыре тяжелых золотых браслета, медальоны и кольца — все наивысшего качества и тончайшей работы. Эти вещи, купленные в разные дни в Бате и других городах, тайно доставлялись домой, тщательно

обертывались бумагой и снабжались ярлыком с надписью «Батшеба Болдвуд», а также указанием даты, которая должна была наступить лишь через шесть лет.

В солодовне Уоррена как раз говорили об этих довольно-таки трогательных свидетельствах умопомешательства от любви, когда вошел Оук, вернувшийся из Кестербриджа с известиями. Все красноречиво сказало его лицо, озаренное отсветом печи. Болдвуд признал себя виновным и был приговорен к смерти.

Между тем никто более не сомневался, что он не способен нести нравственную ответственность за свои поступки. Свидетельства, обнаруженные во время следствия, также на это указывали, однако их сочли недостаточным основанием для того, чтобы назначить Болдвуду психиатрическое освидетельствование. Теперь, поняв, в чем суть произошедшей с ним перемены, люди, знавшие его, припомнили множество фактов, которые нельзя было объяснить иначе, как сумасшествием. Разве мог Болдвуд, в частности, бросить под дождем все свои хлебные скирды, будь он душевно здоров?

Министру внутренних дел направили петицию, в которой излагались обстоятельства,

оправдывавшие просьбу о пересмотре приговора. Подписей оказалось меньше, чем обыкновенно бывает в подобных случаях: Болдвуд не имел обширного круга друзей в Кестербридже. То, что он нарушил заповедь «Не убий», показалось местным лавочникам закономерным, поскольку он и прежде пренебрегал важнейшими законами провинциальной жизни, а именно приобретал товары напрямую у фабрикантов, хотя Господь создал деревни для того, чтобы они снабжали города покупателями. По настоянию тех немногих сострадательных людей, которые приняли происходящее близко к сердцу, следствие узнало о недавно выясненных обстоятельствах. Были записаны показания, позволявшие надеяться на то, что преступление Болдвуда перейдет из разряда предумышленных убийств в разряд последствий душевной болезни.

В Уэзербери стали с нетерпением ждать ответа на петицию. По прошествии двух недель после вынесения приговора в восемь часов утра должна была состояться казнь. В пятницу после обеда ответ еще не пришел. Оук тем временем покинул здание тюрьмы, куда приходил проститься с Болдвудом. Не желая идти главными городскими улицами, Габриэль свернул в переулок. Дойдя до

последнего дома, он услыхал стук молотков и, подняв поникшую голову, обернулся: над трубами виднелась тюремная стена, залитая сочным предвечерним светом, и внутри было заметно движение — плотники ставили во дворе большой столб. Оук отвел глаза и быстро зашагал прочь. В Уэзербери он вернулся уже затемно. Половина деревни вышла его встречать.

— Вестей нет, — устало произнес Габриэль. — Боюсь, нет и надежды. Я пробыл у него больше двух часов.

— Как по-твоему, он в самом деле был не в себе, когда это сделал? — спросил Смоллбери.

— По правде говоря, не возьмусь утверждать. Но об этом мы поговорить успеем. Скажите лучше, как хозяйка?

— По-прежнему.

— Она спустилась?

— Нет. Сейчас ей немногим лучше, чем было в Рождество. Постоянно спрашивает, вернулся ли, мол, мистер Оук и есть ли новости. Мы уж устали отвечать. Сказать ей, что ты здесь?

— Не нужно. Еще не совсем все потеряно, но я, после того как его повидал, не мог больше в городе оставаться. Здесь ли Лейбен?

— Я тут, — отозвался Толл.

— Поступим так. Ты съездишь в город напоследок: отправишься около девяти, подождешь там, а к полуночи вернешься. Говорят, если до одиннадцати ответа не будет, то все кончено.

— Я очень надеюсь, что его помилуют! — воскликнула Лидди. — Иначе хозяйка тоже ума лишится. Бедняжка так исстрадалась! Заслуживает же она, чтобы ее пожалели!

— Сильно ли госпожа переменилась? — спросил Когген.

— Кто с Рождества ее не видел, тот теперь, пожалуй, и не узнает. Словно подменили женщину. Глаза сделались такие несчастные! Всего лишь два года назад веселая девушка была — и во что теперь превратилась!

Лейбен ускакал в город, как ему велели. В одиннадцать часов многие уэзерберийцы, в том числе Оук и почти все другие люди Батшебы, вышли на дорогу и стали ждать. В глубине души понимая, что Болдвуд должен умереть, Габриэль все же страстно желал, чтобы приговор смягчили: у фермера были такие качества, за которые Оук его любил. Наконец, когда все уже утомились ожиданием, послышался топот копыт: «во весь опор, едва живой, неверной озарен луной, назад

по улице ночной»[79] примчался всадник.

— Хороша ли весть или дурна, сейчас мы все узнаем, — сказал Когген, вместе с другими селянами сходя с насыпи прямо на дорогу.

— Лейбен, это ты? — спросил Габриэль.

— Да. Ответ пришел. Он не умрет. Казнь заменили заключением на срок, угодный Ее Величеству.

— Уррра! — вскричал Когген от полноты сердца. — Бог все-таки сильнее дьявола!

[79] Примечания: 79

В. Скотт. Мармион: Повесть о битве при Флоддене. Песнь третья. Перевод В.П. Бетаки.

Глава LVI
Красота в одиночестве. После всего

Весной Батшеба ожила. Когда все вопросы разрешились, стали крепнуть и ее силы, бывшие в полном упадке после болезни, которая явилась следствием пережитого. Тем не менее большую часть дня она, как и раньше, проводила одна — в доме или в лучшем случае в саду, сторонясь всех, даже Лидди, ни перед кем не изливая душу и не ища сочувствия.

С наступлением лета Батшеба стала чаще бывать на воздухе и по необходимости вникать в дела фермы, однако не возобновила прежнего обычая объезжать свои владения верхом. Однажды августовским вечером она вышла на дорогу и впервые после того, что случилось в канун Рождества, попала в деревню. К ней так и не вернулся румянец, как будто бы навсегда поблекший в тот роковой вечер, и теперь белизна ее лица, оттеняемая гагатово-черным платьем, выглядела почти потусторонней. Дойдя до лавчонки, стоявшей на дальнем краю Уэзербери, против церкви, Батше-

ба услыхала звуки музыки: певчие готовились к воскресной службе. Она пересекла улицу и вошла на кладбище: окна храма располагались высоко, и потому собравшиеся внутри не могли ее видеть. Крадучись, она направилась в тот уголок, где без малого два года назад трудился Трой, сажая цветы перед мраморным надгробием. Лицо Батшебы на миг оживилось: испытывая нечто вроде удовлетворения, она прочла надпись на камне. Сперва шли слова, высеченные по собственной просьбе ее мужа:

> Поставлено Фрэнсисом Троем
> в память о милой его сердцу Фэнни Робин,
> умершей 9 октября 18… года в возрасте 20 лет.

Ниже было приписано:

> Здесь же покоится прах вышеупомянутого Фрэнсиса Троя, умершего 24 декабря 18… года в возрасте 26 лет.

В храме снова заиграл орган. Все той же легкой поступью Батшеба обогнула угол и остановилась на крыльце. Сквозь закрытую дверь было слыш-

но, как хор разучивает новый гимн. В эти секунды душу Батшебы всколыхнули чувства, которые она считала давно умершими. Тоненькие ребячьи голоса отчетливо выводили стихи, смысл коих недоступен детскому уму: «Свет благой, веди тьмою объятого…»[80]

Чувства Батшебы всегда до некоторой степени определялись сиюминутными порывами: в этом она была похожа на многих других женщин. Сейчас что-то большое подступило к ее горлу, а затем и к глазам, и она решила позволить слезам пролиться, раз уж им так хочется. Они потекли, притом обильно. Заплакав, сама не зная отчего, Батшеба поддалась натиску мыслей, отнюдь для нее не новых. Роняя слезинки на каменную скамью, она желала любою ценой сделаться как те невинные дети, что поют гимн, не понимая слов. Перед мысленным взором в сгущенных красках проносились все события ее недолгой жизни. Даже то, к чему она прежде была равнодушна, теперь отзывалось болью. И все же эти слезы явились для нее скорее благодатью, нежели карой за прошлые грехи.

---

[80] Примечания: 80

Начальные слова гимна, написанного Джоном Генри Ньюменом (1801–1880), католическим кардиналом, сыгравшим важную роль в духовной жизни викторианской Англии.

Батшеба сидела, закрыв лицо руками, и не заметила того, кто тихо взошел на крыльцо, увидел ее и сперва хотел было уйти, но затем остановился и стал за ней наблюдать. Когда она по прошествии некоторого времени наконец подняла голову, все лицо ее было мокро, а глаза застилала слезная пелена.

— Мистер Оук! — воскликнула Батшеба смущенно. — Давно ли вы здесь стоите?

— Несколько минут, мэм, — почтительно ответил Габриэль.

— Вы в церковь?

Хор, словно подсказывая Батшебе слова, которые она могла отнести к самой себе, пропел: «Я любил яркий день и тщеславию отдавал мою волю во власть…»

— Да. Я, видите ли, в хоре с басами пою. Вот уже несколько месяцев.

— Не знала… Ну, так я вас оставлю.

«То, что было мне мило, утрачено», — пропели дети.

— Не уходите из-за меня, госпожа. Лучше я сегодня пропущу спевку.

— Ах нет, я ухожу не из-за вас…

Последовало неловкое молчание, в продолжение которого Батшеба пыталась незаметно для

Габриэля промокнуть заплаканное раскрасневшееся лицо.

— Я давно вас не видел. Вернее, не говорил с вами… — наконец произнес Оук, но, побоявшись воскресить в Батшебе тяжелые воспоминания, сам себя прервал: — Так вы хотели посетить храм?

— Нет, я приходила на могилу. Решила проверить, так ли вырезали надпись, как я просила. Мистер Оук, если вы желаете говорить со мною о том, о чем, полагаю, мы теперь оба думаем, то, пожалуйста, не беспокойтесь.

— Вы довольны работою резчика?

— Да. Можете взглянуть вместе со мной, если еще не видели.

И они вдвоем подошли к могиле. Прочитав дату, Габриэль пробормотал:

— Восемь месяцев минуло! А мне кажется, будто все случилось только вчера.

— А мне, наоборот, что прошло много лет. Много долгих лет. И все это время я была мертва. Теперь, мистер Оук, я пойду домой.

Габриэль пошел за ней.

— Я должен сказать вам кое о чем, — произнес он, поколебавшись. — Дело самое обыкновенное, по части хозяйства.

— Прошу вас, говорите.

— Возможно, скоро я принужден буду отказаться от управления вашей фермой. Дело в том, миссис Трой, что я собираюсь покинуть Англию. Не нынче, конечно, а весной.

— Покинуть Англию? — воскликнула Батшеба удивленно и с неподдельным разочарованием. — Но зачем, Габриэль, отчего?!

— Я подумал, так лучше будет, — ответил Оук, запинаясь. — Решил попытать счастья в Калифорнии.

— Но все полагают, что к вам перейдет ферма бедного мистера Болдвуда!

— Верно, мне предложили ее арендовать, однако ничего еще не решено, и я, наверное, отступлюсь. До конца года пробуду управляющим от опекунского совета — только и всего.

— Что же я стану без вас делать! О Габриэль, по-моему, вы не должны уезжать! Вы так долго были со мною, в счастливые времена и в тяжелые… Такие старые друзья, как мы с вами… Ах, это почти жестоко! Я надеялась, что вы, став арендатором соседней фермы, будете по-прежнему приглядывать и за моей. А вы уезжаете!

— Я бы охотно приглядывал…

— Однако покидаете меня! Да еще теперь, когда

я так беспомощна!

— Такова злая судьба, — сказал Оук с болью в голосе. — Именно из-за этой вашей беспомощности я и должен, как мне представляется, уехать. Доброго вам дня, мэм.

Разговор явно сделался Габриэлю в тягость, и он, торопливо произнеся последние слова, зашагал от церкви по той тропе, по которой его хозяйка ни под каким предлогом не могла за ним последовать.

Батшеба вернулась в дом, озабоченная новой бедой. То, что сказал ей Оук, не явилось сокрушительным ударом, однако очень встревожило ее, заставив очнуться от мрачного забытья последних месяцев. Теперь Батшеба всерьез задумалась о Габриэле и о том, почему он ее покидает. Ей вспомнилось множество мелочей, совершенно незначительных в отдельности, однако в совокупности недвусмысленно говоривших: с некоторых пор Оук явно сторонился своей хозяйки. С чувством запоздалой боли Батшеба поняла, что от нее бежит последний из тех, кто был ей предан. Тот, кто верил ей и стоял на ее стороне, даже когда весь мир был против, теперь утомился, как и другие. Позабыв о прошлом, он предоставляет ей продолжать борьбу в одиночестве.

Следующие три недели принесли новые доказательства того, как охладел Габриэль к своей госпоже. Прежде он входил в маленькую гостиную или в контору, где хранились счета, и ждал, пока хозяйка спустится, а когда началось ее добровольное заточение, оставлял записки. В последнее же время он либо вовсе не входил в дом, либо являлся в неурочные часы, рассчитывая на то, что не встретится с Батшебой. Если ему требовались указания, он писал ей кратко, без обращения и без подписи. Она была вынуждена отвечать в той же манере. Теперь бедную Батшебу все сильнее саднило неприятнейшее сознание того, что ее презирают.

Пока она предавалась такого рода невеселым размышлениям, осень угрюмо приблизилась к концу и наступило Рождество. Завершился первый год законного вдовства Батшебы, с тех же пор, как она стала жить одна, прошло уже два года с четвертью. Заглянув в собственное сердце, Батшеба, к немалому своему удивлению, поняла: то событие, воспоминания о котором должны сейчас ожить в ней с новой силой — трагедия, разыгравшаяся в пиршественной зале Болдвуда, — не волнует ее. Однако она терзалась от мысли, что по неведомой причине все от нее от-

реклись, а возглавляет этот исход Габриэль Оук.

Выйдя из церкви, Батшеба стала озираться в надежде его увидеть. Во время богослужения низкий голос Оука, долетавший с галереи, казался ей совершенно безучастным. Но, может быть, он по старому обыкновению проводит свою хозяйку до дому?.. Да, вот он показался. Однако, увидав, что она обернулась, Габриэль отвел взгляд и, едва выйдя из ворот, свернул на первой же развилке.

Следующим утром Батшеба получила тот удар, которого давно ждала: Оук письменно, по всей форме, известил ее о том, что отказывается от продления договора найма, срок коего истекает на Благовещение. Над этим письмом она горько расплакалась. После всего произошедшего безнадежная любовь Габриэля казалась Батшебе чем-то принадлежащим ей по неотъемлемому праву, и теперь она была уязвлена и опечалена тем, что он решил отнять у нее эту любовь, когда ему заблагорассудилось. К тому же Батшебу тревожила необходимость снова полагаться лишь на свои силы: она более не ощущала в себе энергии, требуемой для того, чтобы ездить на биржу, менять, покупать и продавать. После смерти Троя Оук ездил на ярмарки один, ведя дела обеих ферм сразу. Что же теперь оставалось делать Батшебе?

В какое уныние превращалась вся ее жизнь!

В тот вечер она была так одинока, так страдала от недостатка сочувствия, так жалела об утрате единственного истинного друга, которого когда-либо имела, что, поддавшись напору чувств, надела пальто, шляпку и отправилась к Оуку. Солнце только что закатилось, и путь Батшебы освещали бледно-желтые лучи молодого месяца. Комнату Габриэля озарял веселый огонь камина, однако людей в окне видно не было. Батшеба, волнуясь, постучала, и ей тут же подумалось, что напрасно она, вдова, пришла к одиноко живущему холостому мужчине. Хотя он ее управляющий, и нет ничего неприличного в том, чтобы госпожа иногда являлась к нему по делу. Габриэль открыл дверь. Луна осветила его лицо.

— Мистер Оук, — пролепетала Батшеба слабым голосом.

— Да, это я. С кем имею честь… Ах, до чего же я глуп, что не признал вас, хозяйка!

— Недолго мне осталось быть вашею хозяйкой, верно, Габриэль? — произнесла она с чувством.

— Полагаю, что так… Но вы проходите, мэм… Сейчас принесу свечи, — ответил Оук, испытывая явную неловкость.

— Ах, пожалуйста, не беспокойтесь из-за меня.

— Здесь, признаться, нечасто бывают дамы, и, боюсь, я не располагаю приличествующими удобствами. Не угодно ли вам сесть? Вот стул, а вот еще один. Вы уж простите: они деревянные и довольно жесткие. Я как раз собирался новые купить.

Оук поставил перед Батшебою три стула.

— Мне вполне удобно.

Она села, затем сел он. Танцующие отсветы камина озаряли их лица, а также нехитрые предметы обихода, «за годы верной службы натертые до блеска»[81] и оттого приобретшие способность отражать падающие на них блики. И хозяин, и гостья внутренне удивлялись тому, как они скованы и смущены, хотя прекрасно знают друг друга и всего лишь встретились при непривычных обстоятельствах. В поле или в доме Батшебы они разговаривали запросто; теперь, когда Оук впервые принимал ее у себя, время будто повернуло вспять, вновь сделав их незнакомцами.

— Вам, должно быть, странно, что я пришла…

— О, нисколько!

— Я подумала… Габриэль, в последнее время я

[81] Примечания: 81

Цитата из стихотворения Уильяма Барнса (1801–1886) «Дубовый холм» («Woke Hill»), написанного, как и многие другие произведения поэта, на дорсетском диалекте.

не находила себе места от мысли, что чем-то вас обидела и потому вы уезжаете. Мне это очень огорчительно. Оттого-то я и решила прийти.

— Обидели? Меня? Батшеба, вы ничем не могли меня обидеть!

— В самом деле?! — обрадованно воскликнула она. — Тогда почему же вы уезжаете?

— Из Англии я не уеду. Если бы я знал, что вы этого не хотите, я бы об Америке и не думал, — просто ответил Габриэль. — Насчет фермы мистера Болдвуда я договорился. Арендую ее с Благовещения. Вам известно, что у меня и прежде была доля от дохода. Я мог бы, как и раньше, управляться с двумя хозяйствами, моим и вашим, если бы не те слухи, которые о нас с вами ходят.

— Что?! — воскликнула Батшеба в удивлении. — Какие еще слухи?

— Не могу вам их передать.

— А по-моему, с вашей стороны было бы мудрее, если бы вы все мне рассказали. Вы не раз становились для меня кем-то вроде ментора. Так отчего же теперь боитесь указать мне на мою ошибку?

— На сей раз вы никакой ошибки не совершили. Ежели в двух словах, то про меня говорят, будто я хожу тут, принюхиваюсь, жду, когда мне отдадут ферму бедного мистера Болдвуда, чтобы

потом и вас заполучить.

— Заполучить меня? Это как?

— Жениться на вас, попросту говоря. Вы сами просили сказать, стало быть, теперь не должны сердиться.

Даже если бы над самым ухом Батшебы прогремел пушечный выстрел, она едва ли имела бы более встревоженный вид. Именно этого Оук и опасался.

— Жениться на мне… Я сразу не поняла, что вы о женитьбе говорите, — тихо сказала она. — Думать о таком сейчас… Как нелепо, как рано! Да, слишком рано!

— Нелепо, конечно же. У меня и в мыслях подобного нет. Полагаю, это вполне очевидно. Если бы я вознамерился жениться, я бы даже в самую последнюю очередь не подумал о вас. Вы верно сказали: слишком нелепо…

— Я сказала «слишком рано».

— Прошу меня простить, но вы сказали «слишком нелепо», и я готов повторить это за вами.

— Я также прошу меня простить, — возразила Батшеба со слезами на глазах, — но я сказала «слишком рано»! Да и нисколечко не важно, что я сказала! Важно, что я имела в виду! Я имела в виду «слишком рано», мистер Оук, и вы должны

мне верить!

Габриэль долго всматривался в ее лицо, но при свете камина можно было рассмотреть немногое.

— Батшеба, — проговорил он удивленно и нежно, придвигаясь ближе. — Если бы я только знал одну вещь: позволите ли вы мне любить вас, завоевать вас и потом на вас жениться… Если бы я только знал!

— Никогда вы этого не узнаете, — пробормотала Батшеба.

— Но почему же?

— Потому что никогда не спросите!

— Ох… Ох… — Габриэль тихо усмехнулся от счастья. — Моя дорогая…

— Вы не должны были посылать мне сегодня утром такого сухого письма! — прервала его Батшеба. — В нем вы выразили, что вам нет до меня никакого дела, что вы готовы меня покинуть, как они все! Это было бессердечно, ведь я первая, кого вы полюбили, а вы первый, кого полюбила я, и я никогда этого не позабуду!

— Батшеба, вы кого угодно выведете из терпения! — ответил Оук, смеясь. — Вы же знаете, как тяжело было мне, холостому мужчине, вести дела с вами, очаровательной молодой женщиной! Тем

паче что люди догадывались о чувстве, которое я испытывал к вам. А когда мое имя стали упоминать рядом с вашим, то я подумал, не будет ли для вас компрометации. Знали бы вы, как меня бросало в жар от таких упоминаний!

— И вы только поэтому хотели уехать?

— Да.

— О, как я рада, что пришла! — воскликнула Батшеба, поднимаясь со стула. — Я стала много больше думать о вас с тех пор, как вообразила, будто вы не желаете меня видеть. Но теперь мне пора идти, не то меня хватятся. А что, Габриэль, — усмехнулась она, когда Оук провожал ее к двери, — со стороны мой визит выглядит так, словно я за вами ухаживаю!

— Отчего бы и нет? Сколько долгих дней и сколько долгих верст бегал я по вашим своенравным пятам, о моя прекрасная Батшеба! Неужто я не заслужил, чтобы в кои-то веки вы заглянули ко мне?!

Они вместе взошли на холм. Габриэль в подробностях рассказывал о том, как будет арендовать вторую ферму. О чувстве говорилось мало: красивые слова и пылкие фразы не нужны двоим столь испытанным друзьям. Их прочная взаимная привязанность была из тех, какие возникают (да и то

нечасто) лишь тогда, когда люди сперва узнают наименее привлекательные стороны друг друга, а уж потом лучшие, и любовь зарождается между твердых камней прозаической действительности. Такая дружба — *camaraderie*[82], — основанная обыкновенно на общности стремлений, к сожалению, редко сопровождает взаимное влечение противоположных полов, ибо мужчины и женщины бывают заодно лишь в развлечениях, но не в трудах. Если же в силу счастливых обстоятельств романтическая склонность все-таки подкрепляется дружбой, то возникает единственная вариация любви, которая сильна, как смерть. Такой любви «большие воды не могут потушить… и реки не зальют»[83]. В сравнении с такою любовью страсть, часто называемая ее именем, — не более чем летучий пар.

---

[82] Примечания: 82
Camaraderie (*фр.*) — товарищеские отношения.

[83] Примечания: 83
Песнь песней, 8:7.

Глава LVII
Туманный вечер и туманное утро. Заключение

— Наша свадьба будет самая тихая, простая и немноголюдная, какую только можно себе представить, — с такими словами Батшеба обратилась к Оуку однажды вечером, спустя некоторое время после события, описанного в предыдущей главе.

Целый час он думал над тем, как точнее исполнить пожелание своей невесты, и наконец сказал сам себе:

— Лицензия... Да, чтобы в церкви о помолвке не объявляли, надобно получить лицензию.

— Хорошо. Этим и займитесь первым делом.

Через несколько дней, уже затемно, Оук с таинственным видом вышел от кестербриджского наместника епископа и на пути к дому услыхал впереди себя тяжелую поступь. То были шаги Коггена. Габриэль поравнялся с ним, и они, вместе войдя в деревню, достигли тропинки, которая брала начало за церковью и вела к дому Лейбена Толла, недавно назначенного приходским причетником. Бедняга, еще не свыкшийся с новыми

обязанностями, всякий раз цепенел от страха при звуке собственного одинокого голоса, если читаемые стихи оказывались слишком трудны и никто из прихожан не отваживался ему вторить.

— Что ж, Когген, доброй ночи, — сказал Габриэль. — Мне туда.

— Да ну? — удивился Джен. — Дозволь спросить, мистер Оук, что ты затеял?

Не ответить Коггену было бы, пожалуй, нехорошо, ведь он оставался верным другом Габриэлю, когда тот страдал без взаимности.

— Когген, могу ли я доверить тебе тайну?

— Я умею держать язык за зубами — ты ж это знаешь.

— Верно, знаю. Так вот. Мы с госпожою собрались завтра утром пожениться.

— Святые небеса! А я ведь временами подозревал, что что-то между вами этакое происходит. Разрази меня гром, подозревал! Но скрытничать до самого конца… Ну да Бог с тобой! Желаю тебе счастья!

— Спасибо, Когген. Ты поверь, мне самому не по душе делать из этого великую тайну, да и хозяйке тоже. Однако ежели учитывать наши обстоятельства, то веселая свадьба нам никак не позволительна. Батшеба не хочет, чтобы на нее

в церкви весь приход глазел: ее бы это смутило. Вот я и стараюсь сделать так, как ей лучше.

— Понимаю тебя и скажу, пожалуй, что ты прав. А сейчас никак к причетнику направляешься?

— К нему. Можешь и ты со мною пойти.

Пока они шли к дому Лейбена Толла, Когген сказал:

— Боюсь я, что не удастся тебе дело в тайне сохранить. Старуха, жена Лейба, в полчаса твой секрет по всей округе раструбит.

— А ведь, ей-богу, верно! Об этом я и не подумал. Однако надобно все-таки его предупредить: работает он далеко и из дому выходит рано.

— Давай мы сделаем вот как, — предложил Когген. — Я постучу и попрошу, чтобы Лейбен ко мне на минутку вышел. Ты покамест в сторонке постоишь. А потом, когда он выйдет, все ему и выложишь. Баба не догадается, зачем я приходил. Для отвода глаз я что-нибудь про ферму скажу.

Поразмыслив, Габриэль счел план вполне пригодным, и Когген, решительно выйдя вперед, постучал в дверь. Отворила миссис Толл собственной персоной.

— Мне бы с Лейбеном потолковать.

— Нету его и часов до одиннадцати не будет. Сразу после работы пришлось ему в Йелбери

ехать. Да ты мне скажи, чего надо.

— Навряд ли ты нам поможешь… Погоди-ка.

Когген зашел за угол крыльца, чтобы посоветоваться с Оуком.

— Кто там с тобой? — вопросила миссис Толл.

— Никто, просто друг, — ответил Когген.

— Попроси передать Лейбену, — прошептал Оук, — что завтра в десять наша госпожа будет ждать его возле церкви. Пусть приходит непременно и лучший костюм наденет.

— Ежели про костюм скажем, с потрохами себя выдадим, — заметил Джен.

— Ничего не поделаешь. Говори.

И Когген все сказал.

— Не забудь! — прибавил он. — Прийти нужно кровь из носу. Хоть трава не расти. Дело страсть какое важное: хозяйка надумала на много лет вперед с другим фермером соглашение подписать. В долю с ним войти. Лейбен присутствовать должен, когда бумаги подписывать будут. Так-то, кумушка Толл. Не должен я говорить тебе этого, однако вот сказал, потому как люблю тебя без памяти.

После этих слов Когген тут же удалился, не дав жене Толла разинуть рта. Затем двое друзей, не возбудив лишнего любопытства, нанесли визит

викарию, а от викария Габриэль отправился домой готовиться к завтрашнему дню.

— Лидди, — сказала в тот вечер Батшеба, ложась спать. — Разбуди меня завтра в семь, если я к этому времени еще не встану.

— Вы всегда просыпаетесь рано, мэм.

— Да, но завтра у меня очень важное дело, о котором я расскажу тебе в свою пору. Проспать никак нельзя.

Батшеба пробудилась в четыре и, как ни старалась, не сумела снова заснуть. Проворочавшись с боку на бок до шести, она встала в полной уверенности, что часы ее сломались. Ждать больше не было сил. Батшеба подошла к двери Лидди и принялась стучать.

— А я думала, — пробормотала та, наконец проснувшись, — что это я должна вас разбудить… Еще ведь и шести нету…

— Что ты говоришь такое, Лидди?! Очень даже есть! Наверняка уже половина седьмого. Приходи в мою комнату как можно скорее: мне нужно, чтобы ты хорошенько меня причесала.

Когда Лидди явилась, хозяйка уже ждала ее. Девушка никак не могла взять в толк, к чему такая спешка.

— И что вы такое затеяли, мэм?

— Так и быть, скажу, — ответила Батшеба, лукаво улыбнувшись сияющими глазами. — Нынче ко мне придет обедать фермер Оук!

— Фермер Оук и больше никто? Вы вдвоем будете?

— Да.

— А не опасно ли это после того, что о вас говорили? — произнесла компаньонка с сомнением в голосе. — Имя женщины — такой хрупкий предмет…

Батшеба, покраснев, рассмеялась и, хотя кроме Лидди никого в комнате не было, что-то прошептала ей на ухо.

— Боже правый! Вот уж новость так новость! — воскликнула девушка, расширив глаза. — У меня аж прям сердце заколотилось!

— Мое тоже едва не выпрыгивает, — призналась Батшеба. — Но теперь уж деваться некуда.

Утро выдалось сырое и хмурое. Тем не менее без двадцати минут десять Оук вышел из дому и стал подниматься на холм.

Шагал он так решительно, как всякий муж шагает,

Когда подругу верную найти себе же-

лает[84].

Через десять минут после того, как Габриэль постучал в дверь Батшебы, два зонта, большой и поменьше, двинулись от вышеуказанной двери в направлении церкви. Расстояние не превышало четверти мили, посему идущие, люди весьма рассудительные, сочли излишним запрягать лошадей. Лишь подойдя совсем близко, сторонний наблюдатель разглядел бы сквозь туман, что фигуры под зонтами есть не кто иные, как Батшеба и Габриэль Оук, впервые в жизни взявший ее под руку. На нем был сюртук до колен, а на ней плащ, доходивший до деревянных мокроступов. Однако, невзирая на простоту наряда, Батшеба похорошела и даже помолодела — «как будто роза снова сделалась бутоном»[85]. Возвратившийся к ней покой окрасил щеки в алый цвет, а волосы она по просьбе Оука причесала так, как причесывала несколько лет назад, когда жила на Норкомбском холме. Эти перемены сделали Батшебу весьма похожей на юную деву из

---

[84] Примечания: 84

Цитата из юмористической поэмы Ричарда Харриса Барэма (1788–1845) «Поглядите на часы! История Пэтти Морган, молочницы», вошедшей в сборник «Легенды Инголдсби» *(«The Ingoldsby Legends»).*

[85] Примечания: 85

Дж. Китс. Канун Святой Агнессы.

Габриэлевых грез, чему не следовало слишком удивляться, ибо от роду ей было всего лишь двадцать три или двадцать четыре года.

В церкви помимо жениха, невесты и священника присутствовали только Лидди и Толл. Очень скоро обряд был совершен. Вечером молодожены тихо сели пить чай в гостиной Батшебы. Они заранее условились, что Габриэль переедет жить к ней, поскольку он, хотя дела его шли в гору, не успел еще нажить денег для приобретения собственного дома с порядочной обстановкой, меж тем как жена всем этим уже располагала.

Когда Батшеба разливала по чашкам чай, неожиданно грянул пушечный выстрел, а за ним последовали звуки, возникшие, очевидно, вследствие того, что кто-то неистово дул в трубы прямо под окнами.

— Вот и они! — рассмеялся Оук. — Я давеча как взглянул на этих молодцов, так и понял: замышляют неладное!

Габриэль со свечой в руках вышел на порог. Батшеба последовала за ним, набросив на голову шаль. Огонек осветил нескольких работников мужеского пола, собравшихся на гравийной площадке перед домом. Завидев на крыльце молодоженов, они дружно грянули «Уррра!», и

пушка, бывшая позади них, выстрелила опять. Затем последовал ужасающий шум, производимый барабаном, бубном, кларнетом, серпентом[86], гобоем, теноровой виолой и контрабасом — почтенными изъеденными червем инструментами, оставшимися от некогда славного уэзерберийского оркестра. В начале минувшего столетия сии инструменты праздновали победы герцога Мальборо под пальцами пращуров тех, кто играл на них сейчас. Музыканты вышли вперед и принялись маршировать.

— Все затеяли эти славные ребята, Марк Кларк и Джен, — сказал Оук. — Входите, друзья, выпейте и откушайте, что Бог послал, со мною и моей женой!

— Не теперь, — ответил мистер Кларк, явно противясь своему желанию. — Покорно благодарим: мы в более подходящий час заглянем. Однако ж мы не хотели проводить этот день, не выразив вам нашего восторга. А ежели вы пришлете капельку чего-нибудь в солодовню Уоррена, то почему бы и нет? С радостью выпьем за долгую жизнь соседа Оука и его красавицы жены!

— Спасибо, спасибо вам всем, — ответил Га-

---

[86] Примечания: 86

Серпент — старинный духовой инструмент змеевидной формы.

бриэль. — И выпивка, и закуска будут тотчас посланы в солодовню. А я как раз подумал, что наши старые друзья захотят, должно быть, нас поздравить, и сказал об этом жене.

— Ей-богу, братцы, — критически произнес Когген, обращаясь к товарищам, — неплохо он приноровился говорить «жена»! А ведь и дня не прошло, как его брачными узами опутали!

— Отродясь я не слыхал, чтобы тот, кто уж двадцать лет семейство имеет, легче выговаривал «моя жена», нежели он! — подхватил Джейкоб Смоллбери. — Если бы он, однако, не так радовался, еще натуральней бы было. Ну да сейчас у них пора такая радостная.

— Время все поправит, — сказал Джен, кося глазом.

Оук расхохотался, а Батшеба только улыбнулась, ибо смеялась она теперь нечасто. Поздравители ушли. По пути в деревню Джозеф Пургресс удовлетворенно вздохнул.

— Дай им Господь счастья! Правда, нынче у меня так и вертелись на языке слова пророка Осии из Святого Писания, которого я изрядный знаток: «Привязался к идолам Ефрем; оставь его!»[87]

---

[87] Примечания: 87
Книга пророка Осии, 4:17.

Однако ж все вышло, как вышло, а не хуже того. Ну, стало быть, и слава Богу!